

ОТИА ИОСЕЛИАНИ

**Черная
и
голубая
река**

РОМАН

С грузинского. Перевод И. Борисовой

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1982

«Черная и голубая река» — новый роман известного грузинского прозаика и драматурга Отиа Йоселиани, произведения которого неоднократно издавались в переводах на русский язык, а также на языки народов СССР и за рубежом.

Роман задуман как большое эпическое повествование о Великой Отечественной войне, о героизме и мужестве советских людей на фронте и в тылу.

В первой книге романа рассказывается о семье деревенского учителя Парвы Амаглобели, отца четырех сыновей, возмужавших и готовящихся вступить в жизнь. Но грянула война, и трое из четырех сыновей надели солдатские шинели...

Автор воссоздает перед нами жизнь семьи Амаглобели. жизнь десятков людей, захваченных вихрем войны.

Перевод осуществлен по изданию из Главной редакционной коллегии по дуэлингвенному переводу и литературным связям пр. С. П. Гривин

Художник Анатолий МЕШКОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

До третьих петухов горел в доме свет.

Если кто из соседей не спал в эту ночь или, может, на двор потянуло, увидав этот льющийся из двери свет, думал только одно: о чем это Парна толкует с детьми, что — тому уже двадцать пять лет — друг за другом родились у него тут, в деревне, и недавно все так же один за другим разбрелись кто куда, а сегодня — спроси их зачем — опять сошлись вместе, все четверо братьев?

Поговорить им, конечно, было о чем, но всему ж есть конец...

Сто глаз у деревни и сто ушей.

Сперва на проселке увидели старшего: Леон шел с женой — городская бабенка и сейчас на сносях. За ним — оба средних: один норовил скрыть хромоту, словно не в родную деревню пришел, а в чужие края его занесло. И младший — последним.

Мамука ушел прошлым летом и летом вернулся. Темнело, и шел он не с братьями и не один — вел девчонку, такую махонькую и ладненькую, так сияли у ней глаза, что вмиг у всех объявилась пропасть дел на дороге: тому кликнуть теленка, что топтался весь день у плетня, чья-то утка повадилась яйца класть прямо в мутной канаве у самой дороги, и поди отыщи яйцо на обочине, а загулявшую дотемна телку где искать, как не здесь, на проселке?

У Леона жена сколько раз поднималась по этой дороге в деревню и вниз возвращалась, а идет — глаза в землю, лишь бы в грязь не ступить, хотя дождь когда еще был. У Мамуки девчонку сроду здесь не видали, а гляди ты,

идет — голова высоко, а из глаз искры падают — прямо в зелень дворов.

Нет, не лежала душа к той, что два года назад вошла в дом невесткой и теперь ожидала потомства, и милей оказалась деревне чужая девчонка, может быть, еще оттого, что все знали: сыну, который дерзнул привести в дом невесть чью девчонку, Парна дверь отворит, но слова привета им не услышать.

Парна в жизни хлебнул и беды, и забот, но здоровьем и нравом, как камень, он годился родным сыновьям больше в старшие братья, чем в отцы, и спроси, с чего вдруг, при его-то уменье видеть завтрашний день, как вчерашний, он созвал сразу всех, Парна, верно б, и не сказал. И чего говорить, когда на то была пропасть причин, а любую возьми — толку в ней чуть.

...Что дети, отбившись от дома, забыли вкус мчади, испеченного на углях в родном очаге? Что хочет он знать, куда за год шагнули его сыновья? Что дополз до него слушок, будто один из детей... а жена все молчком и кидается каждому глотку заткнуть, словно можно заставить людей замолчать? Или просто обрыдло отцу одиночество и раз в год ему надо собрать их, в ком порода его и кровь, дабы знать, чего стоит его достоянье. А возможно, что его, знавшего толк и в истории, и в сегодняшних судьбах, испугала война, полыхнувшая в сердце Европы, хоть газеты не били тревогу...

Леона он встретил тепло, но при виде невестки не заблагоухала его душа, не воспарила она к небесам, когда предстал перед ним и второй сын — Ватути, весь с иглолки, баламут, а хромоты как не было, будто мальчишкой не он два раза ногу ломал, и, как назло, в одном месте. Бакури — весь почтенье к отцу, а к себе безразличье — поднял было его дух, но тут из сумерек возник четвертый, последний, — нос к небесам и пожалуйте принять с ним незваного лучшего друга.

Будто река после ливня, взбаламутилась душа Парны.

— Вроде все наконец объявились... Звать гостей, Парна... а, Парна! — Русудан, набрав хвороста, подстерегла мужа возле сарая.

— Нет, не звать.

— А как же?

— Своим делом займись.

— И соседей... может, друзей твоих?
— Я же сказал.
— И дядю?.. Луку не звать? Брата твоего?
— Моего брата нет дома.
— Куда ж он девался?
— Я почему знаю? Тащи хворост и разожги огонь! Ста-
ла тут, не пройдешь.

Женщина двинулась, словно стреноженная.

— Хоть девочкам скажу, — она остановилась у кухни.
— Каким еще девочкам?
— Племянницам твоим.
— Вон твои девочки. Пусть помогают.
— Скажешь тоже! Одна скоро носом в живот упрет-
ся — зачем ей дым глотать? А другая... кто она нам, чужая,
своя — поди узнай...

— Стало быть, не знаешь?

— Откуда мне знать?

Она и так — не улыбнется, а тут и вовсе потемнела
лицом.

— Детям нужна мать — делишки свои выкладывать,
а чего она там скребет-моет, им наплевать... Проку от
тебя по хозяйству шиш, вот ты и вертишься перед ними,
чтобы мамочкой быть одной-разъединственной, шу-шу да
шу-шу по углам — лбы разобьете об эти свои секреты...

Русудан скрылась в кухне. Возле бревенчатой кухни
валялась мотыга и заступ. Парна поднял заступ, весь в
засохшей грязи, соскреб мотыгой грязь, поставил к стене
и, махнув рукой, поглядел на чернющую, как смоль, суку,
высунувшуюся из конуры, где она отсиживалась от на-
плыва гостей.

— Болтают, болтают... Устал!

Собака, поняв, что это не к ней, добродушно твякнула
на кур, суматошно взлетевших на финиковое дерево.

— Корову не привязала, — Парна так решительно дви-
нулся к хлеву под кукурузным навесом, что собака заби-
лась поглубже — не наступил бы.

Дощатый настил в хлеву был на лето содран, и стоял
резкий запах свежего навоза и мочи. Вол лежал, как
всегда, у яслей, а корова стояла в углу над теленком и
вдыхала, касаясь его хвоста полным выменем. «Ладно,
хоть теленка не забыла привязать».

В хлеву он пробыл дольше, чем всегда.

Лишь в этом году, когда даже младший в город по-
дался, он стал понимать то, чего эта женщина, может

быть, и не думала прятать: прячь не прячь — не укроешь. Увидал, спустя двадцать шесть лет, когда они в доме остались одни и не скажешь, что четверо на руках, до всех дел не дойти, и твоей бестолковости больше нет оправданья, когда время нашлось для себя — для мужа с женой, и тут оказалось, что не дети, а пропасть лежит между ними. Их так далеко развело друг от друга, что причин не доищешься. Он всегда жил, поглощенный блужданьем в затянувшихся мглой лабиринтах истории и раденьем о детях, которых учил в деревенской маленькой школе, помогая им встать на дорогу, а жену поглотили бесконечные будни хозяйства и слепая, рабья преданность детям. Но с этого года он весь устремился туда, куда его звало всю жизнь, и теперь больше не было сил находить себе оправданье. От порывов и устремлений, увлекавших когда-то жену, сохранилась в душе у нее только тень их и боль, и, примирясь с постылой судьбой, она больше не помышляла, чтобы жить еще чем-то, чем жила она до сих пор.

Молодость Парны утекла между пальцев — не заметил, была или нет, и он вдруг обнаружил, что один на всем свете. Поток бед и невзгод не закрутил его, не унес, но и брода он не нащупал.

В эту минувшую четверть века, равную многим столетьям, Парне выпала роль неприметного учителя, невежучего хозяина и сурового отца. Оттого, верно, и сыновей тянуло больше к матери — этой все хорошо, все ладно, только поди угадай, привяжет она нынче корову или опять позабудет, а чтоб видеть дальше кончика носа — с нее и не спрашивай.

Выйдя из хлева, он заткнул за собой засов колышком, и навстречу ему побежали молодые голоса четырех сыновей и рассыпчатый смех незнакомой девчонки.

«Обратил мне господь этот дар в наказанье».

II

— Раз гостей звать не будем, может, хватит двух кур? — Русудан прислонилась к притолоке.

— Не знаю, чего твоим детям хватит, чего не хватит...

— А вдруг подойдет кто?

— Двадцать шесть лет торчишь в этой деревне, могла бы уже знать, кто подойдет, что кому в радость, что кому в зависть. Принеси-ка воды.

— Это твое дело — знать, а я в душу людям влезть не могу,— тыльной стороной руки она вытерла слезы, выступившие от дыма, внезапно вырвавшегося из плиты, и, вынеся из кухни кувшин, поставила его на приступку и пошла к дому.

— Здесь где-то заступ был с костью,— проскрипел он откуда-то из-за кухни.

— Не знаю,— оборвала она его.— Может, из соседей кто взял?.. За этим добром далеко не пойдешь,— голос ее помягчел.

— Кому, спрашиваю, дала?

— А там, у стены, что — не заступ? Виноградник рыхлить собрался — это на ночь-то глядя?

— Не виноградник, нет,— он хмуро взглянул на нее. Уйти бы сейчас, исчезнуть понезаметней, потише — только чтоб опять не взорвался.

— А кому унести? Тут кругом одна твоя родня, из моих за мотыгой и заступом никто не придет,— последнее слово должно было остаться за ней.

— Ты же голову теряешь, если кто переступит порог дома... Нечего тут грызться со мной. Ступай, из кагала этого вытащи Бакури.

Шаркая стоптанными мужними шлепанцами, она скрылась под одой¹, а когда вернулась, у Парны под мышкой торчал черпак и он мыл кувшины для вина.

— Хотят бабушку свою навестить,— Русудан успела повязать миткалевый платок, и в голосе ее звучало примирение.

— Спасибо, что вспомнили,— он выплеснул пену, не взглянув на жену.

— Кто больше них любит свою родню?

— Бакури позвала?

— Сейчас придет...

Чувик зацепился за порог и слетел с ноги.

— Чтоб ты спорел,— она вернулась и сунула ногу в туфлю.

«Сейчас отправится эту дрань скинуть с ног. Гоняет, посится, а дела не видно».

Обогнув оду, Бакури сбежал с балкона.

— Батоно Парна, пора приступать к делам государственной важности,— сын поднял стоявший у водосточ-

¹ Дом на сваях.

ной трубы кувшин, по горловине которого стекали красные капли вина.

— Бери заступ!

— У тебя — и такая рухлядь?! — повертев в руках старый заступ с разболтавшимся черенком, Бакури поставил его к углу кухни и поискал глазами другой.

— Бери этот! Я учитель. Не мое дело — мотыга и заступ. Когда надо — возьму у соседей.

Парна направился к чури¹.

Бакури заглянул в кухню, где над тестом склонилась мать, и спросил ее взглядом: может, сбежать к соседям, попросить у них заступ?

«Я и правда не знаю, к кому», — сказали ее глаза, и она кивнула на заступ, который только что держал сын.

— Мотыгу, мотыгу не забудь, — донесся голос отца.

Почему из всех четырех отец выбрал его помочь в деле, с которым и один бы управился, — для Бакури вопроса не было. Роль ему предстояла не из лучших — говорить тут не о чем. Он ничего не собирался скрывать — боялся другого: не получилось бы с его слов хуже, чем есть, или могло померещиться отцу с его-то любовью к крайностям.

В талавери² Парна уже поднял плиту и сгреб в сторону обломки черепицы, прикрывающие землю, которой присыпаны чури от вездесущих кур, снял мотыгой слой рыхлой земли, под которой обнажилась утрамбованная глина, и по глине провел точный круг, обозначивший чури на шесть пудов. Окунул заступ в воду и сунул Бакури.

— Чего стоишь? Темнеет.

Сын коснулся заступом плотной глины ровно по кругу, очерченному отцом, и слегка приналег на костыль.

Отец закурил.

— Эта девка Ватути, что такое? — Парна бережно приподнял нижнюю лозу и осторожно подтянул ее к верхним ветвям.

— Не знаю, отец, — Бакури даже глаз не поднял. Что ж, все идет как положено: сперва дал в руки дело, а потом повел разговор.

— О делишках твоего братца мне стороной узнавать?..

— Кажется, она замужем за военным, командир вроде.

— Или на свете бабы перевелись — за чужой женой бегать?

¹ Большие глиняные кувшины для хранения вина. Зарываются в землю.

² Виноградная беседка.

— Я слышал, будто... — Бакури шел по кругу, и сейчас отец был за спиной.

— Что будто? — Парна затянулся глубоко. — Говори, если знаешь...

— Будто женщина сама... С нее все...

— Хорошо, она сама полезла к твоему брату, но он-то как настоящий мужчина..

— При чем тут настоящий мужчина?

Бакури поддел пласт глины, которым прижата была крышка чури, и разом перевернул его.

— Истинный мужчина такого о женщине не скажет.

— Это верно! — Бакури взглянул на отца.

Парна опустил на колени, чтобы снять крышку чури, несколько раз затянулся и щелчком отбросил папиросу.

— Шакал согрешит перед тигром, но тигр перед шакалом — никогда.

«Вещает вроде нашей бабушки. Все-таки мы азиаты... Да и вообще есть ли слова, которых никто никогда не сказал», — подумал Бакури.

— Тигру не подобает грешить.

— А чего командиру тому от тебя надо было?

— Да я просто под руку ему попался. «Раз не ты, говорит, значит, это твой брат с ней был», — Бакури сунул руку под рубаху и украдкой потер плечо. — То и смешно, что я ни при чем.

— А брат твой что говорит?

— Ты про Ватути?

— Ну...

— Да что говорит... Пора снимать крышку, уже совсем темно, отец.

— Отвечай, когда спрашивают.

— Да ему-то откуда знать?

— Как так не знать?

— Разве мы знаем, что заставляет нас поступать так, а не эдак?

— И все-таки?

— Он говорит, пусть каждый сам за своей скотиной глядит.

— А тому командиру как быть? За своей — вот уж точно — скотиной глядеть или думать о том, что к границам его страны рвется враг?

— Думаешь, Германия на нас нападет? — У Бакури отлегло от сердца.

Нет, глазки твои расцелует.

— А зачем ей нападать? — Бакури опустил на корточки и поглядел отцу прямо в глаза.

— А зачем нужны ей французы, югославы, румыны, чехи? Поляков возьми. Чем они мешали этим раздувшимся немецким бокам? — Парна поднял крышку, отвалив кусок пудовой плиты, который ее прижимал, и в доверху залитый чури пролилась небесная синь, сочившаяся сквозь густое сплетенье лозы.

— Не то что б я поверил всем этим заверениям, заявлениям, но древняя вражда... исторически неизбежная. Ведь и с нами всегда воевали соседи, а не американцы или какие-нибудь там австралийцы, — произнес Бакури.

— Кровью б нам не захлебнуться, — начнет войну и повода ждать не станет. Оттого и начнет, что повода нет. Подвинь-ка кувшин и давай черпалку.

Бакури вытащил черпалку, которая висела в извивах тянувшейся кверху лозы, и подал отцу.

— А эта что за лупоглазая?

— Которая с Мамукой?

— Да, с твоим младшим братом!

— Ну, а что здесь такого? Ходят вместе. Плохого не скажешь.

— А я тебе что, плохое велю говорить?

— Сам же видишь, кто да что...

— А что я могу увидеть? Глазищи свои устала — от чистоты? От бесстыдства?

— Я за честность этой девушки головой ручаюсь.

— Значит, познакомился.

— Допустим.

— Чья она и откуда? И кто ей такую волю дал: поманили — и побежала жеребенком за первым встречным.

— Не надо так. Бедствует с бабушкой.

— А отец, мать?

— Ее отец... Схожу за фонарем — совсем ничего не видать.

— Горло своего чури и своего кувшина я и без фонаря найду. А мать? С матерью — что за беда?

— Откуда нам знать, какая за кем вина, да и была ли там вина?

— Ты о ее матери?

— Об отце. Мать как лето, так в горы, в Абастумани — дышать, с легкими плохо. С дочерью видится хорошо если пять дней в году.

— Значит, с горя?

— Похоже, что так.

— Согласен. Ни худого, ни доброго я за ней ничего не знаю. Бывает, сорвешься вот так... Но я ж не один в деревне живу, не могу я, как твоя мать, не видеть, не слышать, кто что плетет... А этот вообще витает себе в небесах, на землю не глянет.

— Ты ведь, отец, знаешь Мамуку, что взбредет ему в голову, то он и будет делать. Он же просто не может думать одно, а делать другое.

— Но ведь мы в деревне живем, можно это понять или нет? В деревне. Кругом люди, народ... Свои порядки, свой нрав и обычай...

— Бред какой-то! Можно подумать, земля перевернулась... Что уж такого случилось? В семье — гость! Ты сам, да что ты — даже наша бабушка ничего в этом не увидит такого...

— Я тебя что, звал сюда проповеди мне читать?

— Но и не вина в кувшин набрать. А Мамука... Может, деревня и сходит с ума — только он прав, куда ни кинь, кругом прав, и все тут.

— Но ведь есть же какая-то разница между правдой и глупостью?

— Может, и есть. И когда-нибудь я это пойму. А Мамука... будет ему столько лет, сколько тебе сейчас или сколько бабушке нашей, он и тогда не поймет. Мы для тебя все одинаковы, все равны, а Мамуку ты все-таки любишь больше нас всех.

— Люблю... Тоже... Распустил язык. Он один знает, кого я люблю, кого нет.

— А что нам вообще дано знать?

— Тебе в армию повестка пришла — почему не сообщил? — оборвал он сына.

— Прислать-то прислали, но год дали закончить.

— Это что ж, они после узнали, что тебе курс надо закончить?

— Военком оказался человеком приличным.

В спустившихся сумерках отец не заметил, как покраснел сын.

— Призывать тебя или нет — от того зависит, приличный человек военком или нет, — так, что ли?

— Что тут такого? Война разве?

— А раз нет войны, станут студентам повестки слать? — Полные кувшины Парна отставил подалыше,

сколько мог дотянуться, тяжело повел головой и нашарил в кармане папирасы.

— Это чури закрывать не будем?

— Пусть пока так постоит.

III

Парна звать никого не хотел. Когда есть чужой за столом, пусть из близкой родни, — застолье не то. Всякое слово и всякий тост — гостю. А раз гость — хозяин забудь о себе.

А гость в этот вечер и так был. Довольно с них Норы, старшей невестки. Конечно, эти два года она не жила с ними, нет, но проживи она в их доме век — все равно осталась бы гостем, такая уж отроду, то ли очень скрытна, то ли просто пуста. И не скажешь, что это вина Русудан: первая радость в семье, жена старшего сына — и вне дома. Но чего тут винить Русудан — он, отец, распахни двери дома и душу, может, стала б невестка своей. Но не вышло, как должно было б выйти, без натуги и невзначай. А силком тащить, в близость играть с нею, с сыном, он, чего говорить, не старался.

На всю жизнь испугался он бездны, что однажды разверзлась между ним и женой; с ней было связано все, чего он ждал от будущего, что угадывал в нем и хотел. С тех пор веры не было никому. Он стал подозрителен, замкнут и зыскателен непомерно. Прямой смысл слов стал для него звук пустой — он искал утаенный их смысл. В школе — дело другое. У детей душа — как на ладони, и лишь с детьми просыпалась в нем та простота, какой он был наделен от природы, или дети ее пробуждали — им не верить нельзя. При детях к нему возвращалось немного той веры, в которой он был обманут. При них нельзя думать, что жизнь протекает бесцветно, бесцельно.

Сегодня он должен был хоть на вершок стать ближе к невестке, которой скоро быть матерью, и где бы ребенку ее ни расти, это должно быть дитя семьи. Семьи Парны. Зов естества отомкнул его сердце перед сыном, который — как ни кидай — ушел в примачи, о чем Парна старался не думать.

Леон был сыном послушным и кротким, но ты же не женщина, — нет, не находил Парна первенцу оправданья и ждал, чтобы в сыне проснулся мужчина. Лишь в послед-

ние годы он стал думать, что сам виноват перед сыном, а может, таков неотвратимый ход жизни, в котором никто не виновен — ни они с Русудан, ни их первый мальчик.

Когда за Леоном, один вслед другому, в семье родилось еще трое, Леон — хотел он того или нет — стал самым большим, и родительской ласки ему выпадало теперь много меньше, чем прежде, а Мамуке уже восемнадцать, но он все еще младшенький. И дай матери волю и силы, она и сейчас возьмет его на руки и будет баюкать. Ладно мать. Все трое старших, и Парна туда же, не могут быть с ним суровы и строги, как надобно с сыном.

Никто из них, даже Ватути, который нет-нет да взбрыкнет, не рискнул бы явиться к отцу, как явился сегодня этот малый, и еще посмотреть, кого из них Парна принял бы так, как принял Мамуку. Дверью он бы не хлопнул — это конечно, но и они б не дерзнули привести в дом подобного гостя. Не могли, потому что нет права. Будь ты темный невежда, но сидит в тебе ясное знание, что позволено тебе, а что — нет, и малый этот прекрасно знал, что ему это дело сойдет с рук, а другим — нет, нельзя, ибо он — обожаемый младшенький, он и под ноги не глядит — отец с братьями знают, где упадет, и соломку подстелют. И заступятся, и прикроют, и каждому в радость то, что ему в удовольствие.

Трижды — с рождением каждого нового брата — у Леона отнималась любовь, и, когда он уже все понимал, для него не осталось ни ласки, ни доброго слова, и никто не подумал, что ему это нужно, — зачем? ведь он старший?

Уехал учиться — от отцовской зарплаты перепладали гроши: в доме трое младших и сколько расходов. Он привык довольствоваться малым. Ни от кого он не видел сильной, пылкой любви и к такой любви сам уже не был способен. Он стал сдержан, почтителен и покладист. Ночь напролет просидит за столом возле жены и хоть бы раз на нее поглядел, а этот птенец Мамука со своей девчонки глаз не сводит, хотя кто скажет, кем они станут друг другу завтра.

«Все мы заняты были только Мамукой, приучили его к любви, как в запруде скопили в его сердце любовь, и теперь вся благодать хлынула к этой девчонке, и она, сияя глазами, нежится в ней, и ничего ей это не стоило, потому что Мамука переполнен любовью, через край уже льется.

А Леона с младенческих лет мы обделяли, он подбирал

только крохи нашей любви. Он мог бы стать вздорным, завистливым, жадным, но удержала натура, а благоволение бабушки и случайная — как псу кость — отчая ласка привили ему терпение и убедили, что судьба не всякого балует и довольствуйся малым, а захочешь орешка — сорви десяток, может, один тебе и достанется. И женился он на женщине, которая не могла вызвать в нем страсть, а дала немного любви, немного преданности и жалости тоже чуть, раз уж так повелось, что мужа и пожалеть надо. Поди покарабкайся по этой дороге, да еще с живото́м, а она тащит его к свекрови, свекру и деверьям, и не в радость ей это, скорее морока одна, но жизнь есть жизнь, никуда не денешься».

Парна вдруг простил сейчас столько старшему сыну, что и на себя посмотрел куда как трезвей. Сам он бывал одержим испепеляющей страстью? А ведь мечтал о великой любви, да еще как мечтал... И не воздвиг он тех дивных замков, коими жаждал порадовать род людской. Доживет Леон до его лет, будет не хуже отца. И если был этой жизни какой-нибудь прок оттого, что на свете жил Парна, так и Леон, может быть, в долгу перед людьми не останется? Труд. Беспощадный труд. И вдобавок характер надежный во всем — они несомненно свое дело сделают, но даже если из той породы тутового дерева, над которой он бьется, ничего путного не получится и не суждено ему дождаться плодов, все равно между Парной и сыном разница будет: Леону, с его-то покладистостью, не воспрять никогда, не терзаться своею покорностью и не бросить вызов судьбе.

...А ты сам не пошел ли судьбе на поклон?.. А, Парна?

...Может, глава семьи, со всей своей дальновидностью, решив вдруг довольствоваться малым, предпочел тихоню сынка, какой он ни есть, отпрыску, который руки не снимет с кинжала и сулит сотворить рай земной, а сам тащит на гибель и себя, и людей, и святые идеи, пока не добьется, что станут его называть отщепенцем.

Этот век начался с такого разлома, что, даже зная историю, невозможно предвидеть те сдвиги, что он повлечет. И отцу, который, обучив азам жизни и грамоты четырех сыновей, вывел всех на большой перекресток, хватит дум и забот.

Ах, сколько ждал он от этого вечера, чтобы сквозь стакан благословенного вина разглядеть, прочитать, разгадать в сыновьях, а тут на тебе — эта с глазами...

— Ну, тамаду выбирать нам не надо, — он на месте уже, — взглянув на отца, весело кинул Ватути и, с грохотом отодвинув стул, сел, разломил мчади и рассыпал перед собой зелень. — Стесняться тут нечего. Не то что в родном доме, я и в чужом не стесняюсь. — И он принялся есть.

— Это почему ж, интересно бы знать? Я, мол, такой, мне все нипочем... Ладно, дома, но на людях зачем этот форс? — Левый глаз у Парны сузился и стал косить.

— Так уж сразу и форс, — вскипел Ватути, продолжая, однако, жевать.

— К слову пришлось — вот и сказал. Он же в доме родном, тут все свои, а у других он и будет другой. — Русудан снимала с полки стаканы и парами ставила их на стол.

— Ополосни сперва, а после на стол выставляй, — скривил губы Парна, даже не взглянув на нее.

— Со стола, что ли, нельзя взять? Это когда же я не ополоснувши подавала?

«Говорит, да еще при женщинах», — обиделась Русудан, не поняв, чего от нее хотел Парна. «Не лезь, — думал он, — я знаю, что говорю, делай свои дела — и не лезь».

— Не пора ли, отец, выкинуть всю эту ветошь: «извольте, сударь, отведать», «сделай, родной, одолжение, покушай», — снова завел Ватути. — И без того хлопот полон рот — приготовь, подай, все что есть в доме, на стол притащи — с ног валишься, так еще уговаривай гостя, стелись перед ним.

— Когда хозяину гость в тягость — либо гость не гость, либо хозяин — не хозяин.

— А разве не в тягость все это?

— Когда на стол вывалят такую пропасть всего, ты что, сразу начнешь наворачивать? — проговорил Парна.

— Почему ж это вывалят? Не вывалят, а накроют, а мы с тобой приступим к трапезе... Возьми, например, на востоке у нас... и в Картли, в Кахетии...

— Да не только в Кахетии, в Картли, но и на юге — в Месхетии, в Джавахетии... Где только хочешь, в любом уголке... Знали и знают... А если в набегах и войнах, беде и разоре какой-то обычай и позабыт... Все равно, где это видано, чтобы грузин пригласил к столу и не сказал: «Извольте отведать...»

— Да кто с этим спорит? Но чтоб каждую секунду — откушай, попробуй, отведай...

— П-п-помолчи,— еле слышно бросил Леон брату, который собрался от законов и нравов увести разговор подальше в историю, из которой Парну попробуй вымани, и о том, чего больше всего боялся Ватути, может, не мелькнет и словечка.

Раз один от отца схлопотал, ни у кого к столу рука не тянулась — ни у братьев, ни у женщин тем паче.

— Чего ж не едите? Или я сказал вам: сядем и будем молча взирать на этот стол? — Глава дома позволил себе улыбнуться, лишь отдавая дань вежливости.

— Ты только скажи,— Мамука взметнулся со стула, хотя мог не вставая дотянуться до горки хачапури; выдернув самое нижнее, целиком плюхнул его перед своим лучшим другом, примостившимся рядышком с ним.

С другого конца стола Бакури протянул хачапури Норе — Леону не додумался.

Старинные стаканы, к середине сужаясь, а к низу опять расширяясь, стояли перед каждым, — Русудан уже успела их ополоснуть и теперь присела между невесткой и молоденькой гостьей на самом углу стола.

— Устала? — пожалел мать Бакури.

— Устала, конечно,— Русудан отозвалась тихо и нехотя и положила себе на тарелку что было поближе.

— Нальем себе этого вина! — призвал младших братьев Ватути и, плеснув на тарелку красный ткемалиевый соус, положил кусок куриной грудки. Оставив в покое отца, он обратил свое осуждение на братьев: — Этот человек взрастил урожай и принес вам на стол... Хоть вино потрудитесь налить себе сами.

«Нет, от меня в нем нет ничего, но и с нею сходства — ни капли», — шевельнулось в голове Парны. Он взял ложку вчерашнего пхали¹ и отломил краешек мчади.

— Давайте кувшин сюда! — снова вскочил Мамука.

— Поди и возьми. Здесь все постарше тебя, чтоб тебе подавать,— вспыхнул Ватути, но Леон поднял кувшин, что стоял возле них с Парной, и не спеша протянул младшему, который на другом конце стола сидел в окружении женщин.

Мамука сжал в ладонях горло кувшина, но Бакури успел схватиться за ручку, и кувшин оказался у него.

¹ Блюдо из вареной крапивы.

— За грузинским столом после тамады виночерпий второй человек, — ободрил братьев Ватути и протянул свой стакан Бакури.

— Я бы тоже сумел разлить, — Мамука, похоже, обиделся. — Почему мне не верят? Не тронь ничего, не коснись?

Улыбнулась только девчонка.

— Батоно тамада, не пора ль благословить этот стол и гостей? — Когда вино было разлито всем, Ватути поднял бокал.

— За семью! — Парна чокнулся с Леоном и выпил.

— За семью и за всех вас, дети, — тихо произнесла Русудан, когда Леон поднес стакан к губам. Она отпила половину и поставила стакан.

Ватути готов был завернуть тост подлинней, но отец благословил их так кратко, что дух умеренности сразу воцарился за столом. Пришлось обойтись пятью словами, а Леон как стоял с поднятым бокалом, так и остался стоять, пока шум не стих, и лишь тогда выпил — сам ни слова.

— Равенство между мужчиной и женщиной, — заговорил Парна, — существовало у нас всегда, с самых древних времен, — стакан был снова наполнен, и он придвинул его к себе, — оно было у нас еще задолго до того, как в двенадцатом веке на грузинский престол взошла женщина — царица Тамар.

— Тогда, говоришь? А как же у Цуртавели¹ — ведь пятый век: «Кто это видел, чтобы женщина села за стол рядом с мужчиной?» Я не филолог, не помню, конечно, как там точно, но что-то в этом роде, — закруглил Ватути.

— Не вредно бы поточней знать, — Парна даже голову не повернул в его сторону.

— Что это нашло на тебя? — удивился Леон брату, второму из них по старшинству.

— «Где это видано, чтобы мужи и жены вместе вкушали свой хлеб?» — прокричал Мамука.

— «Хотя мужи и жены вместе вкушали свой хлеб», — поправила девчонка, а Русудан, подняв на мужа глаза, отломил кусочек хачапури и стала скатывать его в шарик.

¹ Иаков Цуртавели, автор «Мученичества Шушаники», первого дошедшего до нас произведения грузинской литературы.

— Вон о каких временах речь... И когда о равноправии толки пошли, даже филологи путают, а куда уж мне, — усмехнулся Ватути.

— Спор лишь о том, как лучше звучит, — уточнил тамада.

— Знать поточней не повредило б, конечно, — согласился Ватути, — но как я понимаю, дело не в том — как звучит, а в том, что мы уже не дети, которые, не перечая, верят любому вашему слову.

— Ничего себе сказанул.

— Отец... — Мамука даже привстал и наклонился к девочке. — Представляешь, чтобы мой отец — и ошибся?..

— Сядь! Дай человеку сказать! — Рука Бакури побратски опустилась на плечо младшего, и он упрекнул его взглядом: почему же у лучшего друга пустая тарелка?

— Сказанул, говорю, так уж сказанул, — теперь Парна глядел на Мамуку, — не для того читать надо, чтобы на людях, за чьим-то столом для красного словца ввернуть цитату-другую — вот мы, дескать, какие образованные.

— А почему б не ввернуть, раз я и правда читал, — упрек отца Ватути отнес только к себе.

— Если и правда читал — хорошо, а если, как гоголевский Петрушка, только дивился, как это из букв слова складываются...

— Ну, что ты за человек? Почему непременно с Петрушками сравнивать, с Селифанами, с Акакий Акакиевичами? — Бросив катышек на тарелку, Русудан резко повернулась к мужу.

— А чего ты, мам, вспыхнула? Не знаешь, как заносит отца? Да он кого хочешь с кем хочешь сравнит, лишь бы понятней...

— Лишь бы похлеще... — не дал закончить младшему третий брат.

— Лишь бы дошло... — поддержал второй, чтоб успокоить мать: видишь, я нисколько не обиделся, и тебе нечего портить нервы.

— И все-таки раз где-то что-то было написано, нам не худо бы это знать.

— Раз г-г-говорят, значит, правда, было написано! — Настал черед старшего, и впервые за этим столом он взглянул на жену.

Нора едва повела плечами — она-то совсем ничего не помнила.

— Если женщина при мужчине была бесправной ра-

бой, если ей и за стол нельзя было сесть, как могло случиться, что стала она прекословить, когда ей велено было принять маздеизм?

— За что и была наказана,— Ватути опустил на стол крепко сжатый кулак.

— Но если у женщины в семье не было ни малейших прав, о каких ее правах в государстве можно было говорить, а раз так, то уж вовсе пустяк — какому там богу молится эта раба.

— На всем Востоке так и было,— попытался Ватути с другого края сделать шагок навстречу отцу.

— На Востоке не только до рождения Христа, но и по сей день прекрасно уживаются в гаремах десятков различнейших вероисповеданий, и никого не волнует, что будет с душой этих женщин.

— Хотел бы я знать, какая связь между тостом во здравие моей матери и набожностью наложниц? — с обычной своей простодушной улыбкой возрился на отца Бакури.

— Нас и правда не туда повело,— согласился Парна.— Тост за женщину — за женщину как главу семьи — поднимался и поднимается раньше всего. И даже сегодня, когда здесь — хотим мы того или нет — у нас за столом посторонний, а мы все знаем, что гость — он от бога,— все равно даже сегодня мы первый тост поднимаем за хозяйку этого дома. За вашу мать, которая в этом мире никого, кроме вас, не помнит, не видит — так вы хоть собой и своими делами оправдайте ее жизнь на этой земле.

— А кого еще, интересно, мне помнить прикажешь? — Снова пальцы Русудан принялись скатывать хлебный мякиш.

— За твое здоровье, мама! — На этот раз Леон вышел после отца и опять поглядел на жену.

— За ваше здоровье! — Даже не пригубив, Нора поставила стакан на стол.

— Мамочка! — вскочил Мамука, вино плеснулось из стакана, но он так и остался стоять, ибо заговорил второй брат, Ватути:

— Нет, не следует думать, будто не рассчитаться нам с матерью за ее заботу. В добром слове нуждается каждый. Так неужели нам не по силам ни доброго дела ей сделать, ни доброго слова сказать? Такого и недругу не пожелаешь. Но сегодня мы можем одарить ее только словом, и пусть это слово будет о том, что совсем близка

пора, когда мы возьмемся за дело — и дело это будет ей платой... — Ватути взглянул на отца. — Той, разумеется, платой, какая только будет нам по плечу.

Он опять повел издали, лишь бы оттянуть время и не дать разговору добраться до его дел. Что отцу он не сумеет пустить пыль в глаза, сомнения быть не могло, а вот матери...

Его мать могла одолжить соседу огромный годори, сплетенный самим Парной, или косу с новехоньким черенком — отдаст и спросить позабудет. Чего бы о ней ни плели, душа у нее была добрая, и оттого хлебала она в семье — не перечесть сколько всего. В деревне считали ее простоватой. Другое дело — умеет она шить, вышивать или, скажем, уколы делать — тогда б разглядели в ней сердце и чистую душу, а так, чтобы доброе слово в спину сказать — клещами тащи, не вытащишь.

А Ватути несло...

— Мы тебе, наша родная, не знали цены, но ничего, не расстраивайся.

Отец весь напрягся, и Ватути почувствовал, как пусто и сухо вырвалось у него это «не расстраивайся», и тогда он вернулся к тем временам, когда мать мечтала о совсем ином будущем, пусть сама она даже не помнит, о каком таком будущем мечтала она. А уж ему и подавно не вспомнить, что он тогда обещал своей матери и какие жертвы принесла она на алтарь воспитания сыновей. Но единственное, что должно признать с глубочайшей душевной болью (и тут он побольше набрал воздуха в грудь), дети знают, чего стоило ей взрастить для отчизны четырех сыновей, кстати не таких уж пропащих, как, может быть, кажется кое-кому.

— Если тебе так уж приспичило, говори о себе, — Бакури стало стыдно отца.

— А чего? — Ватути быстро обернулся к брату. — Про тебя ведь не скажешь, что ты у нас совсем уж никчемный?

— Нет, видно, придется накостылять ему парочку раз, — скривил губы Парна и движением пальцев велел Ватути сесть.

— Х-х-хватит, — заволновался Леон.

— Если грузинский стол — академия, а поднимающий тост — вещает с кафедры, вступив на которую царь и раб становятся равны, где, как не здесь, открывать нам друг другу, что хранится в наших сердцах...

— Было. Все было, — покачал головой Парна.

— На это он мастер. Двух слов сказать не даст... — Русудан опять отщипнула от хачапури и принялась скатывать шарик, но без прежней уже сосредоточенности.

— Пусть каждый сам свою шкуру чистит, — Ватути повысил голос и опять поглядел на брата: это когда ж ты успел наябедничать, если ему захотелось накостылять парочку раз?

Но тут же сообразил, что лучше смолчать, а то и вовсе погубишь дело, и стал тих и невозмутим, однако, не бросая тоста, умудрился напроорочить матери столь дивный завтрашний день, какой другим матерям и не снился.

А Бакури обещать было нечего. Если мать чего-то лишилась, что пошло во благо всему человечеству, им ли, детям, этот урон возместить? Тот, кто отдал бесценные свои силы детям, лишь возвращает долг, отдавая то, что положено отдать, — таков закон, и сыну, хочет он или нет, точно так же положено вырастить сына.

— Ишь ты, шапку на голову — и пошел, — рассмеялся Ватути. — Гуляй себе — и никаких долгов.

— П-п-перестань! — снова вмешался зайка Леон, которому что-то подсказывало — больше правды за третьим братом.

— Не надо его обижать, — попросила жена и улыбнулась свекрови своей неловкой улыбкой, словно оправдываясь, что хотела братьям только добра, а так бы разве решилась она учить мужа...

— Векселями бросаться проще всего, — Бакури спокойно повернулся к брату, — но кто может знать, сгодимся мы на что-нибудь путное или нет, каждому своя цель положена, и вовсе не все зависит от нас.

— А от кого же? — поинтересовался Ватути. — Эти люди свое дело сделали, — он снова рискнул задобрить отца, — выходит, почитывай себе книжки только книжек ради и долби: я постиг все тайны мира, все мы куклы в чьих-то руках. Ладно ты, но отцу не прикажешь махнуть на все рукой, он своего добиваться будет, я тут уверен.

— Ну и м-м-молотит! — Леон осушил бокал, словно утверждая, что все сказано и ему незачем говорить.

— Сын не может сделать того, что положено сделать отцу, ему своя роль уготована, и пусть хотя бы для этой роли он будет пригоден.

— Как пригодна была твоя мать, — вставил Парна.

— Но ведь и ты пока не воздвиг себе памятник, — Русудан бросила на стол катышек и поднялась. — И чего ему надо от нас...

V

Бог весть в который раз прокричали петухи. По узенькой деревянной лестнице, сбегавшей с заднего балкона, он спустился вниз и, чтобы не столкнуться с женой, краем сточной канавы, разделявшей дом и кухню, пошатываясь, выбрался на широкий двор перед домом. Черная как смоль собака, в надежде, что хозяин, подвыпив, удостоит ее наконец капли ласки, бесшумно следовала за ним.

Райграс уже покрылся инеем. Роса, скопившись на листьях садовых деревьев, редкими каплями падала на траву. Воздух был плотный, сырой, прохладный. Парна опустился на плоский широкий камень, покоившийся на двух валунах под старой грушей, и, прислонившись спиной, ощутил ее ствол и прилипший к нему толстый — с горло кувшина — стебель виноградной лозы.

В сиянии неба звезды дрожали, словно живые. Золотое мерцание Млечного Пути, будто след, оставленный богом, пересекало небосвод от края до края.

«Такова ли Вселенная, как мы думаем, или мы снова ошиблись, как ошибались, когда Землю считали плоской?»

Собака ткнула носом в колени и обнюхала их, видно желая убедиться, точно ли это хозяин.

Не отрываясь от ствола, Парна потянулся к ней рукой, но не достал. Собака положила голову на плоский валун.

«И я не воздвиг себе памятник, и те, что думают, будто воздвигли его себе, не воздвигли. Если этот мир так до жути велик, значит, баба моя умнее меня, да и не только меня, а и всех земных мудрецов, а Ватути умнее матери, и что необъятной глубине этой до того, крепость ты строишь, чтоб спасти мир людской, или совращаешь чужую жену?»

Собака встревоженно лизнула Парну в руку.

«Если у этой безмерной вселенной нет хозяина, значит, некому отворить тебе врата в рай или швырнуть тебя в котел с кипящей смолой? Или совесть моя и отпущенная мне мера добра, моя человечность сами заведут меня в

рай либо в ад? И потом — совесть моя и моя человечность, где их начало, откуда взялись они и когда — тогда ли, когда я появился на свет, или много раньше, когда родился дед моего деда?

И когда придет им конец? Когда не станет меня или когда исчезнут с земли внуки внуков моих?

И так и этак — одна глупость выходит. Моя совесть и моя человечность с меня начались или идут от Адама и Евы? И чем дело кончится — ими, Адамом и Евой?»

Собака улеглась поудобнее, ухом на камень, и, изловчившись, лизнула хозяину руку.

«Кто из нас двоих прав? Я, которому надо пробиться сквозь мглу, объявляющую историю моего народа, или она, давно позабывшая свои девичьи мечты, да и пусты они были, эти мечты, и сейчас не вспомни я об обеде, она и завтра о нем не спохватится».

Собака уже совсем вывернула голову под ладонью хозяина. «Или так заведено, что, едва появившись на свет, человек начинает искать и, пока не умрет, все ищет и ищет — и не может найти? Не в том ли и смысл этой жизни — искать и не находить? А добрался до смысла — он взял и пропал. Может, в этой бесцельности — цель? И познание — в недостижимости знания?»

Это понятно, что человек однажды сотворил бога, но раз бог был его собственной выдумкой, в тот самый миг, как он выдумал бога, не мог же он сразу поверить в него? Ведь никто так ни разу его и не видел. Ну, пускай, раз он бог, ему и положено быть незримым — не станет небесный владыка спускаться на землю и таскаться по дворам: вот, пожалуйста, я явился, уверуйте в меня. Но и создать то, отчего явление его божественной сути стало б для всех совершенно бесспорно, богу тоже не удалось.

Тля бесплотная — и у той есть начало и есть конец. Все и вся имеет свои пределы. Тем более такое совершенное и всемогущее существо, как бог: пусть он не знает и знать не хочет, что конец его неминуем, но начало свое он должен иметь?»

Собака вытащила голову из-под хозяйской руки и обнюхала колени.

«И если тот, кто уверовал сразу, не рассуждая, жил трудясь и творя добро, то каково же было тому, кто в первый миг не поверил и лишь после опомнился. Для чего

он прожил жизнь? Без всякого смысла, выходит, раз не было для него ни бога, ни рая, ни ада, ведь и ад — это жизнь. А хоть одна душа знает, что лучше — рай или ад? И раз не было для него ни рая, ни ада, ради чего ему мучиться и страдать?

Кто уверовал сразу, ему незачем было думать и гадать, что там ждет его за чертой этой жизни: он знал, рай ему обеспечен, вечный рай, а в раю не помрешь. И заботы ему было мало, что для него в том раю припасли: приду и увижу. Но тот, кто не уверовал сразу, ради чего мучился и жилы рвал? Почему лучшего сына предпочитал худшему? И которого сына вообще считать лучшим, а которого — худшим? Лучший был с ним поласковой, когда старость пришла? А худший оказался хуже? Тоже мне чудеса, если в этой жизни Ватути срежет курдюк пожирней, а когда отец с матерью ему в рот заглянут, он им тоже уделит кусочек послаще, чем дожدهшься от Бакури, а от Мамуки и ждать нечего.

Этот мудреный клубок Леон, скорее всего, оставит распутывать нам, обратно ему не швырнешь. У Ватути мне веры нет: что я там думаю — для него звук пустой. Бакури — дело другое — этот будет разгадывать то, что я не сумел объяснить, но ведь и я не хочу помереть, как мой отец, который так и сгинул между верой и безверием. Вот Мамука — этот совсем другой. Что тут делается на земле, он и видеть не видит. Ему надо проникнуть туда, куда взору смертного не проникнуть».

Собака заскулила тихонько, хотела вовсе убраться, но передумала, пролезла под камень, на котором сидел Парна, и растянулась, положив голову у ног хозяина.

— Сел на холодный камень и сидит. И чего он тут потерял? — Голос жены, осевший от холода и тревоги, заставил Парну вздрогнуть.

— А чего мне прикажешь делать? — Ни упрека, ни радости, что о нем не забыли и ищут.

— Что делать? Встать и идти спать.

— Может, это и так.

— Все не так, раз я говорю.

Собака вылезла из-под камня и поплелась за Русудан. Сейчас всем было не до нее.

— Мой ковчег и правда блуждает во хладе и мгле, — проговорил Парна, то ли чтоб услышала тишина, заполнившая весь простор от темной земли до звезд, то ли чтобы он себя сам услышал.

Бледный утренний свет разбудил Мамуку, и он, проспав всего два часа, проснулся в такой тревоге, словно бухнул большой колокол в церкви. Постель, в которую как толченого стекла бросили, когда он засыпал, к утру стала такой теплой и мягкой, что невозможно было поднять голову и единственно что оставалось — зарыться лицом в подушку.

Вернувшись домой через год, он бросился в эту постель, как в чужую, а наутро родней ее не было ничего на свете, как для ребенка, отнятого от материнской груди, в мире нет ничего вождеденней ее.

Лежа ничком, он блаженно вдыхал воздух, который сам выдыхал, упиваясь им больше, чем нежно-лиловой прохладой, льющейся из распахнутого окна. Мыслей не было, или они текли, не запечатляясь в сознании, но тело, согретое и обласканное собственным своим теплом, дыхание и кровь, шумевшая в висках, возвращали ему томление младенца, отнятого от материнской груди, которое таилось в нем постоянно, и теперь он, нежась, вбирал в себя все, без чего тосковало его существо весь этот год. И кто знает, долго б длилось бескрайнее это блаженство младенца, истомившегося по матери, если б вдруг не коснулось его дыхание той, что еще не склонялась на эту подушку, и тут он услышал биение собственной крови в висках.

Текла...

Мамука перевернулся на спину, вообразив вдруг, что уже полдень, но пробежали только минуты и в комнате по-прежнему брезжил лиловый сумрак.

Рубаха и брюки после постели были холодные и чужие. Босой, он приподнялся на цыпочки, взял в руки ботинки со смятыми задниками и только тут различил, сколько людей дышало и храпело в стенах этой комнаты, и было странно, почему ему раньше казалось, что он здесь один и он не слышал, как дышала его родня на все голоса. Мамука смелее двинулся к двери.

Дубовые, выщербленные ступени были сыры и холодны, но когда Мамука сбежал до середины лестницы и опустился на них всей ступней, он ощутил вдруг, сколько в них теплоты, будто в дереве скрыт был жар вчерашнего солнца, а роса и прохлада этого утра легли только сверху, и — едва он ступил всей ступней — их тепло побежало вверх, в тело.

В углу нижнего балкона калачиком свернулась собака. На шершавой поверхности земляного пола она казалась черной кляксой, упавшей на картон. Собака поднялась, не проронив ни звука, выгнула спину, отряхнулась и, приблизясь к Мамуке, обнюхала туфли, которые он держал в руках, и, ожидая чего-то, от чего она отвыкла и все-таки помнила, подняла на Мамуку глаза.

— Бахула! — не голосом — одним движением губ позвал он ее и лишь поворотом головы да прщуром глаз приказал: «Тихо!»

Бахула лапой коснулась штанины и завилыла хвостом.

Хозяин бросил ей под нос ботинки со скомканными носками и пошел дальше, а дворняга снова принялась обнюхивать, что ей бросили, в надежде обнаружить то забытое, что ей померещилось, и опять осталась ни с чем.

Отодвинув засов, Мамука приотворил скрипнувшую дверь кухни и, протиснувшись бочком, пробежал на цыпочках по земляному полу, словно пол мог скрипнуть или будто здесь спали. В углу на кованом гвозде висела сеть со свинцовыми грузилами. Закинув сеть за спину, он на цыпочках выбрался из кухни. Сеть он тоже бросил на пол перед носом собаки и все так же на цыпочках засеменял обратно. Он заглянул в закопченное оконце и, обеими руками схватившись за дверную ручку, осторожно приподнял ее, приоткрыл дверь и, тоже бочком войдя в комнату, остановился над головой матери, которая спала глубоким утренним сном.

Лежа на полосатом без простыни тюфяке, брошенном на тахту поверх ковра, Русудан спала, укрывшись пестрой клетчатой шалью и мужниной ватной телогрейкой. Она дышала так шумно, что странно было, почему у себя, на втором этаже, Мамука не слышал ее дыхания. Наверное, поэтому отец и спал всегда у себя, а мать в своей комнате, которую вчера уступила старшему сыну с невесткой.

Под шалью и старенькой телогрейкой спал человек, который для других был самый обыкновенный человек, как обычны и не отличимы друг для друга тысячи остальных людей, а для Мамуки в нем было то, что охватило его сейчас в постели, когда он проснулся и не вставал.

Как тогда, когда он босой спускался по лестнице и сквозь поверхностный холод ступеней в него пробирался жар вчерашнего солнца, так сейчас из-под вороха старья поднималось к нему тепло материнской любви и прощенья.

В это утро впервые ему стало жалко ее будить, наверное, еще оттого, что прежде он и думать не думал считаться с ее уединеньем и она никогда его в этом не упрекала.

Может, к домашней возне и правда в ней не было рвения, как не было и равнодушия, когда все пропадом пропади, но в этой женщине самой природой заложен был дар материнства, который подспудно, смиренно и неотступно жил в ней всю ее жизнь, и, разумеется, она отличала зло от добра, но не тогда, когда речь шла о ее детях. Прodelкам Ватути она бы, конечно, нашла оправданье, но, скорее всего, и вовсе не стала бы искать в них вину. А если бы вина была обнаружена, она бы свалила ее на другого и не увидела бы в этой вине ничего, что могло очернить ее чадо. Даже если бы ей доказали, что он кругом виноват, она бы в душе продолжала считать, что тут чья-то ошибка, и мысль, что на сыне ее грех лежит — тут с мужем согласия ей не найти — просто-напросто была недоступна этой, спавшей сейчас под ворохом тряпья, женщине, потому что была она человек, который слышал лишь то, что вещало ему его сердце, и если вне этих пределов она и могла что-то еще различать, но не тогда, когда речь шла о детях. Во всем, что касалось детей, ее любовь была слепа.

Может быть, в той любви, какой связаны мать и дитя, есть особая сила, суть которой единственна? И оттого она выше всего на земле, что нет для нее ни систем, ни законов, может, в милосердии матери и прощении есть частица милосердия божьего, которая дается лишь матери и лишь в ее отношении к детям, а во всем остальном мать такой же человек, как все прочие люди, не познавшие материнства?

Скажи ей, что сынок ее — отпетый мерзавец — мил и хорош, она с тобой может не согласиться. Но не верь ей. Несогласье ее — помимо себя и помимо души, потому что рожала она его для добра, чистоты и счастья и видит его, каким родила. Не могла она девять месяцев носить под сердцем вора и бандита, корчиться в родах, чтобы на свет появилось зло, и не знать ни ночи, ни дня ради того, чтобы вырос, выжил подлец и убийца. Она видит в нем то, для чего родила его и растила. Зло мы видим злым и доброе добрым и называем, как видим: этого — злым, а того — добрым. И нет нам другой заботы, как сказать правду. Но для нее-то он, про которого мы решаем, хорош

он или дурен, все равно всех дороже, всех выше и лучше!

Ребенок для матери — мера прекрасного, какой там мерой ни меряй его другие. Если он озорник, значит, ему и положено шалить и шкодить: такой шустрый родился, ему двигаться надо. Ему не сто лет, чтобы сидеть и гадать, как тебе угодить. Стукнул кого-то, кто его пальцем не тронул, так тому же на пользу, пусть не спит на ходу, пусть, как все, сломя голову носится — крепче будет и здоровей. Мямля и рохля — так опять хорошо, значит, душа добрая. Кусок тянет к себе пожирней — большой будет и сильный.

Когда мать начинает растить ребенка, ее представление о том, что есть добро в человеке, а что зло, меняется начисто, и, что бы другие ни втолковывали ей, она, может, и выслушает их, потому что она одна, а других тысячи, но останется при своем.

— Мама!.. — Губы Мамуки едва не коснулись материнского уха, и с тех пор, как он помнит себя, он впервые окликнул ее тише, чем надо, чтобы спящий проснулся, а может, только сейчас он понял то, что раньше, не думая, знал: как тихонечко надо позвать ее, чтоб она открыла глаза.

Он хотел снова окликнуть ее, но Русудан достало и этого шепота. Что-то заставило сына позвать ее тише обычного, и эта осторожность тут же проснулась в ней.

— Мамука? Что случилось? Не спишь? Уже день?

— Светает...

— Куда ты спешишь?

— Отцу не говори...

— Что случилось? Отца хочешь с ума свести...

— Свести с ума? Почему?

— Куда собрался в такую рань? И зачем ты привез эту девушку?

— Я ведь тебе написал?

— Написать-то написал, но твой отец...

— Чего сейчас об этом...

— Иди спать. Всю ночь без сна.

— Мам! Я пойду порыбачу.

— Нашел время...

— А чем не время?..

— И не думай, не смей...

— Целый год не рыбачил. Ты что, мам!

— Что я отцу скажу?

- Текле было бы так интересно...
- И не думай чуть свет бежать к дяде.
- Она в городе выросла, никогда рыбалки не видела.
- Я тебе что сказала!..
- Т-с-с-с! — Мамука приложил палец к губам и поднял глаза к потолку.
- Что ж теперь будет? — уже громче произнесла Русудан и села на тахте.

VII

Собака проводила его до забора, и там, где забор был пониже, он легко перемахнул через него. Сеть висела у него на спине. Бахула села на землю, поскребла задней лапой за ухом и от обиды, что опять никому не нужна, заскулила робко и коротко.

— Сидеть! — Мамука даже не оглянулся.

Трава — вся в мелкой росе — под ступней хозяина прижималась к земле и опять распрямлялась. Дворняга гавкнула от нечего делать.

Пока Мамука шагал к дядиной оде, легко парившей на сваях, ноги его по щиколотку промокли в росе, усеявшей райграс, а тепло и истома постели обернулись такой легкой бодростью, что не будь ода дяди так близко, он бежал и бежал бы по бескрайнему ровному полю.

Он забрался под шелковицу, широко раскинувшую ветви возле самой дядиной оды, притих на мгновение и, обратившись весь в слух, подбежал к дому, едва касаясь ногами земли. Но сваи были так длинны и ода из бука была так высоко, что в окно, которое было распахнуто, никак не заглянешь, и только тут он догадался бросить сеть под дерево, подпрыгнул, успел уцепиться за карниз и, упершись ногами в нижнюю балку, медленно поднялся. Сердце его так колотилось, словно повис он не на буковых досках родной дядиной оды, а на стене башни, взмывшей над крутой отвесной скалой, и стражники вот-вот подценят его на конья. Глаза его, едва поднявшись над линией карниза, уставились в огромные, оцепеневшие от сна и счастья девичьи глаза и в нос, прижатый к подоконнику с той стороны.

— Те-е-е-к... — вырвалось у Мамуки, когда ее растрепавшиеся волосы коснулись его лба.

В комнате было темно, снаружи ничего не видать. Он подтянулся еще, чтобы заглянуть в комнату через голову Теклы, и его обдало теплом девичьей постели и девичьего тела, столь не схожим ни с чем, что мокрые пятки соскользнули с балки и он повис на одних пальцах.

— Мам... — вырвалось у нее, и она в такой тревоге высунула голову из окна, словно ее возлюбленный сорвался с башни, подпирающей небеса, но, увидев, что прилипшего к стене Мамуку от земли отделяет вершок, сонно улыбнулась и, чтобы он не свалился, сжала в теплых, словно припухших ладошках его пальцы, вцепившиеся в край карниза.

— Тико спит? — вытянув шею, беззвучно, одним лишь движением губ спросил Мамука.

Девушка обернулась туда, где, видно, спала, свернувшись калачиком, Тико, и кивнула с той же сонной улыбкой.

— И другие тоже все спят?

Теперь она оглядела всю комнату — о каких других ее спрашивают?

— Кроме вас там нет никого?

Девушка повела головой, которую оттягивала копна перепутанных волос.

— Хорошо... — Только тут он сообразил спрыгнуть на землю. И чего это я висел на стене? — улыбнулся он сам себе.

Она поймала его взгляд и улыбку и чуть не рассмеялась — а зачем я держала тебя, можешь мне объяснить?

Нырнув под ветви тутовника, он приподнял стянутую веревкой сеть.

«Что-о-о?» — изумленно раскрылись ее пухлые губы. Руки его взметнулись, будто закинули сеть, и принялись загребать воздух, вытягивая сеть из воды. Она зажмурилась от восторга и, сбросив сон, встряхнула волосами — а мне как теперь быть?

«Как быть? Вставай — и пошли», — сказали Мамукины глаза.

Текла опять обернулась — не проснулась ли та, что спала в изножье тахты.

«Пусть спит, ее не касается», — успокаивая Теклу, повел плечами Мамука.

«Тебе-то пусть, а мне неудобно».

«Ну тогда меня слушайся, — и он вскинул руки. — Кидай свое платье, а потом сама вылезай», — и в восторге от

собственной выдумки он заплясал на месте, не дожидаясь, согласится она или нет.

«Ты чудесно придумал, — просияла она и взглянула в недоуменье: — Только как же так — взять и перелезть?»

— Да! Да! — К нему даже голос вернулся. Лишь бы не передумала, не пропала б такая прекрасная мысль, и не дожидаясь ответа, снова быстро вскарабкался вверх — платье, платье бросай!

Завороженная странной смутностью происходящего, Текла нагнулась, и зеленое, в белых ромашках платье повисло на стене. Мамука тут же стянул его вниз и, прижав к груди, показал на ботинки — туфли бросай!

Ворох волос исчез, и на карнизе появились белые туфли.

«Теперь сама спускайся...»

Но, возникнув в раме окна, она вспомнила вдруг, что на ней одна ночная сорочка, и все. Да и не прыгнешь. Можно только перекинуть босые ноги — и соскользнуть вниз, прямо ему в руки.

Текла даже присела — нос исчез. В проеме окна сверкали только глаза, огромные от растерянности и стыда.

«Чего ты ждешь? Спускайся, пока никого нет, — возмущение просто распирало его. — Быстрее! Убегали же люди из замков».

А Текла глядела — и согласиться нельзя, и в голову ничего не приходит.

«Ладно! — Мамука тихонечко хлопнул в ладоши. — Все ясно! — В восторге от собственной выдумки он выставил большой палец и ладонями прикрыл веки. — Я и глядеть на тебя не буду». Он простер к ней руки и, закрыв глаза, вжался в стену.

Он стоял долго, но никто не спускался, а может, спускался, да не сюда. Он задрал голову, и лицо его, как у бедного слепого, в нетерпении ждало и не желало ждать и терпеть, моля о прозренье, и Текла, так ничего не придумав, скользнула по стене и клубком белого шелка упала ему в руки.

VIII

Только Текла сунула ноги в туфли, как на балконе хрипло прокашлял Лука, громко чихнул, потом еще и еще, и, шаркая плепанцами, спотыкаясь со сна, дядя потащился к лестнице.

Не отрывая глаз от Мамуки, Текла с перепугу попятилась и пригнулась, чтобы нырнуть между свай под оду, но Мамука, схватив ее за руку, показал, что, стоит кому-нибудь, чуть наклонив голову, сюда заглянуть, ее обнаружат сразу.

Одной рукой закинув сеть за спину, другой подхватив под руку Теклу, Мамука бросился в самый конец двора, но тропинка, бежавшая позади хурмы и низкого лаврового кустарника, вела прямо к уборной. Чихая и отхаркиваясь, Лука спускался по лестнице, видно туда и держа свой путь. Мамука свернул влево к загону и, приподняв плетеное кольцо, приотворил калитку, сперва выпустил Теклу, пролез за ней сам, но сквозь калитку и плетень ничего не стоило их разглядеть. Узенькой тропинкой, тянувшейся вдоль валившегося наземь тына, они пошли дальше.

Во время дождей скотина так размесила эту тропку, что на нее не ступить — грязь по колено. Чтобы пройти, ближе к тыну набросали камней, и Мамука вышагивал по ним, даже не глядя под ноги, а Текла, которая только и умела, что каблучками по тротуарам, да сейчас еще ноги в росе, перескакивала с камушка на камушек, цепляясь за валившиеся кольца.

Во дворе появился Лука, и Мамука махнул Текле: пригнись, не висни на кольях — заметят. Она мигом нагнулась, но лишившись опоры, поскользнулась на маленьком камне и одной ногой увязла по щиколотку в жирной, едва подернутой сухой коркой, грязи, круто перемешанной с навозом. Тепло покинутой постели еще бродило в ней, она застыла на миг в изумленье и, потянувшись к Мамуке, который присел на корточки, рассмеялась.

Опешив от этого смеха, Мамука зубами схватил веревку, на которой держалась сеть, и, подхватив Теклу свободной рукой, притянул ее к себе. Выдернув из грязи ногу, Текла шагнула, но опять оступилась и снова увязла. Другая нога ступила точно на камень, и Текла пошла ковылять: шаг на камень, шаг в слякоть. Когда, миновав усадьбу Луки, они выбрались в поле, Мамука расхохотался: одна нога у нее была совсем чистая, а другая от грязи — черная.

Ему смешно, — и она до слез рассмеялась. Как хотелось ему тогда, у забора Луки, добежать, донестись, долететь до стены ее и окна — и погасло все это, ушло, а сейчас сиянье рассвета, бескрайнее поле и льющийся девичий смех подхватили Мамуку, и, сжав ее руку, он

помчался... Свинцовые грузила перекинутой за спину сети хлестали по бокам, набрякшие от росы брюки тяжело шлепали по икрам, рядом с ним неслась, ничего в этом мире не ведая и ничего лучше этого не желавшая знать, Текла и хохотала, и неслась, и летела, или их несло и гнало разнотравье, льющееся зеленой жемчужной струей.

В этом огромном пространстве ничего, кроме низких кустов облепихи, не было видно, и на покато сбегавшем поле, там, где оно становилось равниной, на этом огромном зеленом ковре было дерево, одно-единственное и такое огромное, что ствол его, ствол старой дикой груши, едва могли обнять двое. Справа и слева поле сбегало в далекий лес, но еще за сто лет до Мамуки, как и теперь, парни и девушки этой деревни знать не хотели этого леса. Местом сборищ, тенью, кровом, колом и двором была для всех эта старая дикая груша. Как древняя бабка, она пестовала внуков и правнуков целой деревни. По ней лазали, ползали и ломали ее ради вязких незрелых дичков, и ни разу столетнему дереву не пришлось увидеть плоды свои зрелыми, его тесали и рубили, если в ненастье дупло всех не вмещало, у подножья его разжигали огонь, и у бедного дерева ствол всегда бывал опален с той стороны, откуда в ненастье скрывались от ветра. Измученное, изувеченное, в чем только душа держалась, всякий раз по весне его усыпали почки, и оно опять зеленело всей деревне на радость — и старым, и малым.

Вот к нему и мчался Мамука, Текла об руку с ним, и смех не унять.

Они бежали, или, как тополиные щепки, их несло изумрудным потоком росы и травы, словно им было велено мчаться рядом, не отпуская друг друга и не давая смеху иссякнуть. Где они пробегали, так в росистой траве оставался длинный, яркой зелени след. Трава распрямлялась, вздымаясь живою тропой.

И как на гремливом пороге вышвырнет из воды пару скользких форелей и нацепит на ветвь склонившейся ивы, так сцепившейся парой бросило их на дуплистую старую грушу — его с той стороны, ее с этой. И — всё. Пальцы не разжимались, и столетний ствол стал между ними. Сеть свалилась с Мамукиных плеч, и другая рука, обвинив дерево, дотянулась до пальцев девушки. Смех был в них как дыхание, и, вжимаясь с обеих сторон в старый ствол, они звали его пробудиться. Смеялись — и дерево

отзывалось смешком, хохотало и оно, кряхтя, похохатывало, покатывались — и оно сипело и скрипело в ответ, пока над их головой не стало совсем светло — и день заставил очнуться и дерево и человека.

IX

Рассвело.

Они стояли на краю поля, у самого пруда. И опять левой рукой Мамука придерживал сеть, повисшую за спиной, а правая покоилась на плече Теклы. Они стояли возле этой недвижимой воды, подернутой грязно-зеленой ряской, а из ситников и рогозов выглядывала то пучеглазая жаба, то черепаха, сроду не видевшая, чтобы возле этой трясины замирали, да еще так надолго.

За болотом, за согнутой ивой лоснилось синее кукурузное поле.

И Текла не понимала, какая радость стоять возле этой огромной лужи, но она стояла, потому что тот, чья рука была на ее плече, не собирался двигаться с места. Люди часто не могут объяснить свои поступки, хотя уверены, что поступают как надо. И она сейчас верила, что ей надо стоять рядом с ним, хотя не смогла бы объяснить, зачем им понадобилось так долго торчать не шелохнувшись возле этой лужи, когда даже приличной ивы тут не росло.

Оказывается, соскучиться по родным местам — по деревне или по городу — вовсе не значит соскучиться по матери, по лозе, по деревьям, реке и траве. Соскучиться можно по болотной трясины, по рогозе, по рогахвосту и по лягушке.

Мамука обнаружил это сейчас, в это утро, словно побежал за коровой в поле, а споткнулся о слиток золота. Он бежал по росному полю, вслед ему вздымалась трава, и, уткнувшись в болото, потрясенный собственной радостью, он вдруг обнаружил, что без памяти рад, как вчера — маме, а сегодня — дикой груше.

Он бы мог обнять сейчас и расцеловать эту широкую лужу, о которой целый год он и не вспомнил ни разу, но сегодня, пока он носился по полю, она маячила перед ним и ему хотелось прижаться к ней, как вчера к маме, а сегодня к стволу дряхлой груши. Нигде у поэтов не читал он того, что сейчас с ним творилось, и никто из ребят

ни разу в году не признавался, что его сгрызает тоска по лягушкам, по вонючей трясине и кочкам.

Эту затхлую воду не пила даже измученная жаждой скотина. В жару вода высыхала, слякоть заквашивалась и поднимался такой смрад, что даже лягушкам и черепахам невоготу было здесь оставаться, а бедные головастики, которым вовсе было некуда деваться, выпускали дух. Сколько раз в подоле рубахи Мамука переносил их подалее, в низину, или оттаскивал к ручью...

Здесь и сейчас стоял противный запах, краски были безрадостны и скучны берега — разве что дотронуться до ободранной ивы, а больше вокруг — ничего.

Но все, что мальчишкой он даже не замечал и о чем после думать не думал, все это он сейчас и видел, и осязал. Это было родное, была его жизнь, ничуть не меньше и не хуже, чем все, что у него в этой жизни было. Одно было странно: почему все это раньше он не помнил и не вспоминал — ни в яви, ни в снах.

Обойдя болото, они уже вышли на кукурузное поле, а он все оглядывался, словно его изгоняли из рая и нет сил оторвать взор от родного Эдема.

Кукуруза была в человеческий рост, на листьях, вытянутых словно кинжалы, скопилась роса, и, падая редкими дождевыми каплями, она ласкала их, пробиравшихся между рядами, и, когда поле осталось позади, они были насквозь мокрые.

Зеленое в белых ромашках платье так облепило тело Теклы, что стал виден лифчик вместе с бретельками.

Когда они вышли на аробную дорогу, бегущую к чайным плантациям, Текла своими тонкими пальцами принялась разбирать перепутавшиеся мокрые волосы, она подняла руку, бретелька впилась в плечо, и Мамука провел указательным пальцем по этой бороздке. Она вела прядь волос со лба до макушки, а у макушки он подхватывал эту прядь и пальцами, не знавшими подобных занятий, провожал ее с затылка до плеч.

В последние ясные дни солнце так обсушило дорогу, что подсохшая грязь уже могла удержать человека, но в колеях от аробных колес еще стояла желтая вода, и оступить — грязи хватит.

По этой дороге, которую месили арбы, скотина и человек, Текла шла в мокрых туфлях на высоких каблуках, подворачивая ногу на каждом шагу, и не прижми ее Мамука крепко к плечу, она свернула бы себе шею.

Ей бы с ног валиться от этих ухабов и рытвин, но как все относительно в этом мире — огорчение и радость, наслаждение и неудача. Сколько она исходила гладких и ровных улиц и площадей, особенно с той поры, как они подружились с Мамукой, — у породистой лошади желчь разлилась бы, — но спроси сейчас ее, она б и не вспомнила, была ль в ее жизни дорога удобней, приятней и, если хотите, счастливей.

Звук торопливых шагов заставил Теклу обернуться — кого с такой легкостью несет по этим ухабам? Ей откуда знать, а Мамука сразу признал хилого человечка, в годах, который, семеня по подсохшей грязи, хотел уже их обогнать и бежать своим путем дальше, но, разглядев Мамуку, отшвырнул сигарку и руку обтер о штаны с таким тщанием, будто она в навозе. Свою руку Мамука даже не успел убрать с плеча Теклы.

— Здорово, парень! Уж не Мамука ли ты, сын Парны? — Он спросил так, для порядка, сомненья тут не было.

— Здравствуй, дядя Лади! Мамука, конечно!

— Ты-то Мамука, а эта кто будет? — Лади отступил на шаг и, подавшись опять вперед, пожал Текле руку. — Чья б ни была, а хороша! Пошли господь здоровья ее родителям и убереги от моего сглаза!

— Она... моя, со мной, то есть... мы вместе идем... — растерялся Мамука, не зная, как соврать, и как сказать правду — тоже не зная.

— Стало быть, ваша гостья?

— Да.

— Я так и подумал. Разве что к Парне гость... а ко мне кто... рядышком пройдет, все равно не заглянет...

— Почему не заглянет?

— Утром, сейчас вот проснулся, дергает глаз да дергает, прыгает и прыгает. Ну, думаю, что-то меня поджидает, либо радость, либо беда. Плакать мне или радоваться нынче?.. Вон, опять дернуло, пошли тебе бог здоровья, считай, добром обернулось, вот и ладно, а не добром, так, может, слышал, волю у меня пропали, пара волов... Может, в кукурузу забрели, тогда, считай, полполя пропало, всего добра моего не хватит за них рассчитаться... Гостья твоя, наверное, думает: и что старый пень со своими волами навязался?.. Придут, не придут? Правильно, дочка!.. В доме пусть хоть покойник, а пожаловал гость — улыбайся. Каково же ей, богом обласканной, по нашим дорогам

шлепать... Что она про нас с тобой скажет, Мамука? Позор нам, позор...

— Позор? Почему?

— А вообще-то раз уж она к нам в деревню пожаловала, пусть поглядит, что за деревня такая, — прошлый год я тебя и в глаза не видывал, парень...

— Да я ж, дядя Лади, учусь...

— Будто не знаю! Учусь, учусь... Если по отцу-матери не скучаешь, наша вина перед тобой в чем? Ах ты, господи... Что эта хорошая скажет... Ты — ладно, а если она не будет нас навещать, мы ей не простим.

— Да уж конечно.

— Ты эту девочку покрепче держи, чего тут стесняться... сам видишь... Каблуки высоченные... А с другой стороны посмотреть, не в саножницах же ей шлепать. Подумаешь тоже... Зато кренче запомнит, такого не позабудешь. Другой раз такое вдруг вспомнится, сам диву даешься. Вечером сядешь у камина, сушишь носки, и такое вдруг в башке встанет, как наяву. Со смеху чуть концы не отдашь. Смеешься как дурачок какой... Вчера вот... Сижу у камина, носки сушу и вдруг вспомнил такое — со смеху чуть богу душу не отдал, старуха моя поглядит, поглядит, по щекам себя раз, раз, думает, совсем с ума греховодник спятил. И ты думаешь, я нарочно вспомнил? Само вспомнилось, из головы не идет, хоть ты сдохни! Не могу ж я себе в голову руками залезть и из мозгов эту память выжать... Сюда ступайте, сюда... Здесь вроде посуше...

— Ничего, дядя Лади... что тут такого?

— А чего тут еще говорить... Хорошо, эта девушка болтать не любит, срамить нас не станет.

— Да что вы, — протянула Текла, и в огромных ее глазах был один только этот человечек, такой ей сейчас близкий, что ей показалось: может, и правда он ей родня?

— Ты погляди, у нее и голос как у сирены, а каким ему еще быть? Добрый мастер чонгури выточит — он у него и звенеть будет сладко, не то что у меня, схватил я раз тутовый чурбак, раз-другой — топором, нитки шелковые натянул и жду, небесным голосом он у меня запоет. Ребятики мои, тогда совсем еще вот такусенькие, сбегались, сгрудились, только я эти струны тронул — не то что ребятишек, собак всех как смыло.

Текла от смеха по этим колдобинам дальше шагу не могла ступить и повисла на плече у Мамуки.

— Смеется, будто хорошее вино льется из кувшина, благослови вас господь. Видно, все ж к радости веку у меня прыг да прыг. Так уж повелось, сынок... когда у человека все путем, у него и друг добрый, и родня, и гость тоже добрый, вы уж меня простите, побегу дальше, — заволновался Лади и опять хорошенько обтер руку о штаны, намереваясь проститься.

— И мы пойдем побыстрее, раз нам в одну сторону, — Текла с мольбой глянула на Мамуку, так жалко ей было расставаться с родной душой.

— Да вы со мной изведетесь, у меня ж язык — помело, заговорю вконец. Как ведь бывает? О грехе своем знаешь, а избавиться — ни-ни. Скажешь себе: «Э, друг, совсем не то делаешь, кончать надо». Сказать-то скажешь и делать не хочешь, а делаешь, и как такую напасть назвать — не пойму, а что бывает такое — точнехонько знаю.

— Да, батано, бывает, — промолвила Текла, скорее всего потому, что человек этот и правда боялся, что их утомят, и оттого слов не берет.

— Да она еще и на глазок остра, — похвалил старик, поглядев на Мамуку, — а посмотришь, дитя дитем, так ведь хороший он хорош сызмальства, а отроду дурной дурным и останется. Нашего Зосиму возьми, ты ведь знаешь его, Мамука, Зосиму Сепискверадзе, он мальчишкой меня помнит... вот как я тебя сейчас вижу, а свой дом не найдет, в кукурузе — на прополке — поставишь его рядом с собой, не доглядишь — он все с корнем выдерет. В голове-то у него одно — что любую траву с поля вон. И в твои года такой был, и сейчас такой же. Пошли ему господь здоровья, у меня против него зла нет, я что — сужу его? Так он какой есть, такой он и есть.

— Дядя Лади, а ваш старший сын... я его помню смутно...

— Сулхан?

— Вот-вот.

— А ты и не можешь помнить. Откуда тебе его помнить, когда он хорошо если раз в год приезжал в отпуск... а где еще тебе его видеть?

— Да за ним все мальчишки в деревне бегали.

— А как им не бегать. Форма с иголки, шпалы да оружие... Ребенок он ребенок и есть... В Белоруссии Сулхан, на польской границе. А может, еще где подальше. Мне вояка-сын совсем ни к чему, но ему так захотелось, и точка. А я — лягу, встану — все думы о нем. Почему я

тебя, когда попервости увидел, попрекнул вроде? Ведь уходите — и нет вас, оглянулись бы хоть — и того нет... Что слышать-то? Говорят, немец вовсе ополоумел...

— Да, много стран захватил.

— Это почему ж они все, будто молочных ягнят от овцы оторвали, ему в руки кидаются? Была бы хоть битва какая путная, но я и того не слышал. Может, не пишут у нас, а может, в чужие дела не желаем ввязаться?..

— Почему? Поляков возьми...

— Тоже как-то все на особицу. Да и не скажешь, чтоб по душе мне все это... Знаешь, когда волк у соседа вола загрызет... Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, опять веко дергает, с моими волами беды б не стряслось... Я тебе скажу, когда у соседа волк вола загрызет, хочешь не хочешь, ружье заряжай, тут нечего ждать, когда от твоего вола одни кости останутся.

— Думаете, он решится воевать с нами?

— Наверное, и другие страны не думали, что решится? Каждая сама по себе... И каждая так вот сама по себе отправилась немцам в руки...

— А потом — зачем им воевать с нами, дядя Лади? Что у них против нас?

— А против тех что было?

— Не знаю. Не пойму, зачем вообще нужны войны, — мало что ль на земле места для всех?

— Спроси меня — я так же отвечу, но есть что-то, сам не знаю что... снятся мне дурные сны, и все тут... Хоть бы Сулхана поближе куда перевели. Навещал бы его... Ночью сон приснится — я ему наутро письмо, а ответа месяц жди, не меньше... Нет, не к добру глаз прыгает.

— Думаете, война будет? — Текла взглянула Лади в глаза и теснее прижалась к Мамуке.

— Не знаю, что тебе и ответить, дочка... Что у меня про войну спрашивать, что я про нее знаю... вон колхоз доверил мне пару волов, а куда запропастились они, могу я ответить? Пошли господь вам здоровья, дети мои! — И он протянул Текле руку — будто комок ссохшейся земли лег на ладонь. — Ты что, в июне, да на иванов день рыбачить собрался? — Только сейчас, прощаясь с Мамукой, Лади разглядел сеть на его плече. — Хотя что тут такого — гостю узнать захотелось, солона рыбка в реке или нет?

— Да, захотелось! — тут же откликнулась Текла, лишь

бы не кончился разговор с человеком, который казался ей все родней.

— Тогда поторапливайтесь! Как минуете Магалаши, так держите путь прямо туда, где черная река с белой встречается. Ступайте! Там пройтись — душу потешить, а так, чтобы в этих местах рыбака с уловом увидеть... скорей пса повстречаешь, который охотой на дикого зверя сыт... Парне привет от меня... слышите... Парне... — И он пропал, будто его отвязали и выпустили на волю.

Х

— Вот тебе и река! — Бросив сеть на откос, он опустил ноги в воду.

— А что это за река, Мамука? Я ведь одну Куру за всю жизнь и видала.

— Да и какую Куру? В Тбилиси разве что.

— Какая ни есть, а река.

— Река-то река, а на восходе, рано-рано ты ее видела?

— Может, и видела... что-то не помню, нет... А здесь вот река так река!

Он улыбнулся и промолчал. Хвалить свою реку было неловко. В первый раз она за городом, вообразит еще, что он нарочно привел ее к тому месту, где река была лучше всего, когда, не сбегав еще в долину Колхиды, она, не смирив свой бег, мчалась потоком, а отмель ее раскинулась вольно и широко. Он привел ее сюда, когда слепящие лучи июньского солнца ярко и жарко ломаются в бесчисленных, лоснящихся струях потока, рассыпаясь от берега к берегу мириадами крохотных солнышек, и река, рокоча, несет это плавающее золото.

Мамука скинул ботинки, совсем уже высохшие и скукожившиеся от утренней росы и дорожной слякоти, носки сунул поглубже и перевязал ботинки шнурками. Потом снял рубаху и швырнул на ботинки. Брюки закатал выше колен и принялся разматывать сеть.

— Ты правда собрался рыбу ловить? — Текла, не отрываясь, смотрела на длинные, стройные ноги Мамуки, который раскидывал сеть на откосе, как это всякий раз делал перед рыбалкой Парна.

Если новая сеть, ее надо всю просмотреть, цела ли, далеко ли ее можно закинуть и прочны ли ее ячеи совсем узкие, те, что побольше, и совсем, наконец, растя-

пувшися плоско и широко. Если ж сеть была в деле хоть раз, еще тщательней надо проверить. Сеть могла за сучок зацепиться, за корягу, за острый край камня, ячея распустилась, ее чинить надо, а может, надо добавить грузила или их передвинуть.

— Не знаю, попробуем!.. — Сжимая туго намотанную на ладонь бечеву, Мамука повел сеть, середина которой разворачивалась зонтом, и, когда коноплиные нити натянулись лучами, он собрал их опять и, отвыкший ходить босиком, несмело шагнул к воде. — Нет, ничего не выйдет, — мотнул он головой.

— Почему? — Ей хотелось помочь ему, а как?

— Не выйдет, и все... вот только если ты...

— Если что нужно, давай...

— В оруженосцы ко мне пойдешь?

— Санчо Пансой?

— Рубаху и ботинки пока таскать за мной будешь, ну а после, если нам повезет, добычу!

— А осел? — Текла поглядела кругом, словно осел только что тут щипал травку, а сейчас вдруг исчез.

Текла... верхом на осле! Мамука расхохотался.

— Видишь ли, и осла, и Росинанта скушали волки.

— Ну и пусть. За таким рыцарем оруженосец босиком побежит. Я согласна.

Ее взгляд пробежал по его икрам, подернутым черным пушком, словно коснулася запретного. И, быстро шагнувшися, она схватила его ботинки, связанные шнурками, перекинула через руку рубаху и помчалась вниз к реке. Мамука брел вдоль берега. Хорошего места не попалось, и, остановившися, он распустил один край сети, а другой, со свинцовыми грузилами, закинул за спину. Оттянув сеть ровно настолько, чтобы хватило завести рукой, он схватил узел зубами и оставшуюся сеть разделал на три части. Одну часть перебросил на правую руку, две другие зажал между пальцев. Он вошел в реку по колено и закинул сеть. Долгий жгут ее развернулся, опять свернулся и стал погружаться в воду.

Рыбак покачал головой — не получается, нет. Он попытался, отступая к стремнину и ловко выбирая бечеву, и, когда сеть зонтом выступила из воды, Мамука с силой дернул ее, перегнав добычу в мотню, приподнял и выдержал опять, а когда на поверхности закрутились грузила, отивырнул сеть прочь.

Ничего не попалось? — Текла присела у его ступни.

— Ничегошеньки.
— Почему?
— Плохо раскрылась.
— Может, здесь и ловить нечего?
— А если б и было... Так закидывать — ничего не возьмешь.

— Ну и прекрасно, раз нет ничего, — и она принялась собирать мелкую ракушку.

Во второй раз вышло еще хуже. Грузила запутались в ячеях, и сеть уродливым комом упала в воду.

С каждым шагом вверх по течению рыбак, наловчившись, все точнее разобрал грузила и порой закидывал невод вовсе неплохо, но рыба не шла.

Вдруг на том берегу Текла увидела, или ей показалось... Бросив его доспехи, она взлетела вверх по откосу, чтоб оттуда поглядеть, — нет, она не ошиблась.

— Мамука! Мамука! Сюда! Сюда! На минуточку!

— Иду!

Выбрав сеть и таща ее на себе, а вода, стекая, заливала его, он пересек песчаную отмель и по откосу взбежал к Текле.

— Там, погляди, далеко... река правда черная или мне кажется?..

— Я-то думал, что случилось?..

— А вдруг она и правда черная?

— Ну, черная, и что?

— Как это?

— Как видишь.

— Половина реки светлая, а половина черная?

— Почему светлая. Наполовину голубая, наполовину черная.

— Разве так может быть?

— А не могло б, так и не было б.

— Нет, погоди, я серьезно тебя спрашиваю. Я ж не говорю, голубая и розовая сразу, — это бывает. И мутной река бывает после дождя, но эта не похожа, чтоб мутная.

— Она и не мутная. Самый обыкновенный черный цвет.

— А тут... эта сторона светлая?

— Как видишь.

Мамука испытывал покойное довольство собой оттого, что родная его река такая чудная и Текла поражена, ему хотелось подольше не объяснять это чудо.

— Хотя дядя Лади сказал... — «Дядя Лади», сама удивившись, она произнесла так, будто приходился он ей близкой родней, — он ведь сказал: дойдете туда, где черная река с белой сливаются, я тебя и спрашивать не стала, думала, реки — две. Ведь есть Арагви Черная и Арагви Белая, Черная речка и Красная речка, но ведь вода в них не черная и не красная. А тут вода наполовину черная, наполовину голубая.

— Так и есть.

— Ну, пойдём...

— Пойдём так пойдём.

— Брось ты свой невод, и пошли быстрей.

— Видишь, вон там?

— Вижу.

— Что ты видишь?

— А что я должна видеть?

— А то, что ива на самой середке реки...

— А дальше что?

— А дальше там вроде бы как островок, совсем маленький.

— Да-да, что-то вроде островка.

— По ту сторону остров обтекает черная вода, а по эту — голубая.

— И так всегда?

— Всегда.

— И когда дождь, и когда солнце?

— И когда дождь, и когда солнце.

Текла сбежала с откоса и, как верный оруженосец, схватив доспехи своего господина, перекинула за спину перетянутые шнурками ботинки, а рубаху обмотала вокруг шеи — и быстро к воде.

Только войдя против острова в воду — прямо на высоких каблуках, — она спохватилась: снять бы надо, камни скользкие.

«Чего уж теперь», — мотнул головой Мамука.

Она шла впереди парня, но когда вода доншла до колен, она дождалась его и, в одной руке зажав подол платья, другой ухватилась за Мамуку.

Остров был длинный и узкий, в ширину шагов десять, не больше, и усыпан галькой с песком. Вдоль островка, по самой середке, зеленой полоской тянулся ивовый кустарник, по поясу.

— Правда, черная! — выйдя к тому берегу, сказала Текла, и в ее удивление, ему показалось, скользнул страх.

— Черная, очень черная!..

— Как смола кипящая... Я не видела, но, наверное, такая.

— Вернемся домой, напомни, я тебе бурдюк покажу, он изнутри просмолен.

— Что ж, вино со смолой пьют?

— Смола не растворится ни в вине, ни в воде.

— А эта река?..

— Она проходит сквозь черную руду, оттого и черная.

— Ладно, на черную нагляделись, теперь на эту... голубая, совсем голубая, — она забралась в самую гущу серебристо-зеленой ивы, чтоб наглядеться на ту светлую воду.

Мамука стоял рядом с ней и будто впервые видел, как, с мощным и таинственным рокотаньем обтекая крохотный островок, несет свои голубые и черные воды эта река, а они с Теклой стоят в туземной пироге посреди океана вдали от родной земли и страны, и течения — одно черное, другое голубое — смыкают под днищем их судна свои воды. Один порыв ветра — и лодку, как щепку, унесло б туда, откуда зову о помощи не донести.

Из смоляной этой пучины могли выскочить смоляные акулы и, одним ударом хвоста разбив лодку, расшвырять Теклу с Мамукой, и не в том беда, что он погибал, а что гибнул без Теклы. Ему не было больно оттого, что акулы кромсали его, — мукой было не видеть Теклу, и в сравнении с этим все было сущий пустяк.

«И что только мерещится мне, — думал он без удивления, — и почему наважденью я верю больше, чем яви?»

Хорошо еще, что Текла тут рядом, протяни только руку, но пригнись она — ивняк скроет ее, и тогда от его крика вздрогнет мир. И ему так захотелось, чтоб она была еще ближе, чем сейчас, когда так далеко — надо руку тянуть, что он — сам не ждал и не думал — обнял Теклу, словно утлая их лодочка выскользнула из-под ног, и прижал к себе девочку, которой казалось, что она на свет появилась, чтоб любили ее и ласкали, и он стал ее целовать так искренно, жадно и в таком нетерпенье, словно впрямь потерял ее в океанском просторе и она-таки успел, а она вдруг взяла и нашла на этом изумрудно-зеленом клочке суши.

Из голубой реки в сеть, опять бестолково заброшенную, попала пара бычков, пальца в два величиной, не больше, и эта пустячная добыча, с которой другой бы возиться не стал, вызвала столько восторга, охов и суеты, словно в сеть угодил пудовый сазан или форель длиной с локоть.

Выяснилось, что живых бычков держать не в чем, ни ведерка не прихватили, ни банки, и Текла так всполошилась, словно кто-то из близких вот-вот помрет, а на помощь звать некого.

— Что же теперь делать? — она поднесла к его носу бычков, которые, раздувая жабры, словно головастики трепыхались в ее розовых ладошках.

— А я и не взял с собой ничего, — хлопнул он себя по лбу и принялся выкапывать лунку в песке.

Мутная вода просочилась быстро, и, когда лунка наполовину наполнилась, он из сырого песка и гальки, которые выгреб, соорудил насыпь и опустил в лунку рыбешек.

Снова рыбак двинулся вверх по течению. Пока они добрались до того конца острова, он несколько раз закидывал сеть и вытащил еще четырех крутолобых бычков, которых Текла по одному выбирала из сети и бегом относила в лунку.

Там, где два течения снова встречались, Мамука с особым тщанием сложил сеть, вошел в воду поглубже, чтобы можно было забросить сеть, и получилось вроде бы ладно, но едва край сети выскользнул из рук, как грузила опять запутались в узлах и развернулся только один край. Он подхватил сеть, чтобы не дать ей опуститься на дно, и принялся ее выбирать, чтобы снова закинуть, половчее.

Едва он выбрал грузила, как в сети затрепыхались две белые рыбины, пяди в две длиной. Рыбы выскользнули из неразвернувшейся сети и, ослепительно сверкнув в лучах яркого солнца, исчезли.

— Мамука! — Босая Текла стояла в воде по щиколотку, и подол ее платья был совершенно мокрый.

— Здесь всегда рыба водится.

— Почему ж ты на берег ее не тащишь?

— Да сеть-то не развернулась, я и не думал...

— Пусть не разворачивается, все равно тащи ее на берег, — она уступила ему дорогу, но, поскользнувшись на мокром камне, чуть не упала.

Он еще раз закинул сеть, ее понесло течением, а рыбак шел за ней следом, пока она вся не опустилась на дно, потом дернул сеть на себя и стал выбирать. Если рыба попалась, значит, она сейчас в мотне, и он осторожно начал подтягивать сеть к берегу. Сквозь неглубокий слой воды было видно, как в сети синееет и бьется рыба, но когда сеть выбрали всю, оказалось, что улов невелик и рыбешка мала — три усача размером с ладонь.

Текла опять по одному вытаскивала их из сети и бегом относила в яму с водой. Все равно третий усач всплыл брюхом вверх, и даже чистая вода, доставленная в ладонях, его не спасла. Самый большой усач, первым попавший в их водоемчик, с каждой новой пригоршней воды бил хвостом и ударялся о стенку лунки.

— Что же с ними делать, Мамука? — растерялась Текла.

Мамука, сколько себя помнил, не видел, чтобы так рыбачили и так обращались с рыбой. Такие лунки он мальчишкой выкапывал для головастиков, когда плавни высыхали до дна и рыбешкам некуда было деваться. А пойманную рыбу, если не захватил мешка или сумки, обычно нанизывали на ивовый прут, продевая его сквозь жабры, и все рыбаки от мала до велика не знали другой заботы, как побольше нарыбачить да мешок набить или на прут нанизать поплотней.

Он присел и стал углублять лунку.

Там, где два течения встречались и сливались два цвета, река мутнела, сбитая с толку рыба теряла голову и слепо шла в сеть, если, конечно, сеть закинуть как надо.

Когда солнце стояло уже совсем высоко, лунку опять пришлось расширить и углубить, но несколько серебристых усачей лежали на воде брюхом вверх, а сом, у которого бока сверкали двумя зеркальцами, даже не трепыхался. Пяток линьков и красноперок сновал в яме, то и дело натываясь на стенки и даже выскакивая на песок.

Чем глубже входили они в воду, идя вверх по течению, тем труднее стало закидывать сеть, а может, рыбы было больше и попадалась она все крупней. На берег он уже больше не бегал, ловко кидая рыбу в распахнутый мокрый подол, а Текла стояла где мельче.

Живая рыба, трепыхаясь в подоле, ударялась и билась о тугие ноги, скользила по ним, рождая в ней радость,

которой она не знала. Улыбка смущенья пробежала по лицу Теклы, но нет, не в улыбку ждала излиться ее радость. Она могла обернуться и смехом, но к волнению, охватившему Теклу в это раннее утро, примешивалось что-то еще, чего не понять, не поймать, хоть смейся, хоть хочи.

Она выбегала из воды и, скользя по мокрой гальке, лишь мелькали нагие колени, мчалась к лунке, только б освободиться от трепетанья, блуждающего где-то внизу живота, — от него трудно было дышать. Она отпускала рыбу в яму, глядела, как рыбы пляшут в воде и бьют по воде хвостами, не замечая сама, стряхивала прилипшую к платью скользкую чешую, но тут же в ней возникало желанье опять запихать их в подол. Опутанная этим желанием, смущенная им, она бежала обратно и заходила в реку все глубже и глубже, пока вода не добиралась туда, где только что билась рыба, чтобы прохладные воды раннего утра унесли с собой то неведомое и невнятное, что затопляло ее, и растворили в себе стыд, рожденный ее нетерпеньем.

Там, где черная река загибалась, чтобы встретиться с голубой, и едва замедляла свой бег перед тем, как внизу свернуть снова влево и опять побежать во всю мочь, Мамука вошел в воду по пояс, чтобы подобрать разметавшуюся под водой сеть, в которую забрел неизвестно откуда взявшийся сазан, величиной с поросенка. Грузила в глубокой воде еще не успели опуститься на дно, как сазан с удивлением обнаружил, что головой запутался в чем-то похожем на сплетенье ивовых корней, и, сильно ударив хвостом, он прыгнул вверх. Уйди сазан вниз, он бы, конечно, не уместился в мотне — сеть не успела на дно лечь, — не запутался б и легко бы ушел, но, поскольку он поднялся вверх, проскользнуть сквозь узкие верхние ячеи он не мог и плавниками увяз в их тонком сплетенье.

— Текла! На помощь!

Вместо того чтобы начать выбирать разметавшуюся сеть, он мгновенно сообразил — или как-то само собою вышло, — но он выпустил из рук сеть и унял прямо на рыбу, сазан, конечно, выскользнул из-под него, но сеть совсем перепуталась. Вконец растерявшись, Мамука нырнул, нацупал внизу грузила и быстро собрал их.

Текла бросилась на его крик, и, когда Мамука исчез под водой, она тут же забыла, как странно ей было течение

этой реки и какие большие и скользкие на дне голыши. Она подлетела к нему, упав навзничь в воду, взметнувшаяся вода кинула ее к вынырнувшему Мамуке и тут же свалила прямо в сеть. Мамука кинулся к ней, подхватил и повел, а она, поперхнувшись водой, все никак не могла отапляться. Привязанная к его руке сеть волокла за ним, и сазан, запутавшись в ней, головой бился о прибрежные камни.

И представить было нельзя, чтобы этот мечтатель, пусть хоть на отмени, умудрится и девочку спасти, и поймать огромную рыбу. Страх прошел, и они рассмеялись самозабвенно и счастливо. С трудом они выволокли сеть на берег и, сбивая друг друга с ног, еще долго не могли извлечь из нее добычу. Над этим ли они хохотали, или другая причина возникла, или они позабыли, почему вдруг стало смешно, или причины и не было, или была она слишком уж велика, или было тех причин тысячи, но, обессилев, они упали на горячий песок, переводя дух, уставились в небо, и опять их столкнуло друг с другом.

Солнце рассыпалось раскаленными угольями, звонкий смех, вырвавшийся у Теклы, лопнул и оборвался, и Мамука, вздрогнув, перевернулся к ней. Приподнявшись и локтем уткнувшись в землю, он глядел на нее сверху.

В мокром платье, облепившем тело, она лежала, разбросав руки, которые, словно корни, глубоко утонули в синем горячем песке, зрачки застыли, губы набухли, как рыжики, и грудь уже не вмещалась в одежде.

Сазан в сети трепыхнулся. Вытянув из песка руки, Текла одернула подол, по лицу ее пробежал, розовея, свет стыда, и, очутившись где-то между горячим синим песком и синим небом, она поглядела мимо Мамуки в раскаленные небеса, от набежавших слез небо принялось плавиться, и тут она строго потребовала:

— Поцелуй!

Он был так изумлен, словно кто-то склонился над ним и ему-то она приказала — целуй!

— Чего ждешь? Поцелуй!

Он нагнулся и сделал то, что она велела.

— Поцелуй! — повторила она, и взгляд ее глаз, ослепших от солнца, понесся куда-то мимо его лица, и он вскрикнул испуганно:

— Я?!

— Целуй! Чего ждешь?

Он смотрел прямо в лицо ей и видел, что в слезах, запрудивших ее глаза, между век сверкает таких огромных два солнца, каким никак не уместиться в обычных глазах; он не мог оторвать взгляд от этих невероятных солнц, губы его вытянулись, и он нагнулся, но тут его обдало таким жарким, хмельным дыханием, словно он сунул голову в котел с брагой, хотел снова подняться, но шею обвили горячие мокрые руки, и желание слиться с ней воедино так охватило его, что руки сами собой, задрожав, сомкнулись вокруг ее тела, и, когда он опять опустил на горячий песок, ее груди, словно два добела раскаленных речных голыша, больно ожгли его.

Помутившись, вскипела река и вышла из своих берегов, затопив солнце, иву, песок. И уже невозможно было дышать в этом кипящем омуте, у которого не стало ни берега, ни дна, ни начала, ни конца.

А сазан в сети задыхался, бился и пытался спастись.

XII

Все вдруг разом переменялось. Сизый песок, из которого так отчетливо выступало тело Теклы, когда она поднялась и скрылась в зарослях ивы, был уже не песок, не земля, с которой можно стереть след, оставленный Теклой, или вода могла смыть его в половодье. Этот сизый песок стал теперь местом, от которого надо было считать расстояние до дома и тот путь, который река пробегала от истока досюда, и отсюда надо было вести счет дням, за которые река добегала до моря. Время, когда солнце всходило и поднималась луна, исчислялось с этого места.

В одной сорочке — платье свисало с руки — одеревеневшим шагом она тяжело и устало, будто никто не видит ее, подошла к голубой воде и прополоснула платье, как тряпку.

Вонзив локти в горячий песок, Мамука не мигая смотрел на Теклу и чувствовал близость между ней и собой, иную, чем раньше, неделимую близость, как упрямься локтями в стол и не думаешь, где правый локоть, где — левый.

Одеревенело она шла теперь прочь от берега. Но дороге вяло выжала платье, небрежно кинула на кусты и опять исчезла в зарослях ивы.

Она не взглянула на него ни когда шла туда, ни когда шла обратно, но уже целый год, каждый день они так близко и ясно находили в глазах друг у друга любовь, что сейчас она даже не видела, кто был перед ней, неважно — смотрела она на него или нет. Вернее, куда бы она ни смотрела, она видела только его, хотя совсем не такого, каким знала прежде. Она столько ждала этой близости и мечтала о ней, но только с ним — не с другим, и боялась его потерять, ибо счастьем считала, что жизнь их свела. Но сейчас все, что было раньше, исчезло или стало иным, может, хуже оно, может, лучше, но сейчас все иначе, чем прежде. Столько времени это было он, Мамука, мечтательный, нежный, находчивый и отрешенный, может, хуже других, может, лучше, а теперь оставался он один и больше никто. Он был — всё, а другие — ничто.

Боль и любовь, спокойствие и сожаленье ощущались теперь по-другому.

Где-то она родилась и росла до сих пор. У нее были близкие люди, она с ними жила. Они души в ней не чаяли, берегли. Теперь все стало ветошь и прах, чем-то давним, что было до того, как она родилась. А сегодня она уже женщина, здесь она появилась на свет, здесь росла, ее дом и земля — тоже здесь. С этих пор, отныне и навсегда, до конца своей жизни ей жить на острове между двух рек. Чем она прежде жила, чем дышала — все изменилось. Отныне сколько ни жить ей и как бы ни жить, все будет так, как сейчас, вот в эту минуту.

Раньше она по-другому и любила его и ласкала, и тянуло к нему по-другому; по-другому он смущал ее или совсем не смущал, и даже стыд ее был иным. Тот Мамука, что жил в ней, стал весь другой. По-другому ей завтра его целовать и стыдиться, раз бледно-розовый свет, освещавший ее, убежал в горячий сизый песок и теперь иному багрянцу суждено заливать ее щеки.

— Текла!

Он шел к ней, и голос его прозвучал спокойней и гуще, совсем другой голос, ни упрямства в нем, ни волнения, которые были слышны постоянно, с той минуты, как они повстречались. Прежде она бы вскочила и побежала навстречу ему. Но сейчас ее окликали, как окликают свое, и она осталась недвижна, как, зная участь, ждут неизбежного.

Чтобы им повстречаться, каждый прошел ровно столь-

ко, сколько другой, но отныне, каким бы путем ни идти, каждый проходит свой путь за двоих.

Он звал ее Теклой, и Текла его Мамукой, а теперь в Теклином имени слышишь Мамуку, а в Мамукином — Теклу.

— Тек... — сказал он и сел под ивой на траву рядом с ней, но оттого, что он сел, ничего не переменялось, потому что он и так тут сидел: когда она пошла, пошел и он — и тоже исчез в зарослях ивы, как исчезла она. И к реке он ходил, и платье ее полоскал, и обратно шел, и кидал на кусты платье... И так же она — хоть и шла к воде, но оставалась с ним рядом, на горячем сизом песке, на котором держался след ее тела.

Его взгляд обежал берега черной и голубой реки, и, то ли встревожась, то ли успокоясь, он спросил с уверенностью, им двоим незнакомой:

— Что же нам теперь делать, Тек?... Это было начало совсем иной, новой жизни.

XIII

Вечерело, когда они подошли к Магалаши. Они шли, прижавшись друг к другу, шагом усталым, ослабшим, но уверенным, словно раньше они ходили на цыпочках, а сегодня впервые ступали по земле всей ступней.

— Дышать не могу — хочу пить, — не удержалась Текла, едва они поравнялись с первым домом. Она даже не заметила торчащий в небо журавль колодца.

— Не можешь дышать?... Так хочется пить?

— Ужасно.

— А чего же молчала?

— А зачем говорить?

— Подумаешь, вода... Воды б не достали? Пила ж из реки?..

— Там вода очень теплая, а потом, только мы отошли — мне так захотелось пить, так захотелось, не возвращаться ж обратно?

— Зачем возвращаться? Нашли бы родник по дороге, он тут где-то.

— Я не знала.

— Сказала б, я бы нашел... Что-нибудь да придумал.

— А тебе не хочется пить?

Мне? У меня тоже во рту пересохло.

— А чего же молчал?

— Знаешь, я как-то не думал, что пить хочу.

«Он обо мне думал, о нас с ним.— Текла посмотрела ему в лицо.— Скажи я, он бы, конечно, что-нибудь сообразил бы. Ничего не поделаешь,— пожалела она Мамуку,— тяжкая ноша я для него... А сказать матери... что может мать? Я ему говорю — пить хочу. Тут же сразу колодец, да еще всполошился, почему целый час пить хотела и молчала. Пить, когда жажда, есть, когда голод... то, что у нас с ним, лучше, чем все это».

— Ты ни о чем не думай, мне так хорошо, Мамука!

— Правда?! — радостно, как дитя, он повернул к ней лицо.

Он нисколько не сомневался, что ей хорошо, но все равно не ждал того, что увидел. В ее уставших, покрасневших, но широко раскрытых глазах отражался пурпур заката, и тогда он совсем ей поверил.

— Хозяин!

Хозяин зову не внял, и Мамука не стал его ждать. Смело отворил калитку и — к колодцу. Сеть и рыбу он бросил на мокрую траву и опустил журавль с бадьей. Когда на железном стержне, продернутом сквозь столб, вбитый в землю под широко раскинувшимся орехом, заскрипел журавль, невесть откуда вылезла беспородная, цвета соломы, псина, твякнула, тонко и нехотя, и сунулась было к ним, но остановилась в райграсе и огляделась по сторонам. Из пристройки выглянула чья-то хмурая физиономия. Мамука улыбнулся, но улыбка его была ни к чему, и казалось, запусти гость сейчас камнем в дом, хозяин не внял бы и этому. Оттого и собака не лезла из кожи вон, а твякнула и подобрала хвост.

Мамука понес к калитке полную бадью, но журавль не отпустил его, пришлось воротиться к колодцу и поставить бадью на сруб. «Мамука мой совсем голову потерял.— радовалась Текла,— хотел побыстрее дать мне воды, да позабыл, что ведро привязано. Ну и счастливая ж я!»

Распахнув калитку, Мамука ввел Теклу во двор.

Журавль качался, и вода из бадейки заливала ей грудь. Попридержав веревку Мамука догадался лишь тогда, когда Текла вернула ему ведро.

«Он такой, какой и был», — улыбнулась она про себя, боясь, что из окон на них смотрят.

— Это — родственники твои?

— Какой-то тип высунулся, я не разобрал даже — он или она... странный какой-то... ни на кого не похож.

Еще утром он мог обидеться на хозяев и перед ней было бы стыдно, что его не позвали, не пригласили и даже просто из вежливости не выглянул никто. Но сейчас нисколько он не смутился, просто не нравилось ему здесь — и все.

Закинув сеть за спину, он рядом с Теклой пошел со двора, и, когда они вышли на улицу, хмурая физиономия снова высунулась из пристройки, видно затем, чтобы проверить, закрыта ль калитка, и снова исчезла.

На дорогу выбежала худосочная свинья с ярмом на шее и так яростно ткнулась в плетень второго от края дома, что плетень заскрежетал и Мамуке показалось, что ее хлестанули прутом. Но, обернувшись, Мамука никого не увидел. Свинья же совала рыло во все дыры плетня, металась и надрывно визжала.

— Что с ней? — спросила Текла. Было ясно, что свинье этой худо.

— Отлупили, похоже.

— За что?

— Кто за что... Может, кукурузу топтала, а может, в огород залезла или в сад.

— А чего ее бить, разве поймет?

— Откуда понять?

— Так зачем же? Разве не жалко?

— А может, и не тронул никто. — Мамуке тоже стало жаль неразумную тварь. — Может, есть захотела или еще чего... А хозяина дома нет.

На дороге пылило возвращающееся стадо. В воздухе стояло мычанье, фырганье, блеянье, но не видно было пастухов, не бежала навстречу стаду ребятня, не спешили к воротам хозяева.

Словно побитые, металась без толку свинья с ввалившимися боками, во дворах вяло тявкали собаки, иногда только какая-нибудь заскулит коротенько.

— Неужели деревни такие разные или мне только кажется? — удивилась Текла. Думать сегодня об этом ей было некогда, у нее поважней дела были, ей о себе пришлось думать, о Мамуке своем, но это ей захотелось узнать.

— Не знаю... Может, в другое время другие... не помню...

— Вот вчера, когда мы в твою деревню пришли...

— Вроде все было как всегда. Как обычно бывает.

— А здесь почему не так? Я не знаю, но что-то не то.

— Не то, не то. Что-то стряслось у них.

— Может, кто-нибудь умер? — испугалась Текла, у которой мысль о том, что где-то, пусть совсем далеко, может кто-то умереть, хоть чужой, и что вообще человек смертен, сама мысль эта просто не помещалась в голове.

— Да ты что!

— А что?

— Да мильон причин... мало ли чего могло случиться?

— Мильон не мильон... Я же не жила в деревне и не знаю, как здесь что.

— Конечно, что-то не то.

— Что?

— Ты устала?

— Нет, не очень.

— Если не очень, пойдем побыстрей.

Теперь они шли быстро, испуганно заглядывая в каждый двор.

Сегодня, когда они стали так близки друг другу и всей этой жизни, больше всего им нужна была людская любовь, привет и тепло, а их, как нарочно, встречали угрюмо и мрачно, замыкались уста и сердца, и не то чтобы встретить улыбкой — глаз не поднял никто. Ладно взрослые, забот полон рот. Но ведь ребятни никого. Разве что, размазывая по лицу слезы, выскочит кто-то во двор скотину загнать или перебежит без оглядки дорогу. И скотина, и деревья, и камни оставались безразличны к этим двоим, что, не лукавя и не таясь, доверили себя друг другу и миру.

XIV

Они уходили стремглав, как враг, который явился, чтоб поджечь, но был обнаружен и должен бежать.

Когда деревня осталась далеко позади и жителям было их не догнать, они и тогда не умерили шага — чувство погони билось в них, и в чем их вина, они сами не знали и даже не смогли бы признаться, хотя с этого дня ничего не хотели таить друг от друга.

Густого леса, некогда отделявшего Магалани от Гулзоди, теперь не было, и на его месте от горизонта к гори-

зонту тянулись плантации чая, которые пересекали железная дорога, ведущая в райцентр, и река Далеула, пробегавшая под железнодорожным мостом.

В райцентр вело и шоссе, но оно уходило прямо вверх, а поезда, обогнув гору, шли уже по ту сторону реки, поближе к Гулзоди.

Они свернули к железнодорожной насыпи. Утром они оставили ее в стороне по левую руку и кукурузным полем вышли к черно-голубой реке.

Не отрывая глаз от шпал, Мамука первый раз в жизни обдумывал прожитый день. В разгадке нуждалось одно: если бы утром, по дороге к реке, они прошли этой деревней, их и тогда бы встречали угрюмо и хмуро — или же он, занятый только собой, это заметил только сейчас? Что случилось? Он ли смотрит другими глазами. Или — так совпало — этим утром что-то сдвинулось в мире?

Когда они перешли на другой берег Далеулы, откуда начинались колхозные земли Гулзоди, ему стало легче, словно миновали чужую землю и теперь можно отпустить руку Теклы и перекинуть невод на другое плечо.

— Текла!

— А...

— Ты больше не боишься?

— Разве я боялась?.. Не помню...

— Ты что? — Он обнял ее за плечи. — Ничего такого не случилось?

— Не знаю? Вроде ничего...

— Очень устала?

— Да, наверное, все от усталости.

— Теперь недалеко, сейчас свернем с насыпи, сбежим по откосу и у старой мельницы перейдем через мостик... там, где с Лади расстались.

— Какой славный был человек...

— Был и есть. Может, волов своих он не нашел и сейчас обратно бежит.

Текла молчала. Она не могла поверить, что тот, кого они встретили, вечером будет такой же, как утром. Даже поселись она здесь навсегда, больше ей не встретить его таким, как в это утро.

Сбегая с усыпанной галькой насыпи, Текла споткнулась, и туфля, сырая и грязная, слетела с ноги.

— Ушиблась? — Мамука присел на корточки и ощупал щиколотку, словно от того, что он погладит ее, все пройдет.

— Кажется, да...

— Ничего, сейчас пройдет! — Он погладил ее по икре и, нагнувшись, поцеловал колено.

— Не надо... темнеет уже.

— Да, конечно... — Он виновато пошарил в темноте, пашел туфлю, надел ей на ногу и поднялся, опершись на ее плечо. — Тек, думаешь, что-то случилось? Там случилось или у нас с тобой? Дом теперь уже близко...

— А что будет дома? — Неуверенно она сделала несколько шагов.

— Все будет хорошо... Все хорошо...

— Хорошо? — Она словно забыла о боли. Боль не прошла, но она забыла о ней.

— Да что уж такого случилось?

— Что-то кроется тут.

— Что?

— Я не знаю.

— И я, Текла, не знаю.

— Тем хуже, — она остановилась, — тем хуже!

— Почему хуже?.. Тебе трудно ступать? Почему ты остановилась?

— Трудно, — и они снова вышли на дорогу, — конечно, трудно.

Они подошли к тому месту, откуда дорога спускалась прямо в деревню, и деревня отсюда видна... а сейчас — не видна была. Мамука угадывал ее в темноте, но не видел. Не видел, что привык видеть.

— В деревне у вас есть электричество?

— Да ты что, Текла?!

Нет, нет, я помню... Вчера моникара вилась вокруг лампы и на стол падала.

— Ну, да...

— Просто рано еще.

— Не скажи... Некоторые свет зажгли, только сквозь зелень не видно. Столько дел у всех, не переделасишь за день. Это тебе не город, чуть стемнело, включай свет и посиживай себе с книжкой или газетой.

В тот день, когда отец не вернулся, мы вечером не зажгли свет.

— Сколько раз я просил тебя, не вспоминай.

Ладно, молчу.

— И отец твой скоро вернется, и матери станет легче.

Ладно, ладно... А ты дорогу не позабыл? Не ступал?

- Я-то не спутал, а ты ее помнишь?
- У меня все в голове перепуталось.
- И мосток не узнала?
- Мост вроде бы тот, нет, не тот, не тот... А почему мы идем другой стороной?
- Утром мы шли полем, через кукурузу, а сейчас аробной дорогой. Нога не болит?
- Сама не знаю. Утром вроде труднее было идти.
- Значит, прошло.
- Просто не думаю о ноге, и все.
- Ни о чем плохом не думай, и тогда все будет хорошо. Вон уже поле, Текла. По левую руку плавни. А лягушки как надрываются, слышишь? Ну, что тво-рят!
- Вот сейчас слышу.
- Под грушей передохнем?
- Поздно!
- Ладно, придем домой и тогда... Текла-ла-а!
- Что ты кричишь?
- Ты знаешь, сегодня...
- Что?.. Что?..
- Сегодня мы ничего не ели.
- Что это ты вдруг вспомнил?
- Есть не хочешь?
- Нет.
- Как нет? Во рту крошки не было. Ну и дураки, ничего не прихватили с собой.
- И хорошо сделали, что не взяли... Придем домой, ты что скажешь?
- Что скажу?
- Да.
- Скажу, что...
- Отцу скажешь?
- Матери скажу.
- А ночевать мне опять у Тико?
- Теперь тебе у Тико делать нечего.
- Нечего?
- Не знаю... там поглядим. Нет, сперва давай до дому доберемся.

У двора топталась корова, за которой волочилась веревка. Она замычала им прямо в лицо и, шумно вздыхая, повернулась к теленку, который подошел к корове с той стороны забора. Приволоклась и Бахула, но лаять не стала.

— А люди где? — открывая калитку, спросил Мамука у коровы с теляткой и у собаки.

Собака, сорвавшись с места, бросилась во двор, отпихнув Теклу прямо на плетень из прутьев грамата.

— Ой! — В спину Теклы впились колючки, но она тут же смолкла.

— Ты что, с ума спятила? — Мамука схватился за веревку, которая болталась на шее коровы, но корова потащила его во двор, и, бросив веревку, он обнял Теклу. — Не затоптала она тебя?

— Ничего страшного...

— Быстрее, быстрее, телятку увести надо, а то сейчас все молоко высосет. Мать моя родная, почему ж так темно?

Они только хотели свернуть за угол дома, как вдруг обнаружили, что прямо тут, во дворе, молча сидят по пенькам отец, мать и братья.

Испуганно отскочив, Текла спряталась за спину Мамуки, попятилась на шаг и, обхватив какой-то столб, припала к нему лбом, как в ожидание удара. А за что? Неужели узнали? Все узнали и ощерились все? А на что? Что любят друг друга и жить друг без друга не могут? И что, что за деревня такая? А может, из-за отца это все? Но чем виноват мой отец? И если маму после всего, что случилось, изъела чахотка, так за это ее осуждать? А может, пример с нее брать?.. А то получается, отняли мужа — и пусть...

— Что случилось? — Голос Мамуки задрожал, сеть скользнула по спине, и, оглядев двор, он тоже шагнул назад, поскользнулся о рыбу и, спиной прислонясь к столбу, прикрыл собой Теклу.

— Видно, весь день просидел в чури! — сплюнул сквозь зубы Ватути.

— Мамука! Сынок! — в слезах кинулась к нему Русудан.

— Мама! Что случилось?

— Не своди ребенка с ума! — проговорил Парна.

— В чем мы виноваты? — И, заведя руки за спину, Мамука обнял Теклу, вжавшуюся в столб.

— Да уж какая твоя вина, родной? — Русудан вытерла слезы.

— Он же не знает ничего, — Бакури двинулся к брату, но остановился, чтобы не перепугать малыша.

— А я что говорил? Не в тартарары ж они провалились?

— Мама? Что случилось? — В голосе Мамуки слышались слезы, и он так сжал руку Теклы, словно и отец, и мать, и даже братья собрались насовсем отнять ее у него.

— Хуже, сынок, не бывает. Вся наша жизнь прахом пошла! — Русудан не удержалась и всхлипнула.

— Да с-с-кажите ему наконец, пожалейте мальчишку, — выдавил заика Леон, будто до этого им было велено, чтоб о случившемся — ни звука.

— Без тебя скажут! — Нора ткнула его локтем в бок, благо в темноте не заметят.

— Разуй глаза, парень! Война! — сплюнул Ватути.

— Война?

— А куда ему торопиться? Чем позже узнает, тем лучше, — Парна поднялся и пошел к корове, которую теленок наверняка успел уже высосать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

— Это не надо! — Движением кисти Парна отодвинул стакан для вина. — Чайные стаканы давай.

Он подумал, жена опять заворчит, что вечно ему все не так, что всегда пьем из этих, но Русудан, ни слова не проронив, сделала, как велел он.

Подали что осталось после обеда, добавив лишь свежей зелени. Как послушная скотина, каждый занял за столом давешнее свое место. Во главе стола, между вчерашним тамадой и Ватути, сел человек, весь в глубоких морщинах — не по годам и слишком угрюмый даже для этого скорбного ужина.

— Скажи что-нибудь, Лука, — проговорил Парна, когда Бакури, обойдя вокруг стола, налил всем вина.

— Не стоит, ей-богу! — проскрипел Лука и отодвинул стакан подальше.

— Сколько захочешь, столько и выпьешь, не заставляют тебя.

— Чего уж тут говорить...

— Так и будем молчать?

— Само скажется, когда есть что сказать.

— Может, ты, отец? — Ватути положил на тарелку кусок холодного мчади и поглядел на мать: — Подогрела бы хоть... — Без вина это мчади в глотке застрянет.

— Ешь, сынок, пока это есть. Скоро и о таком куске мечтать будем, — проговорил Лука, тяжело переводя дыхание.

— Это что ж за война, дядя? И с початком, и с колосом восвать?

— Со всем, сынок, война, со всем, что ни есть... Жить мне осталось всего ничего, и надо ж, чтоб под самый конец угораздило...

— Дядя Лука... — Мамука под столом сжал руку Текле: «И чего с этим дядей творится — не пойму».

— Да, сынок, всего ничего, но пока человек жив, он выход найдет, — произнес Лука, выскребывая из души своей, как из пустой казны, гроши надежды. — Давай, брат мой, выпей свое вино, за душу не тяни. Ты же тамадой бываешь на свадьбах по сто человек, а сегодня что за напасть на тебя? — Он произнес это так, словно ему неумолимо хотелось вышить Парну, а Парну не заставишь. — Может, и немцы твои заплутали вчера в темноте, вот границу и перешли, погоди, сегодня будут прощенья просить.

— Вот-вот, сегодня спозаранку Гитлер мается, колотит себя по башке, с чего это я такую промашку дал, — Парна даже не улыбнулся. Подержал стакан, еле выдавил: — Будем здоровы! — и поднес вино к губам, но Лука опустил на стакан руку:

— Будь человеком, скажи что-нибудь.

— Молча пить? — Ватути улыбнулся дяде.

— Ладно, Лука, пусти! — Парна снова поднес вино к губам. — Я скажу, что всегда говорят, когда начинают пить: за здоровье семьи!

— За эту семью, за всех нас... А то у меня душа и так не знаю в чем держится.

— Д-д-дядя, з-з-зачем говоришь так? — Леон удивленно посмотрел на жену: «Кто не плакался никогда, так это Лука».

— Без тебя разберутся, — успокоила мужа Нора, чуть наклонив голову. «Как дитя лезет к ним», — подумала она.

— Я не г-г-говорил, что не разберутся.

Нора пожала плечами.

— Тогда я скажу, — поглядев стакан, Лука шумно

вобрал в себя воздух и, страдальчески морщась, улыбнулся Леону. — Ты прав, мой племянник!

— Говори, дядя Лука, говори, — обрадовался Мамука и поглядел на Теклу: «Раз дядя взялся быть таммадой — дело будет».

— Будь так добр, скажи! — произнес Леон, но в эту минуту на балконе застучала палка — и все повернулись к дверям.

— Вот так мать! — в измученном голосе Луки забрезжила надежда. — Если бы мне хоть половину ее упорства и силы, не то что тюрьма, со мной бы и каторга не совладала.

Текла потянулась к уху Мамуки. «Да, да, бабушка», — подтвердил Мамука.

— Да распахните эти двери. Похерить себя в такую жару, — палка с силой ударила в дверь, и створки ее разлетелись.

— Входите, пожалуйста! — нехотя поднялась хозяйка.

— Да отпусти ты меня, девчонка! — Старуха вырвала руку у сутулой девушки в ситцевом платье, на лице которой держалась косенькая напряженная улыбка. — Вообразят еще, что я старая рухлядь. И палку мою заberi!

«Таких, как моя мать, годы и впрямь не берут», — подумал Парна, ощутив вдруг неловкость.

— Бабушка! — Мамука вскочил и обнял ее.

— И близко не подходи, дрянь такая! Где тебя целый день черти носили?

— Бабушка ты, бабушка! — Мамука и целовал ее, и ласкал, и прощенья просил.

— Спихватился, совести у него нет! Глаза бы мои на тебя не смотрели.

— Да я о тебе всегда помню, как же я могу забыть о тебе? Вечером, вчера, разве не я приходил?

— Это называется — он приходил. Возник и пропал — ищи его, свищи! Сколько раз подумал о нас, столько раз повидал — это у него называется «навестил».

Внуки, все четверо, выскочили из-за стола, а Нора, отодвинув свой стул — вроде и сидеть не сидит и стоять не стоит, — ожидала, когда усадят старуху, не сомневаясь, что место бабке найдется и без нее.

— Тико! Со мной, со мной садись! — Текла пододвинулась к Мамуке, освобождая Тико полстула.

— Мама! Пожалуйста, вот сюда! — поднявшись со стула, Русудан направилась к дверям, что вели внутрь дома.

— Дочь Пачуашвили! Это почему же я должна место у тебя отбирать? Или я впрямь теперь ненавистна и внукам и сыновьям?

Не обернувшись, слова не проронив, Русудан вышла из комнаты.

— Бабушка! Ко мне иди, бабушка! — Бакури схватил ее за плечи и потянул к себе.

— Ты что, парень? Не знаешь, как свекровь с невесткой живут? Если, спаси господь, не сяду, куда велела она, скажет, сын и внук ей милее меня. Перед невесткой не будешь стелиться, во всех смертных грехах обвинит, каждый твой шаг отзовется ей громом небесным и каждый глоток чавканьем будет.

Мамука — теперь уже привычно — положил руку Текле на плечо, но оставался стоять, пока старуха усаживалась, шамкая беззубым ртом, и с бодростью, несколько деланной, оглядывала всех глубоко ввалившимися и живыми глазами.

— Это и есть наш гость? — Голова старухи почему-то накренилась.

Покраснев, как уголек в очаге, Текла привстала.

— Она, бабушка, она, — наклонил голову и Ватути. «Это мне всякое лыко в строку, а Мамука дом подожжет — так ему керосину еще поднесут», — говорил его тон.

— Так это ты нашего мальчика накручиваешь против нас. Вон какая она, оказывается. — Старуха улыбнулась, боясь, что девчонка поймет ее иначе, чем внуки и сыновья.

— Трудно было нам сказать первый тост, пошли бог здоровья моей матери, в самый раз подросла, — начал Лука, но Мамука поднял стакан:

— За мою любимую бабушку, подольше живи! Живи всегда!

— Не мешай тамаде! — осадил его Бакури.

— И чего он повсюду суется? — возмутился Ватути. — Можно подумать, он здесь один.

— Это что, за меня до сих пор не пили? — обиделась старуха и, обтерев уголком темно-синего платка впавший рот, пододвинула стакан так близко, что, совсем скрюченная, носом чуть не угодила в него.

Она взялась за стакан, чтоб ответить Мамуке, и Текла вся напрыглась — как же эта старая женщина была похо-

жа на ее бабушку, с которой прошла вся жизнь Теклы. Эти два дня бабушка из головы не шла у нее, так соскучилась по ней Текла.

— Нет отцу небесному покоя от нас! Сначала канючим: пошли нам долгие годы, а старость придет — так клянем за нее.

— Тебе только о старости и говорить, — совсем нестати вставил Ватути, намекая на то, что она все о младшем внуке хлопочет, а про них позабыла.

— З-замолчи, малый, ты ч-ч-что? — Леона задело, что Ватути без дела прервал бабку.

— О моих годах что говорить, — наигранная бодрость ее ускользнула, как ртуть, — прячешь свои хвори, прячешь, да сами они не упрячутся.

Дверь шумно распахнулась, Русудан принесла табуретку, села между свекровью и невесткой, чуть отодвинувшись, и движеньем руки усадила Нору — не вставай, за стол не сяду.

— Вот и дочь Пачуашвили пожаловала! Под дверями стояла, ждала, когда я ей спасибо скажу. А ведь не все, что невесткино, — плохо. Будешь невестку хулить — сам себе под конец опротивеешь.

— Бога ради... — отмахнулась Русудан.

— Не сядь я, где она меня посадила, ты бы увидел, что б получилось, — улыбнулась старуха Бакури и, вдруг вспомнив, зачем в этот трудный день пришла к сыну, мигом снова взбодрилась.

— Не припомню... будто на старость я жаловалась, а кто-то из вас не поверил.

— Это я, бабушка, — усмехнулся Ватути.

— А после кто-то сказал, будто ты не прав вроде? Прав ты, внучок, прав, еще свекровь моя, царствие ей небесное, говаривала: «Старый вол рогом пашет». Спасибо вам, дети мои, — она опять позабыла, зачем пришла. — Живите хорошо, а ваши хвори и заботы я с собой заберу. Благослови господь душу вашего отца, — и, обмакнув в вино кусок хлеба, она, дрожа подбородком, осушила стакан.

— Ты что, в бога веришь? — вовсе не к месту вырвалось у Ватути, и он опустил голову.

— Раз кто-то верит в бога, внучок мой, значит, и я в него верить должна. Он, благословенный, был рожден надеждой немощного и бедствующего. Не знаю, дети, чем я прогневала господя, — столько беды мне видеть при-

шлось, а все равно встаю и ложусь с мыслью о нем и с молитвой к нему. Сегодня, как дошло до меня, какую беду судьба нам послала, я и подумала: мало было, видно, мне мук в этой жизни, еще послано на старости лет. День и ночь перед образом его бью поклон — не помрачи, господь, разума миру сему, не дай им воли перебить друг дружку.

— Раз заварили кашу, значит, ей и вариться! — в тяжелом кивке склонил голову Парна, дав знак Луке — скажи что-нибудь.

— Так что же, надежды нет никакой? — Старуха обвела взглядом весь стол, и глаза ее остановились сперва на Мамуке, потом на Текле и прижавшейся к ней Тико, потом на Бакури и Ватути — в этих не то что пулю, спелую сливу не бросишь, даже если душа твоя совсем отвернулась от бога.

— Хозяин! — слышалось со двора, и на балконе твякнула собака.

— Кто б это? — Русудан взглянула на Парну.

Парна повернулся к входной двери.

— Парна! Мамука! — уточнил гость, но собака уже со злобным лаем бросилась к калитке.

Парна вышел на балкон.

— Кто там? — крикнул он в темноту.

— Пса убери, а я сам поднимусь!

— Бахула! — Парна пошел вниз по лестнице.

— Не спускайся, Парна, хочешь не хочешь, а мы в гости к тебе.

...Знакомый вроде бы голос.

— Лади! Ты?

— Лади, Лади! Со мной Иасон еще...

— Милости прошу!

Держась подальше от пылающих глаз Бахулы, Лади взлетел по лестнице, не коснувшись, казалось, ее каменных ступеней, Иасон же, не замечая собаки, еле-еле карабкался, спотыкаясь о каждую ступеньку, ладно шею себе не свернул, пока добрался до балкона.

— Добрый вечер, Парна! — Лади пожал хозяину руку. — Говорят, этой ночью немец обманом напал на нас?

— Какая там ночь? Да если б и ночь?

— Что с нами будет, Парна? — промычал Иасон, наконец достигши балкона.

— Входите, Иасон, входите! — Хозяин повел гостей за собой в дом.

— О-о-о, Марта, и вы, сударыня, здесь! И Лука тут... у кого родня есть, друг к дружке все так и жмутся. Не одним вам, а нам дома не усидеть. С горя хоть лопни, а поделиться хочется с близкой душой. — Лади вытер руки о порты, пожал руку Марте, кивнул Русудан и оглядел всех остальных. — Мы вас не побеспокоим, пожалуйста, не вставайте, и так от нас морока одна...

— Вечер добрый, — выдавил из себя нескладный Иасон и, продолжая стоять у дверей, принялся застегивать пуговицы на рукаве совсем новой черной сатиновой рубахи.

Русудан пододвинула гостю табурет, Бакури, не вставая, передал стул за спиной Мамуки.

— Не беспокойтесь, только не беспокойтесь, — всплеснул руками Лади и, просеменив по комнате, присел на краешке тахты. — Поди сюда, Иасон, сколько от нас чистым людям хлопот.

Иасон не двинулся с места, продолжая плечом подпирать притолоку.

— Садитесь, садитесь, — спохватился Мамука и передал свой стул Лади.

— Не надо, сынок, не надо! Ну и наделали мы переполоху, Иасон!

Слова не достигали слуха Иасона, он в упор глядел на Луку и Парну.

Текла шепталась с Тико, удивляясь этому Лади: дня не прошло, а позабыл, как хорошо они встретились утром.

— Проходи, Иасон, садись! — Лади принял стул у Мамуки, нашел глазами Теклу, улыбнулся ей как бы нехотя. — Столько хлопот, столько хлопот от нас, Иасон, этим добрым людям, сядь лучше.

— Да какое уж беспокойство от гостя? — проговорила Русудан.

Не сходя с места, Иасон подтащил ногой табуретку и, кряхтя, опустился на нее.

Бакури, дернув Мамуку за рукав, усадил его рядом с собой на краешек стула, а то бы он весь вечер торчал за спиной Теклы.

— Позабыл тебя спросить, тетушка, как поживаешь? — Лади приподнялся с тахты. — И без того уму своему я не хозяин, а тут он навовсе из головы моей прочь.

— Не то время, чтобы о моем здоровье справляться, был бы покой на этом свете и сыновья мои с внуками жили в добром здравии, а мне и таким, как я, не вечно же жить.

— Покою бы только,— вздохнул Иасон и опять принялся за пуговицы на рукаве.

— Погоди, Иасон,— Лади повернулся к нему всем телом,— и без нас этим людям не весело.

Хозяйка поставила на стол два порожних стакана. Опередив брата, Мамука взялся за кувшин и, придвинувшись к Текле, налил стаканы до краев.

— Забери у него кувшин, а то кокнет еще,— тихо бросил Вагуги Бакури.

— До дна пейте! — попросил гостей Лука.

— Будьте здоровы и пусть жизнь ваша будет такой же вот полной,— Лади поглядел на потолок, потом на Луку,— пусть не убавится здоровья и силы,— глаза его остановились поочередно на каждом из ребят и на Парне в конце,— да пошлет вам господь пир и свадьбу!

— Чтоб не сгинуть совсем нашей с вами земле и всему свету,— глухо выдохнул Иасон и, опорожнив стакан, поставил его на край стола.

— До наших ли забот этим людям...— Лади перевел взгляд с Иасона на хозяев.

— За что мне такая беда? — словно дым из печи, вырвалось у Иасона.

— Не может просто так все враз рухнуть.

— Да погоди ты...

— А у меня уже рухнуло.

— Не греши, у тебя сыновей еще двое.

— Кто родное дитя не терял, тому не понять, что значит плакать по сыну.

— Как не понять? — возмутился Лади.— Не будь даже здесь уважаемой Марты, можно ли так говорить, чудная твоя душа?

— Горе вашей матери, дети! — вздохнула старуха.

— Ты б, Иасон, помолчал...

— А кому я мешаю? Лаврентия мне кто воскресит? А?

— Вот здесь сидят люди, понимающие толк и в книгах, и в нашей жизни,— Лади посмотрел на Луку, на Парну,— на ребят на этих посмотреть... Тут тебе и вуз, тут тебе и университет... Другие пошли времена... Я в их годы ни одной буквы не знал. А сейчас, браток, все по-другому, посветлей в мире стало.

— А меня этот мир погубил, свет мне застил.

— Хватит тебе! Ты вот, Парна, человеческую душу насквозь видишь... Мы с Иасоном, да и другие твои со-

седи... мы все, крестьяне, знать не знаем и знать не хотим, кто тут виноват. Кто, вроде нас, грязь не месит и в земле не ковыряется, нам до тех дела нет. Делаем, что нужней всего, — и все дела, как мы думаем. А вы книгу под мышку и жуete себе хлеб, который мы сажаем, мчади, который мы испекли.

Парна свел брови.

— Не обижайся, не о тебе говорю. — Лади выдержал его взгляд. — Может, не к делу я эту речь повел, но я знаю, с вами можно начистоту, а мотыга и заступ не меньше моего родня тебе. Я чего сказать хочу: есть там учителя, директора, председатели всякие, что у нас, что в городе — везде одинаково. Завидуем мы вам, что ли, не пойму. Что скажешь, Иасон?

— Да откуда мне знать? Ты о беде нашей говори, чума на этих председателей...

— Я что хочу сказать: если не так, зачем это надо, чтобы наши дети непременно учились и шли другою дорожкой, чем мы ходили? Чтобы пот и кровь их не падали в эту землю?

— Если б нам дано было это знать, мы б поученей тех ученых были, — просипел Лука.

— Наговорено в этих книгах с три короба, не разберешь, где конец, где начало. Наше дело бросить в землю доброе, здоровое зерно, тогда и взойдет добрый хлеб. А лозу? Возьмешь ее от доброго корня — и вино получишь, не вино, а миро. Не похоже, чтобы твое вино, Парна, от одного «цоликаури» было, вон как пенится и шипит.

— Я же и «крахуну», и «цицку» посадил.

— Оно и видать.

— Да разве не ты ему тогда помогал? — удивился Иасон.

— Когда я помогал, он тогда «цоликаури» сажал. «Этот бедолага помнит даже то, какой сорт семь лет назад он помогал соседу высаживать. Поразительная все-таки у крестьян психология», — подумал Парна.

— А я даже не помню, когда ты лозу сажал, — словно прочитав мысли брата, просипел Лука.

— Может, еще по стакану? — Ватути уставился на Бакури. — Забери у Мамуки кувшин, ишь вценился, — и налей.

— А чего наливать, раз не пьет никто?

— Твое дело налить, и пусть стоит, не прокиснет.

Русудан пошла к тому концу, где сидел муж.

— Может, испечь пару мчади? — Она остановилась за спиной Леона.

— Не надо.

— А чего?

— Им сейчас не до еды и питья.

— Хозяйка думает, что гость околесицу несет...

— Да я совсем о другом, Лади.

— Пора нам и честь знать, а то влезли чуть не за полночь, двух слов с детьми не дали людям сказать. И у тебя, мое почтение, Марта, прощения просим.

— Выкладывай, что на душе, дурная твоя голова. — Иасон вытащил из нагрудного кармана клочок газеты и свернул сигарку. — Закурю, какого тут еще черта ждать...

— Лади, сынок, говори, чего тут извиняться? — повернулась Марта к гостям.

— Надоели мы вам. Нам ведь чего хотелось спросить... Мы люди темные, а кто пограмотней, он и видит подальше...

— И что к чему, на этой пропащей земле лучше нас понимает... — Громадный Иасон повернулся на табуретке, и она затрещала.

— Чего мы там понимаем... — тем же сильным голосом проговорил Лука, — чем больше знать хотим, тем меньше понимаем. Может, вы больше нашего понимаете.

— Того, что мы понимаем, нам хватает, — Иасон сунул в рот мутакой свернутую сигарку и чиркнул спичкой.

— А нам известно лишь то, о чем все, на беду нашу, знают, — что по радио говорили и в конторе на митинге.

— Я целый день, — Лади поглядел на Мамуку, — волов этих проклятущих ищу, а радио, хоть бы весь мир в тартарары летел, все равно бы не сказало: гибнет, дескать, весь этот мир. А что радио? Ведь он, волчья съть, разорил уже наших соседей, а чтоб я хоть разок услышал, что ой, глядит немец на нашу сторонку и недобрый глазом глядит, — так этого не было слышно, нет.

— Это, Лади, дело политики.

— А тот, что нынче приезжал из района, тоже для политики говорил, не страшны, мол, нам трудности... Так он говорил, Иасон?

— Сильны, дескать, мы сверх всякой меры...

— Вот-вот, нас никому не осилить. Этой Германии мы в два месяца шею свернем. Правда это?

— Пускай сидят себе в клубе и в ладошки хлопают, — Луку опять схватил кашель.

— Может, не так что, но говорить, что раз немец напал на нас первым, то и победа за ним будет, тоже неверно, — сказал Парна.

— А я говорил это, Парна? Лука, говорил я это? На Финляндию поглядеть, какая страна — всего ничего, правильно?

— Ох, — простонал Иасон и ударил себя по голове.

— Ты постой, — одернул его Лади. — Не ты один, мы все помним, что ты на той войне старшего сына потерял, и не ты один потерял, если на то пошло, он моему Сулхану ровесник, и мне был как сын, он всей нашей деревне сын. Парне — ученик, с Леоном в одном классе учился и другом ему был.

— Ла-а-аврентий! — вздохнул Леон скорбно и протянул Бакури стакан. — Н-а-аливай!

— За сына нашей деревни, за нашего сына! — Лука поднял стакан.

— Слышал, что эти люди говорят? — обернулся Лади к Иасону. — Погибель — не на тебя одного.

— Пусть сам погибнет, кто мою семью погубил!

— Ладно, хватит! Дай людям сказать! — прервал Иасон, а Лади взял стакан.

Когда этот тяжкий, как черная глыба, тост миновал, Лади опять свернул на свое.

— А почему же это с финнами канителились столько и не вылезали из драки, раз мы так сильны?

— Не та война была с финнами, Лади, чтоб государству всей мощью на них навалиться. А на эту войну поднимутся все. Она будет всеобщая, это уж точно, убивать, изничтожать будут друг друга до последней капли крови, — Парна не глядел на сыновей.

— Что верно, то верно. У меня, к примеру, один сын на самой границе служит или по ту сторону где-то, в Польше. У Иасона средний сын — Сачино — срочную отбывает, а вот те, что дома пока, самых младших — их тоже возьмут?

«Вот чего добивался узнать, бедняга», — у Парны стиснуло сердце.

— Кто его знает, как повернется. Страна огромна, может, и не надо будет подниматься всем домом, — уклонился он.

— Всем домом! — закричал Иасон. — И другим моим сыновьям погибать?

— Иасон, мы ж, когда шли сюда, уговорились с тобой...

— Не знаю, чего там ты мне говорил, чего я пообещал тебе... Перед тем как погибнуть Лаврентию, мне был сон, и сейчас опять, прошлой ночью, я из красного кирпича двум другим сыновьям дом строил.

— Пропади они пропадом, эти сны и приметы... — Лади отыскал глазами Теклу с Мамукой, — как поутру нынче у меня глаз дергался, и все равно, — попытался он утешить Иасона, — сон по-разному обернуться может.

— Мой сон однажды уже сбылся.

— Сон бывает и к непогоде, и к вёдру, — попыталась успокоить Иасона Марта.

— Дай тебе бог здоровья, тетушка! — Однако сомнения, которые пригнали Лади в дом Парны, еще мучили его, — скажи мне, Парна, ежели я пойду к Иасону, чтобы разорить его дом... да, да, к соседу моему Иасону пойду, должен я надежду иметь, что смогу его одолеть?

— Ты хочешь сказать — непременно ли одолеешь?

— Ясное дело, а иначе стал бы я нападать?

Парна улыбнулся этой рачительности умного крестьянина, которую он не сразу принял в расчет, и протодушно обнадежил:

— Возможно, тебе лишь покажется, что ты его одолеешь.

— То есть как это — кажется?! Приснится мне вдруг ни с того ни с сего: вставай, дескать, и ступай к Иасону, залезь к нему в дом. Или я прикину сперва — велика ли земля у него? Силен ли он или так, ветром подбит? Ружье у него или топор в доме? Да и вас, соседей его, я тоже в расчет принять должен — чью сторону вы будете брать? А может, вы поглядите, как я к нему пристаю, да и решите — эта сволочь с соседом управится, а после возьмется за нас. Вот тут-то вы камень на меня и подымете.

— Чего ты от него добиваешься, не пойму? — спросил Лука.

— Я о чем говорю? Кто напал, он, видать, прикинул, что да как, а не то чтоб взял себе пушку да пали по соседу.

— Разумеется, — согласился Парна.

— Что мне конец будет, это точно, — Иасон бросил сигарку и придавил ее каблуком.

— Погоди, Иасон, мы пришли сюда, потому что сами не могли разобрать, что к чему.

— Чтобы так все по косточкам разобрать, это и нашим политикам не под силу, — возразил Лука.

— Тебе б помолчать лучше, — бросил Парна брату.

— Больше того, что со мной сделали, уже не сделать.

— Сейчас не время об этом.

— Он мозгами-то, я погляжу, хорошенько сначала раскинул, чтобы эту задачку решить, — заторопился Лади, — он-то понял, что мы — сила и ему одному нас не взять, вот он попервости за соседей и взялся, с ними управиться дело нехитрое. А мы тогда и не пикнули.

— Пикнуть не пикнули, но не скажешь, чтоб одобряли.

— Э, сударь мой, погоди! Я подпалю Иасонову оду, а ты будешь сидеть за накрытым столом да со своими шептаться, Лади Липартиани нехорошо, дескать, ведет себя... Разве так помогают соседу? Пусть ты меня даже не свяжешь, но хоть водички плесни на пылающий этот дом, а не стой в стороне, будто пожар этот для тебя потеха одна. Ты что думаешь, ежели я ополоумел и норовлю твоего соседа дотла спалить, мне до тебя не добраться?

— Тут ничего не скажешь, — поежился Лука и взглянул на племянников.

— Верно, — согласился Бакури с дядей.

— Если б дипломатия была таким нехитрым делом... — Ватути с сомнением покачал головой.

— Лади, сынок, оставил бы ты Иасона в покое, чего тебе надо, — попросила Марта.

— Правда, бабушка, при чем Иасон тут? — не понимал Мамука.

— Он не о том, мама, — отмахнулся от матери Лука.

— Чего мне от него надо, тетушка Марта?.. А вот смятил — и все, с ума съехал. Я ведь знаю, Парна Амаглобели, что у тебя сыновей четверо, да еще брат, да племянники. Мне с моими сыновьями не управиться с тобой, нет, вот я и припугнул Иасона, погнал его вперед себя со всей его родней, а потом еще Капитона Швангирадзе, да еще Илико Бакрадзе. Сколько мне пужно будет, всех соберу, чтобы только твою семью извести. А ты в это время стоишь и кричишь — все равно я всех сильнее.

— Ну-ка, попробуй ответь ему, — все та же слабая улыбка появилась на лице Луки.

— Я постараюсь завязать с тобой дружбу, — начал Парна.

— С волком-то?

— С волком, с ним! — захлебнулся Лука кашлем и смехом сразу.

— Именно с волком, чтоб выиграть время.

— Это ради какого такого светлого дня?

— Чтобы собраться с силами.

— Ну вот, я явился. Собрался ты с силами?

— Может быть, и собрался, — кивнул Парна. — Если мы с тобой додумались до этого, неужто не додумались те, кто нас с тобой поумней и в делах больше нашего смыслит?

— Пусть так, но вот меня взять, по темноте моей бывает со мной... Нынче с утра целый день ищу и ищу волов, сам-то помалкиваю, а все думаю, — он опять поглядел на Мамуку с Теклой, — если волка с гор принесет, с чего бы ему на моих волов непременно наткнуться? Вот и про тех, кто больше нашего в делах смыслит, тоже думаешь, какие они там ни ученые, но тоже ведь люди. И не мы ли тому волку в пасть угодим?

— Гиблое дело! — привстал Иасон, вытаскивая из нагрудного кармана вчетверо сложенную газету.

— Ты погоди, может, все и не так!

— Посидите еще, посидите! — Парне хотелось успокоить гостя. — Может, дело совсем по-другому идет. Из вузов, к примеру, первокурсников не призывали, а со второго и третьего курса брали народ.

— Верно, верно, отец! — поддержал Ватути, который сегодня больше помалкивал, поскольку, ясное дело, не до его грешков теперь.

— А что на военных предприятиях сегодня делается, на заводах, на фабриках, нам не скажут, — продолжал Парна, и тут Лади понял, что больше тут ничего не узнаешь.

— Вот что не скажут нам, это уж точно. Потому, видно, нынче немец и напал на нас, как раз под утро, — ты своим сыновьям не успел двух слов сказать, — Лади протянул Бакури стакан, — налей, сынок, пусть твои родители доживут до твоей свадьбы, пусть тебя печаль не гнетет, да и нас бы никто не обидел. И чтоб увидеть мне твою жизнь такой вот полнехонькой! — Он высоко поднял до краев налитый стакан. — Пусть победа и счастье пребудут с вами! — Осушив залпом стакан, он выскочил на

балкон, и не будь собаки внизу, Лади тут же б выскочил и за калитку.

Когда Парна вернулся, проводив гостей до калитки, Лука тем же надтреснутым, но спокойным голосом проговорил:

— Мы ли внесли ясность в душу Лади или он открыл нам глаза, я не знаю.

II

Женщины ушли, за ними вслед унесло Мамуку. Подпершись правой рукой, Парна в упор поглядел на Луку.

— Поверить в это нельзя или только лишь трудно?

— То же самое я испытал четыре года назад и сегодня опять ничего не пойму, — хрипло и тяжело вздохнул Лука. От двух стаканов вина у него зарозовели скулы. Лицо осунулось, побледнело, а глаза стали темней.

— Вид у тебя совсем утомленный. Столько не спать — тебе не годится.

— Кто о том думает, что нам годится, что не годится?

— Так уж никто? — Оглядевшись, Парна обнаружил возле себя только Ватути, который корпел над тарелкой, а Бакури, обхватив горло кувшина, приник лбом к его ручке и ушел в свои думы.

— Человек всегда об одном себе думал, — Ватути вытер руки носовым платком, мать опять позабыла дать салфетки, а сегодня тем более, какой с нее спрос.

— Выходит, что так, — склонив голову, дядя устался в темноту, чернеющую над ситцевыми занавесками.

— Столько исторических уроков, гениальные идеи, рожденные лучшими умами на протяжении нескольких тысячелетий, — и все псу под хвост? — не согласился с братом и сыном глава семьи.

Бакури, вжавшийся лбом в ручку кувшина, поднял голову и взглянул на отца:

— У любой мысли и любого сознания, в конце концов, одна цель: уберечь человека от самого лютого его врага — от человека.

— Ч-ч-челов-в-века — от человека? — едва слышно, будто себя самого, спросил Леон, не глядя ни на кого и даже от дяди не ожидая ответа.

— Авель и Каин? Каин и Авель? — Парна опять ждал ответа от старшего брата. — Снова они?

— Именно так.

— И все-таки они братья, — поддакнул дяде Ватути.

— Какие там братья... отец? — словно взывая о помощи, воззрился в отцовский конец стола Бакури.

— Вз-з-збесившаяся шваль, — определил Леон.

— История назовет его и похлеще, — ничего другого сыновьям в утешение у отца не нашлось.

— Выходит, человек — это шарманка, на которой играет история или кто-то еще там, и вины тут ничьей нет, ни Каиновой, ни Авелевой.

— Откуда мне знать? Эта ваша история больше всего о швали и повествует, — Лука отвечал Парне, но в то же время как бы соглашался и с Бакури. — В тех толстенных томах, что мы перелистываем, нет ни Луки Амаглобели, ни его брата. Этой швали, видно, лучше известно, как потомкам врезаться в память. Любая страна гордится больше всего тем царем, который больше крови высосал у соседей и пошире раздвинул границы ее земель. И вот эта шваль, полагая, что как раз за это ей и воздвигнут памятник, косит напропалую своих и чужих.

— А если я на те памятники наплевал? — глядя мимо брата на дядю, спросил Бакури. — Кто я тогда?

— Наплевал? Да он у тебя слюнную железу вырвет, и не сам вырвет, а прикажет мне, врачу, твоему же брату, ее вырезать, — объяснил Ватути.

— Ну если ты кукла в его руках, может, и вырежешь...

— А не вырежу я, так кликнут Леона, чтобы он у меня правую руку отсек. Леон не сделает — он Мамуке перепоручит, чтобы Мамука принес на тарелочке Леонову голову.

— Погоди, погоди! — остановил сына Парна, так как Ватути, раскинув ладони, приготовился выложить резоны, попространней и поужасней.

— К несчастью, во всех войнах так всегда и бывало, — поглядел на Парну Лука.

— Не скажи, — упрямо повел головой Парна. — Пусть другой брат скрепя сердце уступал злему року, это не значит, что он с этим роком смирялся. Еще никогда человечество из кровопийцы не делало идола.

— Для нас наши враги были поработителями, а на их собственной родине считалось, что они расширяют границы своего государства, — сначала сипение, а потом кашель помешали Луке продолжать.

— Я не историк, — скромно промолвил Ватути, — но монголы, римляне, арабы, Александр Македонский и уже совсем рукой подать — французы, Наполеон...

— При Македонском в голову никому не приходило забыть Аристотеля, Диогена, греков... их философию, науку, искусство...

— Постой, Парна, — отдышавшись, Лука прервал брата, — а то потом позабуду, память у меня совсем теперь никудышная. Вот ты говоришь, при Македонском был Аристотель. При нем, а не до него. Если бы Аристотель не был воспитателем Александра, из Александра не вышел бы такой прозорливый стратег и политик. Он не сумел бы ориентироваться так безошибочно в тогдашнем мире, и, скажу тебе, он бы куда меньше завоевал и пролил куда меньше крови.

— Стало быть, Аристотель научил Александра людей убивать, — Бакури отодвинул кувшин и встал, — или же он не ведал, что творил?

— Очень здорово... получается, он его выучил! — Ватути снизу вверх посмотрел на брата.

— Отнюдь, — отрезал Лука, — вовсе не выучил, это в Александре шло от Каина, и перед этим Аристотель оказался бессилён. Другое дело, он дал ему великолепное воспитание, которое и пригодилось Александру в той крошечной резне, которую он затеял. Тупые, пустоголовые цари, не смыслившие в военной стратегии, а в политике не видевшие дальше кончика носа, куда меньше Александра пролили материнских слез, а что о них сказала история? — Он опять поглядел на брата.

— От смеха она покатывается, история ваша, — развешился Ватути.

— Нет, — вскинулся Парна, — безмозглые, неповоротливые цари в своих собственных землях еще больше матерей одели в траур.

— Какая разница, грузинка оденется в черное или татарка. А в этой войне германских матерей плакать будет побольше, чем раньше, так же как и русских матерей, и украинских или польских. Дело в количестве, и чем дальше движется время, чем быстрее развивается мысль, тем больше скорбящих матерей. В Македонии и во всей тогдашней Греции не было столько людей, сколько уничтожил один только Наполеон. И соответственно в этой войне число жертв возрастет во многожды, поскольку войну на

лошадях и слонах не сравнишь с войной танков и самолетов.

— И самый высокий памятник воздвиг себе тот, кто больше других...

— Что ты все о памятниках, — возмутился Парна. — История ставила памятники не только за истребление людей. Она ставила памятники и тем, кто пусть не всему миру, а только своей стране, но принес пользу — в культуре, в знаниях. И не всякий царь был тираном, и только. Арабы... римляне... греки... Что это, одно смертоубийство?

— Можно подумать, они за пределы своих государств — ни шагу! — съехидничал Ватути и поглядел на брата, будто это он сейчас говорил, а не отец.

— А монголы? — по бледному лицу Луки пробежал болезненный румянец. — Что принесло человечеству нашествие монголов? Двенадцатый век... мы создаем «Витязя в тигровой шкуре» и слушаем лекции в академиях. Вал варварства смыл все настолько, что в следующие несколько веков мы не могли удосужиться прочесть даже то, что уже написали, а чтобы создать новое, об этом даже думать не приходилось, и не останови Русь эту лавину, кто знает, может, Европа позавидовала бы нашей судьбе.

— И Чингисхан, и Батый не выглядят хуже, чем какие-нибудь там цари-миролюбцы и благодетели, — снова кинул брату Ватути.

— Кто говорит, что войны несли благо? А если несли, то это благо не могло возместить то, что было разрушено и уничтожено, — Парна потрепал по плечу задремавшего Леона. — Поди ляг. Со дня творения и по сей день жизнь человека исполнена непостижимых превратностей.

— Все это так, сынок, — Лука поднялся, голова у него мелко подрагивала, он втянул ее в плечи и, взглянув на Бакури, обтер посеревшие губы.

— Завтра, наверное, объявят всеобщий призыв, всех мужчин — поголовно, — эти слова из Парны вылились словно желчь, приторная горечь ожгла ему рот, и он вышел на балкон, чтобы сплюнуть.

— Зачем завтра? Сегодня же и объявят. Чего ждать? Хватит, наждались, наморочили голову сами себе.

— Так тому, дядя, и быть, — обернулся Ватути от задней двери. — Ты у нас умный, ошибиться не можешь.

— А как же иначе? Идея, цель, будущее... Это ж не пустые слова? — Бакури подошел к Луке и положил себе

на плечо его руку. — Неужели достаточно чьей-то прихоти, чтобы все полетело в тартарары?

— Кто сказал, что пустые слова? Каждый человек носит в себе... как бы это тебе объяснить, — Лука откашлялся, но голос его не стал чище, только больше осел, — носит в себе свою веру, и кто бы ни спорил с тобой, каким бы камнем в тебя ни швырнули, все равно вера эта не оставит тебя. Когда ты втянут в спор, это не значит, что ты от своей веры должен отречься. Напротив, надо защищать то, из-за чего тебе жить не дают.

— Ты не очень устал, Лука? — бросил Парна вслед брату и сыну, спустившимся с лестницы. — Тебе так поздно ложиться нельзя, ты совсем не щадишь себя.

— Война не только с солдатом воюет.

— Если на балконе ляжешь, потеплее укройся... А то не заметишь — сползет одеяло...

— Мне в доме нельзя спать? Ты их не слушай, парень, — он погладил Бакури по плечу, — я не так уж и болен, но ведь, знаешь, сам себя балуешь, чтоб и другие были с тобою поласковой. Все мне сейчас с рук сходит, вот я и плачусь...

У Бакури сжалось сердце.

— Да я знаю, у тебя ничего страшного нет... Но, может, съездить все-таки в Абастумани? Вон у Теклы мать, сколько ездит... и говорит, легче стало...

— Какое там Абастумани, какие дачи, сынок, мир погибает.

— Неужели и Мамуку, дядя Лука, призовут?

— Ему сколько? Годами не вышел?

— Восемнадцать исполнилось. Девятнадцатый...

— Не должны бы... А институт?

— Он в университете. Университет не может помочь?

— Первый курс он окончил? Или загулял?

— Нет, нет, что ты! Наоборот, у него все хорошо, даже лучше учиться стал.

— Тогда, может, и не призовут, а за это время и война кончится.

— Поди знай...

— А вот тебя, Ватути и Леона... Хотя Ватути — нет.

— Ватути и на срочную не взяли... А меня брали, но дали закончить курс, военкому спасибо, хотя и не по себе мне от этого было...

— Болел?

— Нет. Там история одна вышла.

- Ты что, в самом деле, с кем-то подрался?
- Я?!
- Потому и спрашиваю. Ты калитку так не откроешь. Кольцо не пускает.
- Знаю.
- Будешь возвращаться, опять накинй, не забудь, а может, у нас заночуешь?
- Нет, надо вернуться.
- Будто ты никогда не оставался у нас.
- Но ведь у вас эта девочка.
- Девочка, да... Вот кого жалко будет, если Мамуку заберут. Знаешь, как она его любит. Ей и так не везет.
- Куда ему жениться сейчас? А про Ватути все это правда? Будто командир этот...
- Я же не знал ничего... Вот и взвился, ты что, говорю, о моем брате несешь?
- Ты действительно эту женщину в глаза не видал и не знаешь, в чем там дело?
- Видать-то видал, но кто она и чья жена, разве он скажет?
- Бога он не боится.
- А тот-то ведь прав был... я и не знал. За эти три года я много чего насмотрелся. Хоть он и брат родной, а поди разберись в нем...
- Ну а сам он что тебе говорил?
- Я ему сказал, на что она тебе, она старше тебя и вообще... мне что-то в ней не понравилось. Бесстыжая какая-то. Дядя, это я только тебе рассказываю. Да к тому же еще ж и разведена. А здесь, видишь ли... Оказалось, что тот самый... Только смотри, отцу ни слова. В общем, мне сломали ребро, вот в армию и не взяли. Отец чистую правду Лади сказал. Студентов действительно призывали, всех, кроме первого и последнего курса.
- Наверное, все так и было, сынок. Не в чури же мы сидим, чтобы не видеть, не слышать, какая беда закрутилась... Не отопрешь? Погоди... с этой калиткой я и сам не управлюсь. Полный разор в хозяйстве. У кого одни только дочери, считай, нет детей вовсе. Потому и радовались всегда рождению мальчика.
- Сейчас мужчины и женщины равны.
- Сейчас — да. Но и вы, сыновья, тоже все куда-то запропастились, да еще погонят вас неизвестно на что. Не открывается, пропади она пропадом, эта калитка. Видно, тетка твоя снизу проволокой ее подхватила. Хлопочет, кру-

тится, бедолага, а с меня какой толк, ругай меня, не ругай, проку нет и не будет...

Бакури не двигался.

— Ты что, парень? Ступай-ка здесь, где забор пониже, и руку мне дай.

Бакури ступил с пригорка через изгородь прямо во двор и протянул руку дяде.

— Что с тобой?

— Сам не знаю.

— Пожалей себя — не пускай себе в душу ненависть. Человек, пожелавший другому зла, не то что ненависти, брезгливости недостоин.

Из соседнего двора донеслась брань и шум.

— Архипо? — выдохнул Бакури и смутился оттого, что скандал у соседей доставил ему облегчение.

— Архипо, сынок! Выпил, наверное, вот и беснуется. Чему удивляться? И без того в каждой семье беды через край, а еще плеснули такого горячего.

— От своих-то чего ему надо? Они-то при чем? Дети его? Жена? — Бакури спрашивал так, будто в его власти было сейчас отличить правду от лжи.

— Эх, племянничек, когда человеку худо... Германию отсюда рукой не достанешь, а горе свое куда деть?.. вот и бросается на первого встречного не потому, что тот виноват... А сколько ни в чем не виновных несут наказание, если б ты только знал... Постоим-ка тут во дворе... Воздуха немного глотну. Сейчас такое завертится, похлеще, чем было. Только какая б беда на тебя ни свалилась, какую бы несправедливость ни учинили над тобой...

— Несправедливо? Со мной?..

— Ты не перебивай! На войне не то что правду искать, милый ты мой... В ней самой, в войне, такая несправедливость... Порядка от нее не жди.

— Но ведь наша война — справедливая?

— Когда тебя стукнут по голове, ты в конце концов тоже зашевелишься, не так ли? Но запомни раз навсегда: хорошего не жди и дурному не удивляйся. Вообрази себе, что есть на свете самого страшного и самого гнусного, — его и жди, а если тебе повезет и тебя еще отличат, считай, вынул счастливый билет. Вот ты глядишь на меня, и я вижу, тебе меня жалко... Ты погоди, дай мне сказать! А я не знаю, есть ли кто счастливей меня, потому что стою я сейчас в райгресе, посередине своего двора и под рукой у меня твоё плечо.

- Когда кончится война...
- Кончится? Конца еще долго не видно будет.
- Но не вечно же ей тянуться?
- Протянется, сколько мне не протянуть.
- Дядя!
- Может, я и не прав. Ладно, хватит об этом, — у него перехватило дыхание. — Ступай!

Бакури не шевельнулся.

— Так нам с тобой и не пришлось поговорить. А ты, по всему виду, парень думающий. Это не часто бывает. Не под силу вузам этим дать, чего наша душа требует, а у тебя много накопилось, над чем надо бы поразмыслить.

— Боюсь, не ошибаюсь ли я сейчас. Если бы вы с отцом могли мне объяснить...

— Почему правда требует бесчисленных жертв?

— Если бы только это... Это еще понять можно.

— ...будет ли, в конце концов, зло уничтожено?

— И это я понимаю.

— Что человеку положено знать, ты, по всему судя, знаешь...

— Нет, мне надо, чтобы ты объяснил мне... Это довольно старая история, но что-то такое и сейчас происходит. У Доментия Киртадзе был сын, мой ровесник, и он утонул. Это было лет десять назад. Ради чего нужна была эта страшная жертва? Этот ни в чем не повинный мальчик — какие такие границы добра или зла преступил, за что ему такое отмщение?

— Да, за что?

— На это существовал когда-то ужасный ответ — будто бог воздаст за грехи родителей. А сам ты что думаешь?

— Ты не поверишь, но я и тогда думал и до сих пор думаю так, что вот у одного забалованного, капризного ребенка завелась пропасть всяких зверушек и кукол, а одна вдруг в воду упала и река ее унесла.

— У ребенка?

— Да, у капризного дитяти, у бога, есть великое множество разных кукол...

— И одна упала?

— Упала, и река унесла.

Луку стал душить кашель.

— Холод пробрал меня до костей.

С камнем на сердце Бакури молча оставил дядю и пошел к калитке.

Все перепуталось у Парны Амаглобели. И без того его жизнь — морока одна, а тут война на голову, и разметало его, как зерно на ветру.

Всегда перед ним что-то маячило, ради чего стоило жить, а не только посадил в землю орех — поднялся ореховый куст, воткнул лозу — виноград взовьется, выучил ребенка азбуке — он прочтет книгу. В чередѣ растянувшихся будней он видел даль. Она не всегда стояла перед глазами, но она была с ним. Во всяком случае всегда находилось, чем оправдать свое пребывание на этой земле. Он окучивал лозу не потому лишь, что она, благодатная, нуждалась в том, чтобы почва была взрыхлена, дабы дать плод, о чем было известно с того дня, когда человек взял в руки заступ, но он думал еще и о том, что таилось в земле там, в глубине, куда не добраться ни лезвию заступа, ни корням лозы.

Все, что растет на земле — из нее тянет соки и дает урожай. В этом все страны схожи. Но у каждой страны скрыт свой клад в земле, и в этом страны различны. Землю надо читать как книгу.

Все, кто жил на этой земле с самых древних времен и по сей день, провел по ней свою борозду — написал свою книгу и ушел. Потомки, не читающие эту летопись, подобные трактору или еще какой-нибудь там машине, пахут и получают и поглубже тех, кто пахал и сеял вручную, они и посеют и пожнут, обмолят и выпекут, и тем не менее...

Вот началась война. И как тогда, когда впервые на землю кровь пролилась, начнутся убийства одно за другим. Не начнутся, а уже начались. Правда — за нами, поскольку мы защищаемся, но и противник наш безусловно повод найдет. Мы толкуем свое, он — свое. Мы гибнем за свою правду, он кладет голову за свою цель. Но наивысшая правда откроется человеку совсем другого времени, который перевернет страницы нашей летописи с покойной душой, а не будет сатанеть от горя, как Парна, потому что в этой бойне кровь его сыновей не прольется.

С покойной душой Парна листает историю жизни колхского царя Айета, и сердце его не обливаѣтся кровью из-за того, что коварные греки по-разбойничьи пробрались в Колхиду, напротив, Парне откроется в этом величие колхов. Больше того, он испытает гордость оттого, что неистовым грекам не под силу было встретить колхов в откры-

том бою. Даже сегодня, когда война на пороге, ему, отцу четырех сыновей, не проникнуться скорбью царя Айета, когда был вероломно убит Апсиртэ и прекрасное тело бесстрашного юноши, красотой своей тронувшее даже сердце врагов, было изрублено на куски и раскидано по всему острову, ибо враги наши знали, что, пока колхи не оплатят мертвого и не предадут тело его земле, им будет не до врагов. А сегодня если что и способно пробудить интерес у людей, так, может быть, только флот, который был у колхов так быстроходен, что легендарные аргонавты, увезя несравненную Медею и выкрав золотое руно, не могли спастись от него даже бегством. Не искромсай греки труп Апсиртэ, скорбящие колхи перенесли бы тело царского сына с острова во дворец — и на оплакивание у них бы ушла вся неделя, как это принято и по сей день. Однако даже недели, по расчетам хитроумных греков, им было бы мало, чтобы скрыться от царя Айета. А прибавить сюда еще время, которое колхи потратили, чтоб в непролазных дебрях злополучного острова разыскать останки бездушно убитого юноши...

Но и после того не смогли греки удрать на своем «Арго», который и построен-то был, чтобы бежать. Им пришлось призвать все свое вероломство и хитрость и использовать покровительство той страны, что им благоволила, чтобы спастись от гнева колхов, от которых до этого они видели только добро.

Можно, конечно, сказать, это все сказки. Есть мифы, в которых от правды осталось всего ничего, и в этой легенде тоже, придумай ее грузины, усомниться можно было б во многом.

— Отец! — Бакури отворил дверь так тихо, что Парна и не услышал.

— Что такое?

— Ты спишь?

— Прекрасно знаешь, что нет.

— Знаешь, знаю.

— Что там еще?

— Да ничего, вот только... Мамука...

— Что с ним опять?

— Да особенного... ничего.

— От вас только и жди, — Парна поднялся и под одеялом натянул брюки.

— Ему ехать надо.

— Куда?

- Отец...
- В Тбилиси, что ли?
- Надо ж ее домой отвезти.
- Отвезти?

Бакури был удивлен: время тревожное, а в их дому — чужая... неужели отцу непонятно?

- А как ему быть?
- Да, видно, так.

Это «видно, так» опять смутило Бакури — даже когда отец бывал в нерешительности, такое от него редко слышали. В чем тут еще сомневаться? Или он думает ее здесь оставить?

- Я провожу их на поезд...

— Ладно, ладно, ступай! — Парна отбросил одеяло и встал. — Матери помощи. Поесть что-нибудь соберите. Да поживей, а то с ее прытью, сам знаешь... А уж сегодня подавно. Пока она сообразит, что к чему, не то что поезд...

Бакури скрылся за дверью.

Парна сам был смущен той раздвоенностью, которую вызвал в нем отъезд сына с «невесткой» (слово «невестка» даже в мыслях пробегало в кавычках). Он улыбнулся обескураженно — до того ли сейчас? И какой новый ребус сочинил ему этот птенец?

Нет, мальчик с рожденья не такой был, как все, и вырос на всех не похожий.

Не такой, как теперешняя жизнь. Смысл этого слова отцу был лучше известен. Романтизм, блуждание в звездных и в небесных мирах — сегодня за всем этим ни смысла, ни почвы. «Мамука пошел в своего дядю или в нашего деда — дед все мечтал провести в деревню водопровод. Будь рядом горный ручей, который самотеком по глиняным трубам побежал бы в деревню, затее бы деда не удивлялись — исстари во дворцы и крепости отводили воду из горных рек. Но дед хотел перебросить воду в деревню из родника Кодэ, который был по ту сторону горы. Вот что удивительно. Какие моторы и насосы должны были тут воду качать — неизвестно, но у себя на задах дед соорудил печь для обжига труб. Там и сейчас — целая груда черепков и обломков. И не сложи он еще в той мировой войне свою голову, набитую всякими бреднями, кто знает, каких бы чудес он еще напридумывал».

Парна пошел в кухню. Бакури стоял возле матери, склонившейся над корытом, в одной руке у него был

эмалированный кувшин, в другой закопченный чугунный чайник, из чайника он лил теплую воду на каменную соль в кувшине, перемешивал, встряхивая воду с солью и осторожную тоненькой струйкой лил соленую воду в корыто с пшеничной мукой.

Парна взял кувшин с водой, чтобы умыться над сточной канавой.

«Нет, этот парень не будет вроде нашего деда ни воду в деревню вести, ни ветряные мельницы строить, но что в крови у него что-то от этого есть, и говорить не приходится. Дед был такой же — самонадеянно-отрешенный.

Бабушку нашу он, видите ль, подобрал на базаре. Какая-то сирота — ни крова, ни хлеба, — то ли соседи на базар ее взяли, то ли сама по себе в путь пустилась, никто толком не помнит. Паршивенькую козу хотела продать — ни вида в той козе, ни породы. В те годы мингрельцы пригоняли на базары целые стада коз. Кто б поглядел на эту бездомную сироту с ободранной тощей козой, хотя поглядеть на девчонку, право бы, стоило... в красном платье из самотканой чесучи, и на ногах лапоточки. В шумной базарной толчее дед, видите ль, сразу заметил эту девчонку в красном платье, притащившую на базар черта рогатого... кое-какие гроши у него были в кармане, думал присмотреть какого-нибудь одра, но ни коза, ни баран ему не светили.

Он и ходил вокруг лошадей, присматривался. Кто посолидней, у кого в кармане тугой кошелек — тот выбирай в первую очередь, гляди и щупай себе на здоровье. А с мелкой монетой лучше не суйся. Он и похаживал себе, выглядывал, может, раскупят, что по душе ему было, да не по карману, и возникнет что-нибудь по деньгам. Пошел он к кузнецам, был у него в кузнечном ряду знакомый кузнец. А того, как назло, в тот день не было. У печи мехи раздувает хмурый такой подмастерье.

— Где Лазаре?

— Нет Лазаре.

— Что с ним?

— А зачем он тебе — вот мотыга, вот топор, вот серп, бери чего хочешь.

— Он мне сам нужен, я его знаю, он меня знает.

К еврею подойдет, в другой ряд, у того мелочной товар. Шило, к примеру... Шило сделать — не труд. Труд — ушко просверлить. Шило-то шилом, но, как говорится, еще уксуса нет, а он воды бухнул... Денег на шило много

не надо, а вдруг на лошадь не хватит? Если лошадь, зачем шило... С лошадью обувка целее будет. Теперь к кому завернуть? К гончарам можно, да не покупать, нет, так поболтать о том, к примеру, как глину обжечь, чтоб была попрочней, горшки всякие или трубы, чтоб были как камень или железо. Тут он видит: девчонка стоит, в красном платье, красноталовым прутом обмотала козыи рога и за прут держится. Никому дела нет, продает она ту козу или купила. Потянуло деда подойти к ним и прицениться — так, для вида, чтобы люди видели, у этих сирот, у девчонки и ободранного черта рогатого, тоже покупатель нашелся. А смелость — где взять? Как подойти половчей? Не тот человек был дед, чтобы хитрить. Он — опять к гончарам. А те радехоньки — покупатель явился. Посудиной бьют о камень, о гальку. Кувшины — каких только нет, чури всякие... зашумят, загудят. Деду совестно, что от него шуму столько, он — опять к лошадям. Чтобы лошадь купить — одних денег мало. Приценился, поторговался, денежки выложил — этим дело не обойдется, нет. Ты сперва у лошади каждую волосинку на свет прогляди, в зубы ей загляни, бабки пощупай, и грудь, и круп, порода какая, каких она будет кровей — пойми, родословную вызнай, как родителей ее звали и родителей ее родителей... К шагу ее приглядишься... Умна ли... Тут ему, слово за слово, цену назвали — обварили крутым кипятком. Дед — бежать. А на пути — та девчонка».

Парна поставил кувшин на углу кухни и поднялся в дом за полотенцем.

«Был уже полдень. Коза орет... Оголодала, видно, или просто неумоготу животине после гор и лесов взирать на это столпотворение. И отчего была так тоща, чтоб ей сгореть? Может, мало ей было травы в лугах и лесах? Может, стала стара? Или, правда, порода паршивая? Зато голосище... Нет рога и трубы такой не найти, чтобы извлечь подобные звуки. Только заблеет — весь базар глядит на девчонку, а она заливается краской — в цвет своей чесучи. Коза опять блеять, и опять все — на них... Так уж водилось всегда, а в те времена и давно... Базар был и торжищем, и балаганом. Кто продал, кто купил, кто с выручки, кто с обновки — всем хотелось глаз и душу потешить, а тут на тебе — девчонка, платье алое, держит свою страхолюдину за красный прут, прутом рожищи ей оплела, и это пугало огородное вопит так... от этого рева медведи и волки из лесу б сбежали. Людям другого не

надо. От базара и половины уже не осталось, но все глаза — на них. А зачем голь эта козу продает, в голову никому не приходит. Каждый думает — девчонка козу привела его веселить. А ей не до торгов уже, ей бы ноги поскорей унести, а этот дьявол в землю уперся четырьмя своими копытами и ни с места, только блеет и блеет.

Тут у деда терпение и лопнуло. Самое верное будет сказать, что он все-таки решился купить козу. Другого тут не придумать было, а решил, значит, прав, а раз прав,— значит, тут и смелость взялась. Подходит он к ней, а кругом все глядят, достает деньги, которых на лошадь не хватало, а козу не одну — пяток можно купить, и чуть было не сует ей деньги в руки, глупо так, не считая. Но тут он смекает, что она от стыда опять станет цвета своей чесучи, и спрашивает у ней цену.

— Сколько дашь, то и ладно, только уведи ее подальше куда,— проговорила, оказывается, наша бабушка, закрыв лицо руками, а в одной руке — красноталовый прут, за который она тащила козу.

— Сколько все-таки? — заупорствовал дед, дабы все вокруг видели: сделка как сделка.

— Сколько дашь, только забери ее у меня!

— Дойная? — Дед, видите ли, хотел вести торг, как от веку положено, и потому он нагнулся, чтобы разглядеть козье вымя и соски.

— Да пропади она пропадом, сколько там молока...

— На малых детишек хватит? — спросил покупатель.

— На детей — нет! — вопрос о детишках вонзился, оказывается, в самое сердце бабушки, а тут еще — много детишек.

— Так сколько все же возьмешь?

— Я же сказала, сколько дашь,— огрызнулась бабушка, поняв, что этому парню она ни к чему, покупает из жалости, чтобы народ она не смешила.

— Ну ладно, тогда я начну деньги считать, и когда... — дед уже вытащил кошелек, и тут бабушка выпалила:

— Не продаю!

— Что?! — упали дедовы руки.

— Не продаю! — бабушка, как говорят, потащила козу, намереваясь увести ее с базара, по разве эта тварь пойдет, когда тебе надо, чтоб ей сгореть.

Тащит бабушка упрямую козу, та передними ногами упирается в землю, а дед за ними следом, оказывается.

Так женился дед,— Парна кивнул своему отражению в

зеркале и пригладил волосы, — так же — похоже — женятся его потомки, не исключено, что и дедовы предки женились так же...»

— Отец! — заглянул Бакури в открытую дверь.

— Иду, иду!

«Просто непостижимо, как диковинно устроен человеческий мозг и чего только не выкинет память. До дедовых ли проделок мне сейчас, до бабушкиной ли козы, все прахом идет, эти парни разбегутся сейчас кто куда, и поди знай, куда их занесет и что поджидает, а у меня в голове дед и бабка с козой...»

Нет ни начала у человеческой мысли, ни конца, нет ей пределов.

Вдруг начинаешь жить жизнью, которой не жил никогда и даже понятия не имел, что такая жизнь есть. Чертовщина какая-то... Кто-то жил, мечтал, а потом взял и оставил все это тебе? На бумаге не написал, на камне не высек, а оставил. Где-то прямо на земле. Или в воздухе. Или на солнце. И однажды это дойдет до тебя — без букв, слов и фраз, и ты не почувствуешь, как прочитаешь».

Парна быстро спустился в кухню, где за низким столом, посреди земляного пола, его ждали к завтраку, сооруженному на скорую руку.

IV

Тут оказалось, что в Тбилиси ждут Ватути дела, и он бросил их, потому что не мог не внять отцовскому зову, а Текла с Мамукой, собравшись в дорогу, заставили вспомнить, что пора и ему. Чтобы отцу, на выводы скорому, ничего не взбрело в голову, Ватути объявил и причину — пора на работу. Что и в прошлом году он по той же причине не остался в деревне, все, конечно, давно позабыли, а и помнят, так сейчас не до этого. Просить разрешения он и не думал, а в дом заскочил, накинул на плечи пиджак — и готов.

— Что еще за работа? — повернул к жене голову Парна, на нее, однако, не глядя.

— Врачом, конечно, меня пока не возьмут! — пояснил сокрушенно Ватути, будто отец спросил, а не назначен ли он больницей заведовать.

— Найдут что-нибудь подходящее, — вступилась Русудан, словно ей было точно известно, что может подойти ее сыну.

— Он и прошлый год все искал подходящее, — изогнув брови, махнул рукой Парна — чего тут воду в ступе толочь — и повернулся к Норе, которая, выглянув из-за плеча Леона, собиралась что-то сказать, не надеясь, видно, что муж скажет, как надо.

— Отец!

— Вы тоже?

— ...Если б и нам тронуться?..

«Так бы и я сумел», — взглянул Леон на жену.

— Пускай едут... Все летит в тартарары, надо ж им поглядеть...

— На что поглядеть? — оборвал жену Парна, не понимая, откуда взялось в душе его недовольство и почему сыновья, которые давно делают все, как хотят, просят у него разрешения уехать.

— А ты хочешь, чтобы они торчали возле тебя? Это ж надо придумать, — заметив, что муж растерян, Русудан, не разбирая, что тут к чему, быстро все решила сама.

— Ступайте, дети, ступайте к своим делам. Может, глядишь, через месяц-другой все и кончится.

— Что кончится через месяц-другой?

— Да беда эта кончится. Ведь не вечно ж ей быть. А уж ты — ладно сейчас — у тебя и без войны война каждый день. А теперь и по давню — чему удивляться?

— Ладно! — Парна оглядел сыновей. — Отправляйтесь!

— Я на день не м-м-могу свои саженцы без присмотра оставить, ты же знаешь, отец! — Леон, как маленький, виновато поглядел на жену: «С моим отцом о деле говорить надо — он сам все прекрасно поймет».

— Что-нибудь у тебя выходит, сынок? — вяло спросила Русудан. Она знала, у Парны вся надежда на работягу Леона и натуру его, которая знает лишь дело и долг.

— Просто убивается о них, а мне что там к чему — не понять, — тень гордости проскользнула в Нориной неуверенности.

— Трудись, брат, трудись, а честь и плоды другие пожнут, — тон Ватути свидетельствовал, что толку в подобном самопожертвовании он не находит.

— Я ж не один работаю, — обиделся старший, — вся наша с-с-станция!!!

— Прости, пожалуйста, — второй по старшинству брат прикрыл рот рукой и покосился на Парну, — здесь, при нашем отце, не место обучать вас житейским азам?

— Итак, и старый, и малый — все уезжаем? Кому по делам, кому...

— Я не еду, отец, — Бакури поднялся с чурбака, поставил стакан с блюдцем на полку, — он ел на весу, на приземистом, узком столике места не было, — и подошел к двери, чтобы бросить собаке, сидевшей, подобрав хвост, в сенцах, отломленный от непропекшегося края кусок хачапури.

— Сегодня не едешь, а завтра только тебя и видали...

— Господи ты боже мой, он же сказал тебе — не еду, — поджав тонкие не улыбочивые губы, Русудан принялась убирать со стола.

— А указ о всеобщей мобилизации? Он считается призванным.

— Но пока-то его не берут, — не выдержала, как всегда, Русудан. Вроде и отвечать не хотела, рот на замок, а слов не удержишь, не думала мужа обидеть, а вышло...

— Тогда мирное время было, да и причины были.

Опустив голову, потому что мать совсем некстати завела разговор об отсрочке призыва Бакури, Ватути забубнил совсем несуразное:

— А Леон, мама? Надо думать, как Леону помочь...

— А чего мне помогать?

— Тебе не надо, а Норе? Что тут глаза закрывать, не сегодня завтра я дядей стану.

— Раз Леона агрономом взяли в такое большое хозяйство, чтоб получить новый сорт шелковицы, значит, так просто им швыряться не станут, не будет государство сотни тысяч на ветер выбрасывать, — хозяйка гремела стаканами, устанавливая их горкой на полке.

— От этого хозяйства, пусть даже трижды опытного, никому теперь ни жарко, ни холодно, — опустил тяжелые веки Парна.

— А стране и армии пить-есть надо... Это чье дело? — сердце у Русудан еще, видно, держалось в груди.

«Видали, на что надеется! — отец явно позавидовал матери. — Бывают же люди, в открытое море выброси их, они и там соображать будут, как мост перекинуть».

Поезд тронулся. Тронулся, покидая убогий полустанок в двух верстах от деревни и увозя от Парны трех сыновей, невестку, которую теперь уже одною не назовешь, и большеглазую девчонку, тоже теперь не чужую.

Передав жезл машинисту, дежурный по станции в красной фуражке со сломанным козырьком ударил в колокол и тут же исчез в станционном зданьице. Перрон опустел сразу, только вдалеке по путям шагал стрелочник с торчавшими из углов его сумки флажками.

Парна остался совсем один. Он не был отшельником, но сейчас хотелось побыть одному.

«Хорошо, что Бакури, уже на самом краю деревни, у Кинцурашвили остался... или оставили его... Ребятам в армию завтра, выпили, вцепились в Бакури, силком затащили. С них какой сейчас спрос — все равно не отпустят. Правильно кто-то из них сказал: «Доведется ль еще свидеться нам...» Ладно Парну постеснялись, а то б и другим сыновьям не вырваться. К воротам вынесли вина кувшин. Горько, сухо и коротко учитель благословил их, выпил за здравие учеников, оставил им Бакури и пошел.

«Почему это Бакури, хоть убей, не хотел оставаться? Когда в школе учились, и дневал у них, и ночевал, дома его почти не видали. Крестники моей матери... Эстатэ честный крестьянин, плохого о них не скажешь, нет... А что он, Эстатэ, свояком приходится Басилу Барбакадзе, его ли вина?..

А Бакури тоже... больно уж мягок со всеми. С нами такой он или со всем этим светом?

Нашел тоже время над чем ломать голову... Хорошо хоть Бакури еще дома увижу».

Он пошел по путям.

До этой минуты у Парны было дело — он провожал сыновей. Пока не проводил, они были дома, все были с ним. И в стенах дома, и во углам его всего полным-полно было, и во всем доме полно, и во дворе, и в деревне, и в стране. Можно было попрекать, ругаться, ссориться, не нравиться все могло, но не было пусто. Какова бы жизнь ни была — какой тебе хочется, все равно ей не быть, — только когда свет мешается с тенью, картина становится полной.

Сейчас, когда он остался один между бегущими рель-

сами, он ощутил вдруг в себе пустоту, и не отъезд сыновей ее породил, не война. Больше, чем ясного разума, ему не хватало знания того, что будет завтра.

Ни наставить своих сыновей, ни научить, что им делать, как поступать — он не смог. Поскорей возвращайтесь? Но откуда? Что ты им делать велишь там, куда они едут, — сесть и ждать, пока мать с отцом исчахнут по ним? Леона его тутовый лист еще выручить мог, он агроном большого совхоза. Так ведь у каждого есть свое дело и все для чего-то нужны. Никого не призывать? Или если уж гнать, так всех без разбору? Как сказала их мать, миру не только солдат — дельный хозяин тоже нужен. Без хозяина кто даст солдату винтовку, пули, порох, шинель, ломоть черного хлеба? Кому оплакать его?

Парна шел по насыпи к райцентру и был рад, что пустился в четырехкилометровый путь пешком. Будто этот путь, пролежавший в райцентр между прямыми рельсами, помогал ему разгадать ту загадку, которая оставалась при нем, не давая распутать себя, как перепутанный моток шелка, концов которого не найдешь.

Прямо на путях он столкнулся со стрелочником, высоким усатым малым. Тот кивком поздоровался с Парной и проследовал дальше. Парна оглянулся. С медным рожком в скрещенных за спиной руках, стрелочник переступал сразу через две шпалы.

«И этого заберут? Пусть небольшое, но свое дело делает. Открывает поезду путь. Конечно, с этим делом любой справится, но у того, другого, тоже есть свое дело, которое тоже кому-то положено делать. Заберут этого усача и начальника станции с ним, кому же тогда отправлять эшелоны, в которые этих двоих посадить еще надо, чтоб отправить на фронт?»

Призовут Леона, директора его призовут, бригадиров, рабочих — хозяйство голым останется? Или у них есть в запасе лишний директор и лишний агроном, одних оставят, других отправят?»

Поближе к станции щебень утрамбован был аккуратно ровень со шпалами, и Парна шел, не глядя под ноги. Но дальше шпалы выпирали над щебенкой, и приходилось либо сильно тянуться, чтобы ступить через шпалу, либо делать шаг покороче, чтобы попасть на соседнюю шпалу. Если приноровиться, таким куцым шажком можно было идти без особой натуги и даже поглядывать на божий свет, на землю и небо, но если ступить через шпалу,

тогда всякий раз напрягись, как перед прыжком: встань на цыпочки, носок вытяни и лишь тогда шагни. Через шпалу. Так идти — быстрее получается вдвое, зато и устанешь скорее раза в четыре.

Одна мысль душу точила — добраться побыстрее до райцентра и зайти в районо: может, какую инструкцию получили, может, секретную, да и просто послушать, что толкует народ, и умом пораскинуть, прямо сейчас Леона к себе забирать или...

«Школы-то ведь не закроешь? А учителя — почти одна молодежь. Стрелочника еще можно заменить каким-нибудь тугоухим дедом, объяснишь ему, куда стрелку переводить, и ладно, а ведь учителем деда такого не возьмешь, будь он хоть семи пядей во лбу.

История говорит просто: в таком-то году такое-то государство объявило войну и напало на другое такое-то государство. А кто знает, на чью голову падет божий гнев и бессчетные беды, принесенные этой враждой».

Парна подвернул ногу — на ступне, видно, мышцы не выдержали.

«...Может, так и станут выдерживать, через одного, — он остановился перевести дух, — одного возьмут, второго дома оставят, и тогда у того, что дома останется, шаг будет вдвое шире и он вдвое больше потянет. Тогда с Леоном как быть? Или с Мамукой? Этот совсем желторотый... Хорошо хоть Бакури вечером встретит... А Леон? С Леоном как быть, кто б меня научил?

Леон и директор его опытной станции...

Раз директор у них агроном, тогда его и директором оставить, и хомут главного агронома надеть, пусть прыгает через шпалу...

А Леон?

А у Леона натура не та, чтоб и в главных агрономах ходить, и командовать как директор. Доверь ему дело — он не подведет, но чтоб через шпалу скакать — не по нем это...»

И, горько вздохнув, Парна зашагал по насыпи, ступая быстро и широко, как не ходил никогда.

VI

В бревенчатом, без окон обиталище Эстатэ Канцурашвили, уютящемся под камышовой крышей, столы были сдвинуты к длинной тахте, втиснутой между стенами, а

по эту сторону сидеть можно было на почерневшей доске, водруженной на двух табуретках. По торцам стола стояли два стула — для тамады и его помощника. Большой чан с остатками мамалыги, висевший на цепи, перекинутой через прокоптившуюся балку, которая почти под самым потолком пересекала комнату, был уже подтянут повыше, а на земляном полу валялись порожные кеци¹, и только подпаленные скорлупки каштанов можно было обнаружить на их дне. В потухшем очаге тлели последние головешки.

Постель на тахте была свернута, а Эстатэ оставался лежать, чуть приподнявшись и так глубоко затягиваясь кальяном из кизила, с длинным мундштуком, что впалые его щеки там, где во рту не доставало зубов, вовсе проваливались. Эстатэ привстал, чтобы позвать через стол руку Бакури, и отвалился опять.

— А Парна что, брезгует нами? — спросил он, когда Бакури передал привет от отца.

— Братьев пошел провожать, опоздает, боялись, на поезд. — Бакури втиснулся между потеснившимися односельчанами, где ему было велено, — прямо против главы семьи.

— Они люди ученые, не нам с тобой чета... — усмехнулся старший сын Эстатэ Бесо и, взяв с края блюда большую куриную ножку, словно давно приглядел ее для себя, отправил в рот и замолотил челюстями.

— Парна — мужик не плохой, совсем не плохой.

— Для себя-то никто не плох.

— Тебя на пушечный выстрел к книгам не заманить было — в этом что, учителя виноваты? — бригадир Ноэ Угулава с носом, похожим на хорошо отесанный кол, улыбнувшись от уха до уха, протянул Бакури два полных стакана.

— Виноваты — не виноваты... Своих-то он выучил...

— Да ты о ком это, сынок? — как запричитала сутулая женщина, сунув голову в фанерный шкафчик на стенке, висевший рядом с посудными полками, и, достав тарелку, заторопилась к столу. — О Парне, что ль, речь? — она поставила тарелку перед Бакури, обняла нового гостя за плечи и чмокнула в ухо. — Господи, могла ли я думать, что сегодня смогу еще радоваться... Как поживаешь, Бакури, сынок! Потолоа! Куда запропастилась эта девчон-

¹ Скворода из глины или из камня.

ка? — крикнула она, высунувшись в заднюю дверь. — Чтоб тебя язва взяла... сколько раз, бывало, на дню Парна и сам зайдет, и нас позовет, и через других передаст — мне на радость и детям моим: пусть, говорил, учиться идут, сейчас время другое, неграмотному какая жизнь, беда одна.

— Я мотыгу из рук не выпускал, — буркнул Бесо.

— Ты ж не у Парны мотыжил, — оборвала его мать.

— Нам своей нужды было по горло, — проскрипел Бесо.

— Всего-то четыре годка проучился, да по нынешним временам это разве ученье? А я-то, бедная моя голова, думала, как в старину, — хватит, будет... а лучше б нам не есть досыта, только ты б еще три класса прошел...

— Ну и не ели б! — Бесо извлек из эмалированной супницы другую куриную ножку и, не переключивая на тарелку, сунул прямо в рот.

— Не хватило силенок. На ногах еще не стояли крепко. Как землю дали, одному где управиться?

— А теперь и землю забрали, и я не учен.

— Куда это забрали? — вскинул голову остроносый бригадир. — На спину взвалили и потащили? Вон она, земля, ступай и мотыжь!

— Об этом, наверное, мечтать теперь будем, — обглядывая кость, огрызнулся Бесо.

— Что же, так и погибнем? — хозяйка сунулась носом прямо к уху Бакури. — Что в городе-то слышать, Парна с Лукой не знают? Не говорят?

— Да нет, ничего такого не слышно, — попытался утешить Бакури.

— Парне — что, у него голова на месте. Знай свое, сыновей учит, — не отступал старший сын Кинцурашвили, — пока опять не кинулись рот затыкать, — он повернул голову, и на шее его, как у яремного быка, вздулись жилы толщиной с большой палец.

— Ты-то что все молчишь? — накинулась жена на лежавшего мужа.

— Перестань, малый! — приподнялся Эстатэ и сплюнул сквозь зубы.

— А разве он одних своих сыновей выучил? Это что ж, Эпраси, у твоего парня получается, — встопорив усы, заерзал Афрасион, колхозный счетовод и двоюродный брат Кинцурашвили, — ты спроси у меня, кто моих сыновей выучил и в вуз кто их послал...

— У тебя, дядя, хребет вон какой, да сыновей еще двое, — не оборачиваясь, бросил Бесо дяде и подпер кулаком подбородок так, словно выбросил кулак прямо перед собой.

— Какой же это такой хребет был у меня, Эпраси? — возмущенный Афрасион повернулся сперва к хозяйке, а после к сыну двоюродного брата, — какой такой хребет нужен сейчас, парень, чтоб человек учился? С тебя что, деньги за учење берут или взятку требуют? — заерзал Афрасион и закрутил двумя пальцами кончики аккуратно уложенных и вздернутых кверху усов. — Твою младшую сестру возьми, она не учится разве?

— Сестру братья на руках таскают.

При слове «сестра» Бакури испуганно поглядел в ту сторону, откуда Эпраси выкрикивала свою дочь.

— Потола, дочка, Потола! — хозяйка опять бросилась к задней двери и распахнула ее — куда же ее унесло?

— Куска мчади и вам хватало — какая тебе еще подмога нужна, — не сдавался Афрасион, — вас у отца шестеро, он хрип гнул, себя не жалел. Дом и усадьбу — не сказать чтоб богатую нажил, но холодными-голодными вы у него не ходили, нет, — он снова крутанул усы, — а ты меня еще учить будешь, ты-то! Ноэ возьми, что ты скажешь, Ноэ? Или Лади! Ты что все молчишь, Лади!

— Почему я знаю? — Лади мотнул головой. — Мне бы свой собачий язык привязать, да покрепче, — только от меня ради бога отстаньте. Не выучили бы Сулхана, сидел бы он сейчас дома, со мной.

— Нет, ты скажи, в чем уж такая нужда была? — не отставал Афрасион.

— Нужда-то была, чего уж там говорить, — вмешался Эстатэ, скорее правды ради, чем для поддержки сына.

— А как ей не быть, когда весь мир вверх дном опрокинулся, собака хозяина не признавала, кто тогда не нуждался, скажи... Или сам Парна день и ночь веселился? У кого нужда во дворе не стояла? Россию чуть не всю голод скосил. Когда беженцев понесло — откуда они были, не из России? Вон у соседей наших, в Магалашни, Ладимер Меладзе русского мальчишку, да еще рябого, вырастил... Петро Меладзе, думаете, он и правда Меладзе? Он счетоводом сейчас в Магалашни. Встречаю я его тут в районе. Какой-то русский за ним увязался, видит, что не грузин, а свой брат. Спросил его что-то, не отстает. А Петро меня кликнул, я еще в банк бежал, спроси, говорит,

у этого человека, чего ему надо. Сам по-русски — ни слова, а вы говорите.

— Пойдите, пойдите! — в голове стола поднялся человек средних лет, нос крючком, и такой высоченный, что над краем стола показалась даже черная, блестящая кожа, нашитая на коленях его галифе. — Про эту историю с Петром Меладзе вы у меня лучше спросите, но сейчас не до них, ни до Петра Меладзе, ни до Ладимера. Или нам своих забот мало?

Кто это, Бакури не знал. Из Магалаши, наверное, сестра Эстатэ за ним замужем, стало быть, гость почетный, вот тамадой и выбрали.

— Да я только к примеру сказать хотел, нужда у кого, — забормотал Афрасион и — как язык проглотил.

— Что ты заладил про ученье-просвещение? — мутным взглядом поглядел на старшего брата Лексо, сидевший на тахте по правую руку от бригадира. С того момента, как появился Бакури, он сворачивал сигарку с таким усердием, что, пока не свернул, даже не пикнул.

— Да мы ж с тобой на одной парте сидели, — опять просиял остроносый бригадир. — Думаешь, я не помню, какой ты молодец был, мы уроки учим себе, а он в рцхил-нарском лесу бук на черенки для мотыги ищет и на топорнице, вон и сейчас заготовки эти буковые для черенков у него наверху полеживают, — вздернулся острый нос Угулавы.

— Не будем зря время тратить, товарищ Угулава, — ласково и наставительно заметил высокий тамада бригадиру и дружелюбно улыбнулся Бакури, — ну-ка, сынок, опорожни эти стаканы!

— Будьте все здоровы, — как побитый, поднялся Бакури. — Пусть здравствует эта семья, за всех собравшихся, здоровья — тетушке Эпраси и дяде Эстатэ!

— Нет, а я знать хочу, — Илико Бакрадзе поднял папелец и даже привстал. Все это время он внимательно приглядывался к происходящему, сильно опасаясь — не ляпнуть бы что невпопад. — При чем тут Бакури?

— Да и я спросить хотел! — усы Афрасиона стали торчком.

— Всему свой час, Илико и Афрасион, всему свой час, — не желал выпускать тамада вожжи из рук.

— А мы что, попрекаем кого, — вскопчил Лади, опять не вынеся собственной молчаливости, но тут же сел, потянув за собой Илико.

— Пусть во благо тебе пойдет! — напутствовал тамада Бакури, осушившего стакан, и повел новый тост: — Война, братья мои и други, война... События более великого мы не знали...

— Нужна она нам в самый раз... — вспыхнул Липартелиани.

— Знаю, Лади, знаю, твой сын командир, там... на границе... Верно?

— А мне что, скажут разве? Может, и по ту ее сторону...

— Тебе не известно — мне известно. Нет, ты-то знаешь, конечно, но я знаю больше. Я — кадровый командир. Еще бы немного, быть мне в Испании, — сквозь медкомиссию не пролез, а нынче и возраст не тот, но все равно мое место — там. Ваш сын уже воюет, и покуда эти — он обвел рукою весь стол — станут бойцами и командирами, а что станут — в этом сомнения нет, — он один из всех нас отражает нападение врага... Тот, кто грудью встретил врага, и понимать надо, какого могучего врага... Ой, как трудно, родные мои и друзья, грудью врага отразить... Это вам не стакан вина поднять.

— Стакан держать тоже непросто, — крикнул слева от Бакури Бухути Капанадзе, перед которым стоял недопитый стакан.

— Пошли тебе бог здоровья покрепче! — обрадованно кивнул тамада на стакан. — Опорожни его, сынок, на радость себе, там уж и вина-то на донышке, а все равно — не допил, считай.

— Язык бы мой с корнем выдрать, — ладонями прикрыв стакан, Бухути поглядел на Бакури.

— И как это фашист умудрился к нам подобраться? — тамада был до крайности удивлен.

— И не говори, мысли такой в голове не держали, — Эстата извлек кiset из-за пояса.

— Как это не держали, когда меня думы об этом поедом ели? — встрепенулся Лади.

— Не говорите, не говорите, — кадровый командир больше не удивлялся, — уж очень он... Вся Европа у него в пасти. Да и я толковал, помню... а сейчас, хочешь не хочешь, война началась и воевать надо. И тот, кто воюет, кто не стакан этот в руках держит, а ружье, что мы скажем ему? Мы скажем ему: пусть здравствует!

— Пусть здравствует!

— Пусть здравствует!

— А теперь выпьем, не будем тянуть. На войне тянуть и растягивать не положено. Сам воевал — знаю.

Когда Бакури уже пригубил стакан, какая-то сила заставила его обернуться — ему почудилось, в дверной щели мелькнула головка Гугуты. Свет сочился лишь в приоткрытую дверь и сверху, сквозь дымоход, но все равно на дворе был летний солнечный день и привидеться не могло. Он не выпустил стакан, но вино плеснулось, как у Мамуки, и, когда он допил, там, где мелькнула Гугута, возникла хозяйская дочка Потолола в красном платке.

Да, это — Потолола, но сейчас кто там мелькнул — Гугута? Может, ему показалось? Может, с Гугутой он спутал Потолу? Бывает, люди похожи, но не Потолола Гугутой. Гугута — как в нежном и раннем первоцветенье, а Потолола — сверкает в сочном, ярком цвету.

Что-то внутри у Бакури оборвалось и повисло на волоске. Давно он стоял на самом краю этого оползня. Давно давил его страх — и он прятал голову, а сейчас, когда кругом столько беды, волосок оборвался, он рухнул в кипящую лаву — и она понесла его. Вино камнем застряло в горле, его чуть не стошнило. И когда тамада оглядел застолье, проверяя, не пусты ли стаканы, его взгляд задержался на Бакури:

— Сынок, что с тобой? Или вино не идет?

— Не идет? — не оклики его тамада, у Бакури язык бы не повернулся сказать, что терзает его и снедает, а пустяком отговариваться он не мог.

— Поди, сынок, подыши свежим воздухом.

— Нет, — Бакури не шевельнулся.

— Не хочешь — не надо. А то бы проветрился.

«Что за напасть? Помираю — и все».

— Ей-богу, сынок, тебе во дворе полегчает... Сосо, пройди с ним, — кивнул Эстатэ пятому, младшему сыну.

Сосо подскочил к Бакури, подхватил его под руку, и Бухути Капанадзе хотел подсобить, но сдвинуть Бакури с места было им не под силу.

— Нам тут войну устраивать, дружок, ни к чему, хватит с нас и того душегуба, который к нам вторгся. Хочешь сидеть — сиди, а нет, делай как хочешь. Подумать только, куда мы этих ребят провожаем... это сегодня, а завтра... завтра твой черед подойдет...

— Какой там черед? Студента кто тронет? Это с нас, голодранцев и неучей, сироят, — Бесо закрыл руками лицо.

— Ты погляди, что у него в голове, — усы Афрасиона опять дернулись кверху, — а я-то, старый дурак, все диву давался, вот, думал, парень, за всю жизнь — ни слезинки, ни жалобы, а тут на тебе, загоревал, что в неучах ходит, с чего б это?

— Ты б лучше меня, дядя, спросил. Кто пограмотней да побашковитей, те войне больше нужны. А то я было подумал, попрекнуть нас Бесо вроде хочет, — вконец расстроился Лади.

— Это все еще что, покруче дела заварятся, можете мне поверить. Я кадровый командир и войны видал побольше вашего! — пообещал тамада.

— А я ничего этого знать не хочу, я сам вижу, одни по Тбилиси разгуливают, а нас, сразу трех братьев, — на фронт. Знать не знаю и слушать не буду, — Бесо пошарил рукой, чтоб шарихнуть чем ни попадя по столу, но третий брат, Ушанги, мрачно и отрешенно сидевший справа от Бесо, стремглав перехватил его руку, будто все это время только и ждал, когда старший брат замахнется.

Бакури было все безразлично: о чем разливается тамада, что терзает Бесо и чего там на сердце у Лади, у Афрасиона, у Ноэ и Ушанги.

Прямо тут, за этой стеной, за этой вот дверью стояла та, которую встретить для Бакури было так страшно, что он целый год в деревню глаз не показывал. Сейчас, когда ему стало казаться, что все обошлось, смирилось, угасло, и он приучил себя думать, что все надо напрочь забыть и нет тут хочу — не хочу, могу — не могу, рвать надо — и все, он, кроме Гугуты, все равно никого не желал, никого не любил, хотя приведись — он в ее сторону даже б не глянул. А тут — лишь мелькнула в дверях, один только взгляд — и все прахом.

Бакури не слышал ни слова или все слышал и понимал, но то, что творилось здесь и там, далеко, где люди истребляли друг друга, было пустяк для него, и за все, что свершалось сейчас на земле, он бы гроша не дал.

Эстатэ попросил у тамады позволения сказать тост и обмакнул хлеб в вино.

Тяжкая, могильная тишина пала на это застолье.

За помин души павшего на финской войне сына Иосона Лацабидзе пили во всех семьях этой деревни.

Солнце достигло уже зенита, а Потолола, вцепившись в руку Гугуты, стояла, припав ухом к двери и твердя себе, что Бакури нарочно отстал от братьев и даже из дому нарочно выбрался, чтобы попасть к ним, а там вся надежда на Потолу. Иного и думать нечего было.

Их затаенное чувство, святая святых для обоих, постоянно нуждалось в присутствии третьего, и словно для этого появилась на свете Потолола. Разве мог кто-нибудь заставить Гугуту признаться в любви, тем более — Бакури? Когда она отвечала на отлично урок, скулы ее розовели, потому что ей было стыдно учиться лучше других. То, что было в Гугуте, на всех излучала Потолола, и оттого и в деревне, и в школе Потолола была всем пример, а Гугута скрывалась в тени двоюродной сестры. Жизнь кипела в душе никогда не робевшей Потолы, и не перейми она у Гугуты ее нежной застенчивости, это была бы просто юла, дерзкая и в доску своя, но день-другой побудь с ней — и становится пусто и пресно.

На пути у Гугуты должен был появиться Бакури, чтобы мир, скрытый в ней, обнаружил себя и стало ясно, что Потолола лишь часть ее мира, только малая часть, потому что и Потолу было не дотянуться до его глубины. В этой девочке обрела свой приют красота, но в какой глубине, и Гугута не знала. Только Бакури мог бы это понять, и как раз для того родилась в их деревне Гугута.

О любви между ними слова сказано не было, даже случай не заставил бы их это слово сказать. Это было в заведенном порядке вещей: так течет река в своих берегах, так нуждается дерево в листьях, а лоза в винограде. Их разлука, их жизнь друг без друга нарушала живой ход вещей в той же мере, в какой перекрытие реки меняет привычное русло. Или это было — как оборвать с весеннего дерева лист или лозе не дать плодоносить.

Потолу это было известно, и она поверить себе не могла, что Бакури за весь год ни разу не спросил о Гугуте.

Правда, прошло уже целых три года, как они окончили школу и ушли из деревни, но до этого целых два года подряд — видались они или нет, Бакури с Гугутой, — каждый жил жизнью и мыслью другого. А теперь что случилось? Что такое случиться могло, что не знала Потолола, а значит, не знала Гугута? В конец света можно

было поверить скорее, чем в то, что Бакури с Гугутой будут врозь. Но так все и было.

Сколько раз, когда учились они в Кутаиси, порывалась Потола съездить в Тбилиси к Бакури, но Гугута даже думать такого не позволяла. «Видно, я виновата, я, только я. А Бакури? Сама знаешь, он плохого не сделает, он всегда... справедливо», — год напролет твердила Гугута, а ведь она никогда не повторит то, что скажет хоть раз.

А сейчас Потола решила, что Бакури, промолчавши так долго, сам надумал все объяснить — и явился. Она радовалась, и ей в голову не приходило, чего стоило братьям затащить Бакури к ним в дом, да и не затащить бы им Бакури, не пожелай того Парна, который помыслить не мог, чтобы в такой день его Бакури не был с ребятами, с которыми рос и они были ему как родные. Кому, как не Бакури, знать, чем были для него эти ребята и эта семья? А уж Потоле... Но кем для Бакури была та, ради которой сын предпочел этот слепой, без окон бревенчатый дом всем замкам мира, Парна не знал.

В деревне ничего скрыть нельзя.

— Не верила мне... не верила? И зачем только на мою голову вы на свет родились?

— Нет, Потола, нет!

— Помолчи лучше. Тоже мне, от вина ему плохо, видишь ты, сделалось...

— Может, и правда нехорошо ему.

— А что могло ему сделаться? И когда это было, чтоб ему от вина плохо делалось? Да и что он выпил такого?

— Он врать не будет.

— Врать? Чего там врать, не захотел сидеть с ними, и все, тоже мне вранье!

— Пусть и не захотел. Он чего не думает, в жизни не скажет.

— Ой, ой, ой!

— Сама знаешь...

— Знаю? А чего я могу знать? Целый год в глаза не видала!

— Он всегда такой будет...

— Это еще посмотреть надо, будет или не будет... — Потола глянула в скважину. — Брат тоже с ним поднялся... Проводит во двор...

— А он не пойдет!

— И чего же он станет делать, погибель ты моя?..

Чего ему надо?.. Что такого у него против тебя может быть — ты мне только скажи и не рви мое сердце, не губи раньше смерти...

— Сама не знаю, знаю только...

— Ты погляди, погляди, царица небесная, он и правда ни с места, чтоб отсохнуть ногам его.

— Пусть у врагов его ноги отсохнут.— Гугута не давала сестре клясть любимого.

— А мне, как тут быть?.. чтоб вам, не родившись, сгинуть в утробе!

— Мне — пусть, а ему... не приведи господь!

— Чего не приведи господь? Ему что, трудно встать и за дверь выйти? Знает же, что ты тут!

— Ну зачем ты со мной так, зачем заставила в комнату заглянуть? Я же знала...

— Что ты знала?

— Как можно, мне — к Бакури самой? — при имени Бакури она затрепетала опять.

— Да окстись! Это «самой» — называется! Просто мы ему дали знать, что ты здесь.

— Просто... просто ничего не бывает.

— Ну, а ты-то в чем виновата, чтоб мне сгореть?

И Потолола, пригнувшись, опять заглянула в скважину.

— Есть, наверное, вина...

— Ты только погляди на него, царица моя, он опять плюхнулся. Пусть отец небесный не даст ему больше на ноги подняться, правда твоя, на нем лица нет...

— Горе мне, горе... — теперь нагнулась Гугута.— Ой, ему плохо... И зачем я жива еще?

— Пусть встанет и выйдет, ему что, ноги связали?

— Лучше б мне здесь не быть...

— А что ему сделается, если выйдет? Съедем мы его?

— Что-то я натворила, а что, он в жизни не скажет...

— Да я словечка у него не спрошу, рта не открою. Чтоб язык отсох у всех вас, кровь мою пьете!

— Не могу больше... — попыталась Гугута вырвать руку у Потололы.

— Тебя что, на тот свет понесло?

— Домой... домой... ноги не держат...

— погоди! — и, толкнув створки двери, Потолола запахнула их настезь.

На шум распахнувшейся двери Бакури вскинулся будто ужаленный. Перед ним пламенела Гугута. На ее фотокарточку он уже год не смотрел.

VIII

— Ну, что делать с ней, мама! Уперлась — ни с места, — звонко и весело, на весь стол прокричала Потола, и даже те, кто, уйдя в свои горькие думы, не услышали, как распахнулась дверь, повернули к ним голову.

— Да покарай меня, господи, чего ты боишься, дочка! — засеменила к дверям хозяйка. — Чего тут стесняться, скажи?

— Иди, иди сюда, племянница! — лежа на свернутой постели, Эстатэ оставался недвижим.

— Ну, пошли торговаться, — рявкнул Бесо.

Гугута не переступала высокий порог, пока Бакури, отведя от нее глаза, не вперился бессмысленным взором в парадную чоху и белый башлык, висевшие за спиной Эстатэ.

— Идите сюда! — бригадир пересел на тахту.

— Нам на одном стуле не поместиться! — живо отозвалась Потола, подходя к столу. — А ну, поднимайтесь, невежи! — крикнула она братьям.

Два брата встали, Бесо не двинулся с места.

— Вот это девчонка! — не удержался рядом с Бакури Бухути.

— Всея деревни краса, — Лади хлопнул в ладоши.

— Хвáлите, а братец мой так глядит на меня, будто это я войну начала, — жалобно проговорила Потола и толкнула Бесо, чтоб подвинулся.

— Места ей мало на такой здоровенной тахте, — огрызнулся Бесо.

— Хочу с отцом рядом! — заупрямилась Потола.

— Чтоб тебя черти уволокли! — Бесо взял тарелку и уступил ей место.

Прилясывая — добилась своего, — Потола притулилась к отцу и потащила за собой Гугуту.

Бесо переждал, пока наконец усядутся девушки, и опустил на тахту рядом с ними, поближе к тамаде. Братья подсели к нему и очутились за тамадой — у стола им места уже не хватило.

— Ну, что, уселись? — только произнес тамада, как Потола радостно запричитала:

— Ой, да никак это Бакури! Ой, нет! — сникла она. — Нет, быть не может, я так соскучилась по нашему Бакури, нет, мне померещилось, наш самый любимый брат... Папа, мама, братья мои, вы не забыли Бакури? Вот парень что надо, вот кто родня так родня, друг так друг!

— Понесло! — ничего не обнаружив у себя на тарелке, Бесо тут же смахнул какую-то кость с тарелки младшего брата и отправил в рот.

— Совести у тебя нет, Бесо! — Потола повернулась к старшему брату. — Это ж надо, забыть Бакури! Греха не боишься... Хотя, может быть, ты и прав, — смилостивилась она, — с глаз долой — из сердца вон.

— погоди, дочка! Дай человеку тост сказать, — и Эпраси, обняв Бакури, поцеловала его в лоб.

— Ты что, мама! Думаешь, правда Бакури целуешь? Совсем стала старая... ничего перед носом не видит!

— Ладно, ладно, девочка! — улыбнулся дочери Эстатэ, потому что все рассмеялись.

Но Эстатэ лишь показалось, что все смеялись, двоим в этом застолье уже год было не до смеха.

— Дядя! Братья! Племянники! — всех подряд тормошил Афрасион, и, когда Потола уселась за стол, он пристал к ней: — А ну-ка, уважь, уважь гостей, вертихвостка, что мы сидим все как бирюки, пьем да молчим... запевай, озорница!

— До песен ли, дядя?

— Самое время. Сейчас только и петь... Песня вроде лекаря, правда, Лади? Или не так, Илико? Бакури... у тебя отец вон какой умный, скажи... Тамада, твое слово — закон. Прикажи!

— Пошли тебе бог добрую песню и в горе, и в радости, дело хорошее, но ежели я рот открою, кругом меня разом все разбегутся, — весело пообещал Лади. — Пусть только меня на эту распроклятую войну пошлют и петь заставят, от меня немчура эта побегит, как овечий гурт.

— Подумаешь, тоже мне...

— Если я запою, тебе пушки колыбельной покажутся.

Благодатное вино сияньем пробежало по лицам людей.

— Давайте еще по одной — и полный порядок. Дело проверенное, — поднялся тамада.

— Еще по одной, и пусть Лади споет! — бригадир рад был, что люди ожили, но, чтоб после тоста опять все не сникли, он спрятал улыбку, как собака кость в землю.

— За здоровье девушек! — долговязый тамада поднял стакан, едва не задев прокопченную матицу.

Лади проследовал взглядом за его вознесенной рукой.

— И как только на войне — диву даюсь, друг, — он цел остался? — шепнул Лади справа от себя Афрасиону, слева — Илико.

— Цел-целехонек и еще пойдет, если пустят.

— Такому верзиле, говорю, не схорониться.

— А-а-а-а, — сообразил наконец Афрасион и заулыбался, покручивая ус, — трудно будет, ой, трудно.

Шутку Лади краем уха поймал Угулава и рассмеялся вместо Илико, за что схлопотал от тамады замечание, ибо ему — помощнику тамады — положено было следить за порядком, а не мешать.

— Чего же не посмеяться, хоть печаль немножко стряхнуть, — и Угулава обратился в слух, не успев погасить улыбку.

— Эй, Потола! За вас пьют, скажи что-нибудь! — оживился Афрасион.

— А чего говорить, дядя? — и Потола, прищурившись, оглянулась на Бакури.

— Скажи что-нибудь, — воспрял Угулава, — не все ж мы погибнем! — должность помощника тамады его вовсе пришибла, и, насупившись, он вздернул колом торчащий нос к закоптившему потолку.

Потола под столом толкнула Гугуту, знала — та ей после не спустит, и повела:

Погубитель мой,

Мой сосед, ты зачем, зачем запалил меня?

— Арало! — грянул стол.

Афрасион вскочил и, двумя руками подкрутив усы, подхватил таким могучим басом: «Ты зачем, зачем запалил меня?», что Лади рот разинул, будто впервые увидел Афрасиона и не мог в толк взять, откуда у такого смиренного человека прорезался вдруг такой громохочущий бас.

Как унять тот огонь,
Он жжет меня, жжет...

Потола устави́лась в потоло́к — не догадался бы кто...

— Арало-о-о!

Рад иди́ти на войну
У кого́ добрый конь...

Тонким, стылым, леденящим душу голосом подхватил Ноэ Угулава и протянул руки Афрасиону, прося подержать, — ибо взял я так высоко, что только басу твою мне под силу помочь, а пойду выше — останусь совсем одинешенек.

Рад вернуться́ с войны́
У кого́ жена́ верная...

— Арало...

А Бакури не слышал ничего, не видел, только, оцепенев, глядел в одну точку, не различая уже ни черной чохи, ни белого башлыка. Лишь пронзительно болело сердце оттого, что сидит перед ним она, без которой он жить не мог ни минуты, и больше им вместе не быть. Те, кто родили ее и растили, чуть не угробили хорошего, честного человека, за которым никакой вины не было. Пусть невольно, но если в этом деле и правда Гугута замешана, Бакури не позволит себе думать о ней. Даже если бы пострадал не дядя Лука, а другой человек, Бакури дня б не провел под их крышей, а не то чтоб влюбиться в кого-то из этой семьи. А победила в конце концов правда или нет, уже безразлично — все равно свое они сделали.

Вон сидит прямо напротив овца Авраамова, смятена, слезы глотает и прощения ждет.

«Правда, ждет? Или... Как сказал вчера дядя Лука? И ненависти недостойн!»

В жилах Бакури текла кровь его дяди, и она ударила ему в голову.

«Или я так малодушен и так люблю сам себя, чтоб не суметь обуздать свои чувства? Не знаю, что это будет за чувство, если я не возьму над ним верх и не взгляну правде в глаза...

Смиряться с предательством, уступать вероломству? Тогда чего ради этим ребятам идти на войну? Зачем Леону на фронт, мне, Мамуке, когда несправедливость, вероломство, насилие... Когда не имеет значения, существуют они или нет. Ради чего брать мне винтовку и идти воевать, если неправда в одной цене с правдой?

Раз не видишь, где правда, у друга или у недруга, и не знаешь, в кого надо стрелять, а в руках винтовку сжимаешь, значит, ты убийца, так же, как если любишь, а знать не хочешь, кого и за что. Похоть одна, без совести и души...»

Ты принес огня,
Ты зажег меня...

Песню сменяли тосты.

Уже год, как Лука вернулся, а жуткая эта история доползла до Бакури. Целый год Бакури думал только об этом, все мозги иссушил, а сейчас его голову распирало так, что казалось, голова вот-вот не выдержит, лопнет, и от страха, что это случится, Бакури вскочил и поднял стакан.

— Два слова! Мой тост! — так громко не то что за столом, мальчишкой в лугах он не кричал.

— погоди, браток, закончит наш почтенный хозяин — и тебе слово, рот не заткнут, — не уступал тамада двадцатидвухлетнему юнцу, которому взбрело в голову вскочить и кричать, когда тут были и постарше его, да и где это видано — посреди тоста слово изо рта вырывать.

— Не мешай, пусть говорит! — Эстатэ поставил стакан на стол. — Он дурного не скажет.

— А мы что, дурное говорим? — удивился тамада, ибо и хозяину дома не положено вмешиваться.

— Он у нашего очага вырос, я всегда любил его слушать! — Эстатэ откинулся на свернутую постель и замолк.

— Я, дядя Эстатэ! — взор Бакури напрочь примерз к чохе и башлыку, ему было теперь все равно, к кому обращаться, он должен был сказать, и сказать только одному человеку. — Так вот, дядя Эстатэ...

— Эй, дорогой, за меня и Гугуту пьют, при чем тут мой отец? — рассмеялась для виду Потола, но Гугута намертво сжала ее запястье, так что Потола обернулась — у этой девчоночки... ничего себе хватка — или это Бесо дотянулся к ней через Гугуту?

— ...дядя Эстатэ! — словно вызванный к доске ученик, он все твердил первую строчку в надежде оттянуть время, пока не подкажут или сам не нащарит что-нибудь в своей голове.

Да не тяни душу, скажи наконец, — бросилась Потола наперерез, выдернув руку у двоюродной сестры.

— Если в мире не будет справедливости... — о справедливости Бакури и хотел говорить, но говорить надо было не так, не произнося этого слова, а он с него начал. Сказал, назвал, в воду бросился — и теперь все равно, раз слово само выскочило.

— Так, сынок, так... А без справедливости — девяти-то душам! — как было выжить в этой прокопченной лачуге?

— Ты меня, дядя Эстатэ, лучше всех поймешь.

— Слушаю тебя, сынок!

— Ну так вот... за справедливость!

— Ты только нам объясни, в чем мы виноваты? — опять засмеялась Потола: знать бы, на кой черт он к тосту справедливость эту приплел. Пусть скажет, в чем он Гугуту винит, пусть не впрямую, но хоть намекнет — немедля, сейчас. Хоть бы язык ему развязали война и вино...

Может, того же хотелось и Бакури, но скрытый огонь, который он глушил сам в себе, так сейчас разгулялся, что хоть глухо, в намеке ему надо было прорваться наружу. Вот минута, когда он может сказать то, над чем он весь год ломал голову, но слова шли не те, и он слепо тыкался в свое сердце.

— Говори, парень, если есть что сказать, уже полдень! — напомнил попраный в правах тамада. — Вот-вот за ребятами машина придет, сидеть и кутить им не дадут.

— За ваше здоровье, ребята! — Бакури повернулся к Бесо, Лексо и Сосо. — С мотыгой в руках или с винтовкой, будьте всегда — за правду! А любить будете или убивать — так тоже за правду!

— Тебя что... твой папаша послал нас учить? — рявкнул Бесо и отодвинул тарелку.

— Эй, парень, я тебе! — приподнялся Эстатэ.

— Никто меня не посылал! — злоба перехватила дыхание Бакури. — Я в семье у вас не впервые!

— Год уже тени твоей не видали.

— А почему?

— Почем я знаю? Тебе лучше знать...

— Из-за несправедливости!

— Чего-о-о? — Бесо встал и поглядел на каждого, кто сидел за столом.

— Ты, парень, сядь! А ты, сынок, скажи, кто поступил с тобой не по правде, — ласково проговорил Эстатэ.

— Чтоб мне провалиться, кто обидел этого мальчишка? — всполошилась Эпраси.

— Несправедливость, дядя Эстатэ... Несправедли-

вость, тетушка Эпраси... И еще двоедушие и вероломство!

— От кого? От нас? От нашей семьи? — скрипнул зубами Бесо и снова поднялся.

— Какая разница — от кого?..

— Нет, нет, здесь что-то другое! — Эстатэ поднял трубку и встал во весь рост. — Говори, сынок, кто здесь из нас твой враг и завистник?

— Мой? Не о том речь, дядя Эстатэ. Я ненавижу жизнь и — боюсь — возненавижу людей.

— Этот парень не может пить! — заключил тамада. «Все у меня шло как положено, если б не этот строптивый гость», — казалось, хотел он сказать.

— За что невзлюбил, сынок, за что? — обняв Бакури за плечи, хозяйка усадила его на тахту и поцеловала в макушку.

— Никого я не люблю, тетушка Эстатэ, — он быстро поставил стакан на стол, повернулся к ней и обнял. — Ни тебя не люблю, ни дядю Эстатэ, ни отца, ни мать свою, ни братьев, ни твоих сыновей, никого не люблю, а всех ненавижу.

— Не плачь, родной... чтобы парень с таким большим сердцем — и всех ненавидел... Не то что ненавидеть, ты считаешь меня больше всех моих сыновей, — Эпраси прижала его к груди.

— Не-е-ет, тетушка, не люблю я тебя, — всхлипывал он, обнимая ее и зарывая лицо в седую копну ее волос, — ненавижу, всех вас ненавижу, и предадите все, и слову измените — все про вас мне известно.

— Бакури!

— Бакури, сынок!

— Успокойся, родной, умоляю тебя, успокойся!

— Заткнешься ты, в конце концов, или нет... всю душу извел! — заорал Бесо.

— А ты, — обернулся к нему Бакури, — ты думаешь, я буду здесь сидеть, а ты пойдешь драться с врагом, который напал на меня. Никому не прощу, что честного загубили, и меня вместе с ним. Я с тобой, Бесо, пойду на войну, нет, не с тобой, а раньше тебя... Я вот сейчас пойду... Сюю же минуту, а ты еще будешь сидеть здесь и час, и другой... А я пойду. — Он выскочил из-за стола, увернувшись от рук Эпраси, и — к дверям.

— Сынок, сыночек, Бакури! — Эпраси схватила его и не отпустила.

Перемахнув через длинную дубовую доску, на которой он сидел, к ним подскочил Афрасион, но Бакури уже окружили ребята.

— Пустите, ухожу я, пустите! Я сейчас ухожу... Здесь мне больше нельзя... Видеть здесь никого не желаю. Целый год мученья одни... Сколько можно еще? Хоть бы кто пожалел, сердца нет у вас! Сердца...

— погоди, Бакури, погоди, — мощными своими лапами Бесо схватил его в охапку. — С ума спятил, парень?

— Отпустите сейчас же!

— Не торопись, вместе отправимся...

— Ты думаешь, вы все думаете... я просто так... Без всякой причины? А я не могу больше...

— Что с ним стряслось?

— Нет, тут не вино виновато. Тут на вино валить нечего.

— И я, Лади, думаю — нечего! — поднял палец Илико.

— Я на глазах ваших вырос. Вот здесь, совсем рядом. Возле вашего очага. А на вас бога нет. Отпустите... Уйду я, уйду! Хоть буду знать, с кем воюю, стрелять в кого — буду знать... А здесь, здесь... Что я сделать могу? Сами видите, я ведь что говорил и опять скажу. Пусть неблагодарный я, беспомощный, слабый, пусть счастья мне нет... Ну у меня же и сердца не стало, ни гордости, да какой там гордости, я же как чурка с глазами, да не чурка... болванчик тряпичный, отпустите!

— Гугута! — крикнула Потолола и бросилась вслед за сестрой, умчавшейся через заднюю дверь.

На другой день в районной газете «Новая жизнь» на первой странице была напечатана фотография Бакури и сообщалось, что, выполняя свой патриотический долг, Бакури Парнаозович Амаглобели вступил добровольцем в ряды защитников Родины.

IX

Только вошли в вагон, как Ватути, чмокнув невестку и старшего брата, затараторил, что он уже столько ночей толком глаз не сомкнул, и сделайте милость, не обижайтесь, а мне б завалиться куда в уголок потемней и до Тбилиси глаз не продрать.

— А чего обижаться?

Леону и в голову прийти не могло на что-то обидеться, он бы сошел на своей станции, не став будить брата, а Нору все же задело, когда деверь, разжившись билетом в другое купе, быстренько смылся. На жену Леон и не взглянул, а если б и посмотрел, вряд ли б уловил неудовольствие на тусклом лице своей благоверной.

В купе осталось их четверо.

Неумело, но с пылким усердием младший брат пытался откинуть верхнюю полку. Он долго возился, и, когда под вагонную тряску полка наконец отвалилась, он долго еще хлопотал, пока Текла не взобралась наверх, ей под голову втиснули сумку, а ноги укрыли пиджаком. Тут и он наконец успокоился.

Может быть, одна Нора завидовала всей этой возне, но зависть ее не колола и не было боли, а Леон смотрел — привычное дело, — как хлопочет и возится родная душа, как смотрит крестьянин, которому в радость, когда сын в первый раз возьмет заступ, как смотрит художник, когда его сын, взявши кисть, начинает на холст накладывать краски.

— Что теперь делать будешь? — спросил Леон, пока Мамука, добравшись наконец до окна, не ушел в созерцание пробежавших мимо вагона синих гор и голубых рек.

— Что делать? — Мамука пожал плечами и поглядел в лицо старшему брату: а чего тут, собственно, спрашивать?

— Н-н-но ведь война?..

— А я почему знаю, что война...

Текла подвинулась к краю полки и, подпершись кулачком, глядела вниз.

— А разве нет?

— Может, и нет...

— Мамука, — окликнула сверху Текла.

Нора улыбнулась своей блеклой улыбкой, как улыбаются в горе.

— А откуда мне знать? — Мамука посмотрел на нее.

— Мир вверх тормашками, а тебе неизвестно.

Это попрекнула и встревожилась женщина, у которой семья, и Нора своим женским чутьем тотчас почувствовала все, что произошло между младшим деверем и этой девушкой, хотя, как обычно, на лице ее не выразилось ничего.

— Я к т-т-тому, что, если меня заберут, я тебе помочь ничем не смогу... — попытался оправдаться Леон.

— Воля твоя...

— Какая там воля, если сразу на фронт.

— На фронт? Ты что, навсегда собрался туда?

— Пока война...

— И долго тянуться ей?

Леон почесал в голове.

— А шелкопрядов своих... вы что — так и бросите? — потрясенная Текла поглядела на братьев: такое — и позабыть.

— На один денек не могу бросить.

— Что дом у него и семья — обо всем позабыл. Днюет там и ночует, — как не о своем произнесла Нора, будто девочкой играя в дочки-матери повторила упрек, подслушанный у взрослых.

Поезд подходил к Риони, когда Нора молча пожала руку Теклы, а Леон, лишь кивнув, протиснулся в дверь прежде беременной жены, но чуть погода снова вернулся, громко топая по коридору, бросил на столик билеты и быстрее назад.

— Мамука! Что же ты сидишь? Проводил бы... — удивилась Текла.

— Куда?

— Как куда? Хоть до выхода.

— Конечно... — бросился Мамука вслед за братом с невесткой.

«Какая я счастливая, — Текла легла на спину и закрыла глаза, — брата с невесткой и то не додумался проводить, чтоб меня одну не оставить, — глаза у нее вдруг широко раскрылись и уставились в потолок без всякого смысла. — А почему все идет именно так? У всех так или это Мамука такой? — она побоялась думать дальше и оборвала мысль. — Наверное, так бывает всегда, когда очень любят и друг без друга не могут. Тем более, когда стали близки навсегда. Наверное, так и бывает, да, да, да...»

Поезд стал.

Подвинувшись к дверям, Текла высунула голову в коридор.

По проходу сновали люди, что-то таща, толкаясь и переругиваясь.

«Изменилось все как-то. Когда сюда ехали, не так было...

Долго мы будем здесь стоять?..

И чего я смотрю в коридор? В окно надо, Мамука сейчас на перрон выйдет».

Она поползла обратно и, уткнувшись в окно, чуть не вышибла лбом стекло.

«Почему окно не открыли?» — она попыталась опустить раму.

Рама с шумом упала.

Мамука шел между братом и невесткой прямо к вокзалу.

«Господи, что со мной будет и с ним, с таким вот, как он?»

С таким, как он? — пронеслось в ее мыслях, так счастливо, что сжалось сердце. — Не додумался их проводить, а теперь куда он отправился? А если опоздает и поезд уйдет? Что со мной будет? Выпрыгну из окна! — сообразила она и, успокоенная, вернулась к разговору с собой.

— Ты погляди только, как он идет!

— А как он идет?

— Нос вверх задрал и шагает себе.

— Чем глядеть под ноги, лучше в небо.

— А что там такого в здешнем небе, над станцией?

— Не всегда, конечно, но вообще-то он любит глядеть вверх.

— Господи, если споткнется? Вот обратно пойдет — и на первом пути с ним что-нибудь и стряется.

— А что может стрястись? Ты сходишь с ума.

— Разобьется, как стеклышко. Споткнется о первый путь и головой о второй».

— Мамука! — громко позвала Текла, когда дежурный по станции ударил в колокол. — Осторожней! — Мамука, конечно, услышать не мог, но ей стало спокойней, будто и в самом деле она что-то предприняла.

«Что со мной? — удивилась она. — Может, это все оттого, что война?» — она опять побоялась думать дальше и стала глядеть на Мамуку, который уже возвращался.

Он и правда споткнулся, но не на путях, а возле вагона и, громко топая по ступенькам, поднялся вверх.

Поезд тронулся.

«Идет!» — Текла отодвинулась от окна и, вжавшись спиной в переборку, затаилась.

В открытое окно ворвался ветер, взвихрив волосы, длинные, до плеч, и черные, как ежевика.

— Сквозняк! Затвори дверь, Мамука! — только это она и сказала, подавшись к нему. — Закрой! — повторила она, стоя на четвереньках, словно красивый хищный зверь, и ожидая, когда ее пожелание будет исполнено.

И когда он повернулся спиной, она прыгнула, повисла на нем, и оба рухнули на скамью.

— Тебе не больно, не больно? — шептал он, когда ему удавалось ускользнуть от ее пылающих губ, но она слышать ничего не хотела.

«Отчего это со мной? Откуда? Что нашло на меня?» — говорила она себе, покрывая поцелуями его шею, грудь, рубашку, голову, и, только Мамука рот открывал, она вся прикидала к нему, заставляя молчать. Самозабвенно и яростно, гибкой пантерой она устремилась к нему, и ему оставалось лишь не мешать.

— Что со мною, Мамука, скажи? — ладонями она крепко стиснула его шею и обожгла: — Сомной беда будет!

— Что, что может быть? — он еще в себя не пришел от ее ласк.

— Беда на наши головы, — ожгло его снова.

— Текла!

— Вот увидишь, так и будет, — сникла она, руки ее опустились, и она осталась у него на груди, легко и бесплотно, словно тело ее ускользнуло из платья.

— Почему? Что случилось?

— Я не знаю...

— Ничего не будет, что может быть? — теперь он крепко прижал ее к себе, словно боясь, как бы она не выскользнула из рук, и поглядел ей прямо в глаза, открытые широко.

— Не знаю, — едва слышно произнесла она и, вяло обняв, пригнула к себе его голову и тронула губами его губы.

Она не поцеловала его, только осторожно, дрожащими губами проскользнула, едва касаясь, по его лицу, по усам, только густеющим, тонким, прозрачным и нежным как шелк, по ресницам и векам, по бровям и совсем не заметным морщинкам на лбу.

— Ты очень устала, Текла?

— Нет...

— А что же?..

— Я была такая счастливая эти дни...

- Разве может быть лучше?
- Нет, но все-таки как-то не так...
- А как должно быть?
- Иначе, наверное, и не бывает.
- Почему?
- Я не знаю...
- Ну и не знай. Все было, как быть и должно.
- Нет, так нельзя. Никак нельзя.
- Что нельзя? Что нельзя??
- Нельзя так, — и она, ослабев, соскользнула с груди его на колени.
- Если что-то не так, ты скажи, не молчи...
- Что сказать?
- Я не знаю. Только не скрывай от меня ничего.
- И не скрою. Разве я могу что-нибудь скрыть от тебя?
- Тогда что же мне думать?
- Просто нельзя так — и все.
- А как можно?
- Почему, почему все так получилось?
- Что получилось?
- Да то, что твоя мать ничего тебе не сказала.
- А что ей было сказать?
- Тогда он почему, как родню, меня встретил?
- Кто он?!
- Да тот, что обогнал нас по дороге к реке? А вечером даже на нас не взглянул.
- Ты про Лади?
- И дядя твой — ничего, ни словечка. Почему когда все прощались, твоя мать была сама не своя?
- Сама не своя? Моя мама? Может быть, потому, что сейчас все пошло по-другому?
- Почему по-другому? Не увидит она меня больше, что ли?
- Текла! Да ты что?
- Почему Ватути сбежал и нас оставил одних?
- Сбежал? Спать захотел, вот и сбежал. Он, знаешь какой! Сам себе голова — это отец так о нем говорит.
- А Леон с Норой?
- А что Леон с Норой? Они сошли, как обычно, и пересели. Ведь они не в Тбилиси живут. Ты что, не знала?
- Почему же не знала? Они живут в Кутаиси. Ты много раз мне говорил.

- Тогда что тут такого?
- А почему билеты у них до Тбилиси?
- Какие билеты? — Мамука обвел взглядом купе, словно билеты могли прилепить куда-нибудь к стенке или, может быть, к потолку.
- На столе вон оставили.
- Для нас? — Мамука взял билеты. — Да, до Тбилиси.
- А почему? Скажи мне, почему?
- Почему да почему... А потому... — он улыбнулся.
- Нет!..
- Ну уж...
- Нет, нет, Мамука! В другое время, так бы все не было... Кто-кто, а уж твои родные... никогда б так не сделали.
- Ну и сделали, подумашь...
- Это теперь.
- А что уж такое это — теперь?
- Что-то им известно... больше, чем нам... — Текла встала, одернула платье и пальцами расчесала волосы.
- Что и всем, им известно.
- Но не как нам. Война это такое несчастье, нам даже не снилось.
- А что в ней такого может быть?
- Мамука, ты на войну не пойдешь? Ты меня не оставишь? — Она повернулась к нему и так пристально поглядела ему в глаза, будто боялась, что Мамука что-то предпримет, от нее утаив.
- Не знаю, может быть, если так полагается... Кто-то кого-то должен оставить.
- Мамука! — она вздрогнула, и рука, протянувшаяся, чтобы обнять его, повисла в воздухе. — Ты думал об этом?
- Нет, не думал. Когда было думать? И с чего? — он перехватил ее руку, пальцы ее были ледяные. — Что с тобой, Текла? Ты чего испугалась?
- Ты... Ты же знаешь... про отца моего, а мама не сегодня, так завтра...
- Не надо об этом!
- Я ведь не говорила никогда...
- И сейчас не надо.
- У меня сейчас, кроме тебя...
- Не надо, Текла, бояться!
- А если на фронт?
- Ну и что? Пойду, раз все идут...
- А мне куда?

- Тебе? — он дошел до края, дальше пути не было.
— Мне.
— Постой! Но я же уйду не навсегда?
— На войне не известно, кто вернется, а кто... — она замолчала. — Не понимаешь, что ли?
— Что?
— Я остаюсь без тебя.
— Когда? — он прижал ее холодные пальцы к шее, потом провел ими под подбородком.
— Если война...
— Ну и что?.. Война так война. Сколько тянуться ей? Ну, неделю, две... месяц, правда ведь?
— Без тебя?!
— Ну а как?
— Ладно, месяц, а дальше?
— А дальше? Дальше — вернусь.
— Через месяц? — Текла осторожно вытянула руку у него из-под подбородка и приложила к сердцу.
— А как же? Не навеки мне там оставаться.
— Не навек, если только... — и она опять замолчала.
— Что если? — улыбнулся Мамука, и взгляд его устремился к окну. — Думаешь, все дотла уничтожат?
— А если — с тобой?.. Если еще хуже этого?
— Что хуже?

Поезд бежал через мост.

— Погляди, Текла! Вот отсюда начинается черная речка! — Мамука привстал.

— Не хочу смотреть! — она усадила его рядом с собой.

— Да ты что, думаешь, раз война, так в меня стрелять сразу станут?

— Ну, что ты говоришь?.. Но вот как ты будешь стрелять? Так возьмешь, да и выстрелишь в человека?

— Я? Никогда.

— Вот видишь! А другой... он такой же, как ты.

— Но война есть война. Пусть в меня и пальнут — не помру же я сразу?

— Зачем ты так страшно?

— А затем, что этого быть не может.

— Не может...

— Ты вот посмотри! Мы с тобой, да мама еще, отец, братья, двоюродные братья... вон сколько нас, не пересчитаешь. Кругом людей сколько... А тут взяли пальнули — и всё?

— Нет, нет, конечно!

— Ты в окно погляди. Когда сюда ехали, тебя от окна оторвать нельзя было. А сейчас тебе все померещилось, на красоту эту глянь — и поймешь...

Облокотившись о столик, она уставилась прямо в окно.

— Нет, все сегодня другое.

— Ничего не другое. Бывала и раньше война, а все как было, так и осталось.

Он подхватил Теклу и усадил на столик. Глаза ее ничего не различали за окном, но противиться ему она не хотела.

Х

На первом пути вдоль перрона старого вокзала бесконечно тянулся длинный эшелон с мобилизованными, и, чтобы попасть на привокзальную площадь с пассажирского поезда, который загнали на второй или третий путь, надо было обойти эшелон, которому не было видно конца; одни проползали под вагонами, другие лезли по буферам, третьи исхитрялись взобраться на крышу вагона и прыгнуть с той стороны... Пассажирский загнали в тупик, где не было ничего похожего на перрон.

С нижней ступеньки вагона Леон еле дотянулся до земли и пошел по гальке, черной от мазута.

— Ты куда? — услышал он за спиной раздраженный голос Нору.

Леон обернулся и, забыв поставить на землю сумку, протянул ей обе руки. Она доверчиво отпустила ручки, и тяжелое тело с крутых ступеней устремилось прямо к нему. С поспешностью, ему непривычной, он бросил сумку, но не успел протянуть ей освободившуюся руку — и она, вскрикнув, боком повалилась на гальку.

— И-эх! — он поднял ее с земли легко, словно куклу, и попытался поставить на ноги.

— Ой, бедная! — пожилая женщина в ситцевом платочке, повязанном у подбородка, приворавливаясь, как половчее спуститься с площадки вагона, живо прыгнула на землю, бросила возле сумки Леона чесучовую гранатово-красную торбочку, подхватила Нору, которая валилась из его рук, и посадила на землю.

Нора стала вся белая, глаза закатились, и голова бессиленно викала. Она потеряла сознание, и, держа ее голову

на коленях, женщина принялась растирать ей виски и мочки ушей.

Набежала толпа, и Леон, окруженный людьми, только беспомощно озирался.

— Что с ней?

— Мать ты моя!

— Быстрее!

— Эй, воды кто-нибудь!

— Отойдите!

— Дайте воздуха ей глотнуть!

— Воды, воды! Хоть каплю воды!

Едва слово «вода» дошло до него, Леон сорвался с места и побежал. Он бежал между составами, тянувшимися с обеих сторон. Добежав до конца своего пассажирского поезда, он уткнулся в бесконечный эшелон, стоявший на первом пути, и, когда наконец обогнул его хвост, обнаружил, что давно миновал и вокзал, и свой поезд, и развилку путей. Сломая голову он бросился обратно к вокзалу. В памяти всплыло, что где-то был там кран с питьевой водой. В другое бы время нарочно не вспомнил. Он подбежал к воде, задыхаясь от бега, и оттолкнул мальчишку, припавшего к струе. Накрыв руками струю, но что толку... Заслонив ладонями воду, Леон, не мигая, смотрел на мальчишку, по лицу которого стекали капли воды, а мальчишка, разинув рот, тоже смотрел на Леона, забыв утереться хоть рукавом и недоумевая, зачем этот нахальный дядька прогнал его и не дал напиться, а теперь стоит и пустыми руками хочет воду поймать, видно, просто балуется — поплескаться ему охота в холодной воде.

Как внезапно возник Леон перед мальчиком, так внезапно опять побежал, сам не напился и другому не дал. Теперь его несло прямо к вокзалу. Только когда этот нахальный тип скрылся из глаз, мальчик очнулся и испугался. Он чуть попятился, чтобы тоже броситься бежать, но тут его озарила догадка — и он остался стоять, где стоял:

— Видно, на фронт!

Нить он больше не стал, а пошел вслед бежавшему дядьке, чтоб поглядеть, что еще может выкинуть тот, кто призван на фронт.

Когда Леон, схватив со стола дежурного по станции графин, в котором, по счастью, была вода, опять побежал вдоль эшелона, мальчик с перрона смотрел ему вслед, со-

вершенно уверенный, что призывники, идущие на войну, действуют именно так, ибо им терять нечего и на все наплевать.

Нора уже пришла в себя, и толпа поредела. Леон опрокинул воду жене на голову, и не отбери женщина в платочке у него графин, жена бы промокла насквозь и подол платья, обтягивавший колени женщины, на которых покоилась голова Норы, тоже был бы весь мокрый.

— Ничего себе быстренько, — раздраженно попрекнула женщина.

— Но мне же в-в-воду велели... — растерялся Леон и нагнулся к жене. — Нора, ты как? Ничего? А? — он глядел на ее живот, чтобы что-то понять, если б у жены не нашлось для него утешенья.

— И зачем таким недотепам жениться? Нет, всем, видите ли, надо жениться и замуж... — злилась женщина в платочке.

— Сам не знаю! — Леон попытался попасть в тон женщине, благодарный ей за помощь и жалость. — Н-н-ничего с ней не случилось такого?

— А чему еще тут случиться, раз больше нет человека?

— Ой, несчастная! — проговорили над ними, и Леон обернулся на голос.

— П-п-почему? — дар речи уже совсем оставлял его.

— Почему, почему? — упорствовала женщина в платочке. — В такое время ей не то что упасть, ветерок не должен ее коснуться.

— Так уж и всё?

— Помолчи лучше.

— М-м-молчу, — Леон опустил на корточки перед Норой, лицо ее было бело, как полотно, у него не хватало смелости ни коснуться ее, ни заглянуть в приоткрытые глаза, он только выдавил из себя:

— Н-н-нора! Нора, м-м-может... Нора, а Нора...

— Долго мы будем так сидеть? — проворчала женщина в платочке. — Пора двигаться!.. — в поредевшей толпе она поискала глазами, кто бы ей мог пособить, — бедолага этот, чумной какой-то...

— Д-д-да я... — вскочил Леон, готовый куда угодно бежать.

Со стороны вокзала торопились носильщик и женщина в белом халате — с носилками.

На привокзальной площади без дела били копытами о булыжник и позвякивали колокольцами лошади, запряженные в фаэтоны, — тревога и беспокойство хозяев, оставшихся без клиентов, передавались им.

Только сейчас, таща носилки с женой, при виде сгрудившихся фаэтонов и свободных извозчиков, Леон сообразил, куда он спешил, когда, спрыгнув на землю, бросил Нору на ступеньках вагона.

В обычное время, стоило приехавшим рассосаться, как привокзальная площадь мигом пустела, и заверни в это время извозчик на площадь, клиента поди поищи. Все это Леон прикинул в уме еще в поезде, но тогда не только что он, но самый предусмотрительный ум не смог бы предвидеть, что на первом пути окажется товарняк, а пассажирский загонят в тупик, не приспособленный принимать людей.

Леон понимал, что долго ждать лошадей беременной Норе будет невмочь, да они еще так устали с дороги, а пешком плестись в другой конец города ей уж совсем не по силам.

«Фаэтон нужен нам, фаэтон», — думал он, выходя из купе, спускаясь по ступенькам вагона и уже касаясь ногой земли. Как всегда и во всех делах, он боялся опоздать и поставить себя в неловкое положение. Впервые он поторопился в тот день, когда появился на свет, опередив своих братьев, во второй раз, наверное, сегодня, — и тогда, и теперь он проиграл.

Когда носильщик и санитарка в белом халате уложили измученную Нору на носилки, женщина в ситцевом платочке, подхватив чесучовый свой узелок, а в другую руку взяв их сумку, пошла рядом с носилками, которые тащили носильщик с Леоном.

— Бедная ты моя, горемычная, жаль ты моя несчастная, — причитала она от полного сердца.

Когда вконец обессиленную Нору усадили в фаэтон, женщина подсунула ей под голову сумку и растерянно огляделась, будто все происшедшее было единственной целью ее появления в этом городе и теперь надо было придумать, куда дальше податься.

— П-п-поехали с нами, — сам не зная зачем позвал ее Леон, не сказав и спасибо.

— Все женятся, все спешат замуж, несчастные, — она

печально посмотрела на Нору и рассердилась.— Чего тянете? Живую не довезете, будете мямлить да канителиться.

— Гони, гони! Пропади оно пропадом! — закричал и Леон.

Извозчик со своим экипажем подался назад, чтоб обогнуть передний ряд фаэтонов, натянул вожжи, свист кнута рассек воздух, и лошади двинулись по совершенно пустой площади.

— Куда ты назад?

Лениво таща трясущийся по торцам мостовой фаэтон и монотонно позвякивая колокольцами, лошади выбрались наконец на дорогу.

— Куда едем? — спросил Леон обернувшегося к ним извозчика.

— Он меня спрашивает, — удивился извозчик, уже отчаявшийся заполучить в такой день клиента, но быстренько подавил удивленье смешком из страха обидеть клиента.

— Под гору д-д-давай, а там...

— В Карубани или Мцване?

— М-м-м-цване... — начал было Леон, но тут наконец фаэтон свернул в улочку, и на повороте он увидел женщину с красным узелком, которая, заслонив от солнца глаза рукой, глядела им вслед.

— Спасибо! — крикнул Леон.

«И за что он спасибо?» — подумал извозчик, обернувшись к своему пассажиру.

Фаэтон встряхивало, и голова Норы съехала с сумки.

Женщина с узелком скрылась за поворотом, и только тогда, будто раньше не разрешалось, он обнял больную жену, не зная, как быть, опять ли подsunуть ей сумку под голову или пусть так и лежит, откинувшись на спинку сиденья.

— П-п-плохо ей, совсем плохо... быстрей! — закричал он не извозчику, а поникшей своей жене, и слезы застлали ему глаза.

XII

Чем парень хорош, а чем плох — тут чужому другой раз поверишь скорей, чем своей родной матери, но что касается матери Норы Эленз, вдовы знаменитого на всю

округу каменотеса Иосифа Микашавидзе, ей верить стоило больше, чем всем. Дочь знаменитого каменотеса не унаследовала ни отцовских талантов, ни ума своей матери. Девочка вышла вялая и с трудным характером. Не увлекаясь ничем и не радуясь пылко, она тихо росла, после школы закончила курсы бухгалтеров (так мать настояла) и пошла работать счетоводом в опытное хозяйство, живописно раскинувшееся на городской окраине километрах в полутора от дома Микашавидзе.

Иосиф Микашавидзе, знаменитый мастер по белому камню, уже шесть лет как отошел в лучший мир. Произошло это так.

Однажды, получив деньги за отделку трех фасадов в соседнем районе, над которой он гнул спину целых три месяца, трудяга, подвыпив, решил уже за полночь вернуться домой. Так как дело было закончено и достойно отмечено вместе с хозяевами, любовь к жене, дочери и двору своему с такой силой охватила его, что хозяйева, как ни старались, не могли уговорить его остаться у них до утра.

На просеке в безлюдном Музхатеврском лесу его настигли какие-то темные люди — то ли шли за ним по пятам, то ли постоянно обретались в здешнем лесу. Микашавидзе, двужильный трудяга, работавший не покладая рук, цену копейке знал и не пожелал отдавать негодьям то, что добыто было горьким потом. Бандиты отобрали у него все и заодно отбили все внутренности. Два месяца этот здоровила харкал кровью. Доктора и знахари оказались бессильны, и хозяину пришлось навсегда покинуть свой искусно отделанный дом, который приковывал взор всякого, кто шел мимо, одним только тем, что на вершинах столбов из белого камня при входе в усадьбу парил музыкант, бьющий в доли¹, и кутила с рогом в руках.

Осталась облаченная в траур Эленэ и тоже вся в черном белолицая тихая дочь (прежде Нора в черном не появлялась, и теперь все удивлялись белизне ее кожи).

Эленэ, хоть она и двух слов прочесть не могла, дурой никогда не слыла, а сиротство и вдовство вдвое обострили дальновидность ее и ум.

Тут как тут объявились притязатели на дом и хозяйство, отлаженное, как часы. Вечная труженица Эленэ не привлекала уже той нежной прелестью, от которой муж-

¹ Народный ударный инструмент.

чины сходят с ума, но вдовый траур, таинственно и влекуще выделявшийся на белокаменном фоне прекрасного дома, утопающий в зелени двор, виноградник, ухоженный, как единственное чадо, и трехстворчатые ворота, заставляли вождельть многих бесштаных бездельников, зарящихся на плоды чужого труда. Однако Эленэ хватило ума догадаться, откуда пылкость ее воздыхателей, победить свою женскую слабость и свахам насыпать соли на хвост.

Прошло еще время, и возле Норы стали крутиться воздыхатели — она тогда еще в школе училась. Эленэ и тут не позволила себе ошибиться. Ей было ясно, что никого обольстить ее дочь не может. К тому же была она совсем еще девочка. Женихов прельщала усадьба, взлелеянная стараниями Эленэ и Иосифа Микашавидзе.

Наконец учение было закончено. Нора пошла работать, и как раз в это время подросла ее девичья пора: женственность в ней заиграла, забродили порывы, она стала живее в движениях, раньше даже не запоет, а теперь, глядишь, мурлыкает песенку или смеется тихонько. Но все равно не была она создана для пылких ласк и страстей, и если б нашелся такой удалец, что, одержимый любовью, безрассудно похитил бы Нору из дому в одной лишь сорочке, Эленэ бы зятем его не признала и на пушечный выстрел не подпустила б к отменно ухоженной усадьбе и к дому из белого камня, и бедолаге пришлось бы всю жизнь жилы рвать, лишь бы бесценная жenuшка ни в чем недостатка не знала.

Эленэ угадала в Леоне зятя прежде, чем это пришло в голову дочери. К благам земным в нем настолько не было жадности, что ради них он и не подумал бы жениться. Нора привела его с опытной станции привить райское яблочко.

В их саду не было райского яблочка для варенья. У мастера Микашавидзе до яблочка руки не дошли, а может быть, просто он о нем позабыл.

Отказать своему счетоводу Леон, конечно, не мог, хотя на опытном участке такая была пропасть дел, что даже съездить в деревню к отцу с матерью не выкроишь времени, из-за чего Парна чуть не рассорился со старшим сыном, но, однажды приехавши к нему сам, быстро разобрался, что тут к чему.

Был конец февраля, когда Нора, которую мать просто извела с этими райскими яблоками, очень робко, по-

девичьи застенчиво и не умея просить, напомнила Леону, что он обещал:

— Мама вас просила, не помните?

— В-вы!

— Да... о саженцах.

— А-а... Вам, кажется, н-н-нужно райское яблочко?..

— Райская яблоня, — поправила Нора, доверчиво кивнув и давая понять, что задней мысли тут нет.

Он не был избалован женщинами, чтобы забыть эту улыбку, не так уж много и обещавшую. Едва рабочий день кончился, как он был готов. Обычно же рабочий день кончался нормально для всех, кроме него, а он возился на участке до поздних сумерек. Но сегодня он отправился к Норе.

Ни каменных изваяний на столбцах ворот, ни прихотливой вязи, вьющейся вокруг окон, на удивление Эленэ, Леон не заметил. Он прилип к фруктовым деревьям и к «талавери». Не прося ни разрешенья, ни извиненья, там он срезал у дерева ветку, здесь укоротил лозу, в кармане у него нашелся и нож для прививки, и садовые ножницы, и крохотная ножовка, отлично выправленная, и, что самое главное, черенки, обмазанные глиной и укутанные в носовой платок с бережностью, с какой скряга таит от чужих глаз чистое золото.

Эленэ тут же и порешила, что Леон именно тот зять, который достоин наследства Микашавидзе, и пусть он заикается, но это мужчина с отменным здоровьем и твердый.

XIII

Веником из прутьев граната Эленэ подметала двор перед домом, когда у ворот остановился фаэтон, и она, как была, так согнутой и потащилась к воротам, словно ей в спину ударил камень, вывалившийся из резного наличника.

В таком же вот фаэтоне тогда привезли избитого Микашавидзе.

К воротам она подошла уже распрямившись, но, когда увидела единственную свою дочь, скорчившуюся от боли, без кровинки в лице, ее вновь согнуло.

Она повела совсем ослабевшую Нору через переднюю, через залитую солнечным светом комнату, в которой отец ее испустил дух, — не возрпала она, не спросила, что за

напасть свалилась на дочь... надо было думать, что предпринять: она засновала, больше не распрямляясь, и, сунув Леону деньги в карман, послала за доктором, чтобы доставил его на этом же фаэтоне.

— Привези кого хочешь, только не Чечелашвили! — лишь это велела она Леону.

Чечелашвили лечил Микашавидзе.

— А к-к-кого все-таки? — едва нашлось кому присмотреть за больной, Леона опять развезло.

— Кого хочешь!

— А кого я з-з-знаю...

— Извозчик знает.

— П-п-п-правильно!

Словно подстреленный медведь, Леон поплелся к балкону.

— Из огня да в полымя! — с жаром вырвалось у Эленэ, когда фаэтон исчез из виду, и, подойдя к круглому столику у балконной двери, на котором возвышалась хрустальная ваза и лежал семейный альбом, она вытащила из-под альбома повестку о призыве Леона и, положив ее на видном месте, пошла к дочери.

XIV

Доктор Дарасели, уныло покачивая головой и с полным безразличием на лице, мыл руки под умывальником с большим зеркалом. Эленэ, так больше и не разгибаясь с той минуты, как увидела фаэтон у ворот, сунула теперь Леону повестку.

— П-п-пришла?

— Вчера утром.

— Этого еще н-н-не хватало.

— А...

— И у нас в деревне получили, — попытался Леон утешить тещу.

— Получить-то получили, только... — «Беда-то у всех одна, да ведь у нас еще и свое горе», — но этого она уже не сказала.

— Я пока никуда п-п-пойти не могу! — Леон перевернул повестку, будто на ее обороте предусмотрен был его особый случай.

— Нет, — отрезала теща, — будут тебе в такое время разбираться, где правда, где нет, такого накрутят...

— А как быть?

— Ступай и расскажи им, что стряслось с нами... Может быть, разберутся, поймут.

— Не убегу же я от них в лес...

— Вот и езжай вместе с доктором, на лошадях. И так опоздал. С утра велели явиться.

Кокетливо разведя руки и громко стуча каблуками, Дарасели проследовал к балконной двери и остановился у вешалки в углу. Постояв немного в полной неподвижности, он удивленно обернулся к Леону и его теще.

— П-п-поехали? — спросил Леон доктора, холодно взиравшего на них.

— Так и пойдем? — доктор, казалось, был потрясен.

— А как же?

— Пальто ему подай, — растерялась Эленэ, сообразив, правда, раньше зятя, чем недоволен Дарасели, и снимая с вешалки пальто из тонкого светло-коричневого сукна.

Дарасели повернулся к ним спиной и опять замер.

Эленэ подала пальто зятю, который чуть было не сунул руку в рукав, но спохватился и уставился в лицо тещи, глаза которой явно хотели что-то сказать.

— Деньги в карман положи! — шепнула она, ему все надо было разжевывать.

— Д-д-деньги? — только сейчас Леон понял, почему в этот летний день, когда все вокруг плавилось от зноя, доктор явился в пальто.

— Я же дала тебе. У меня сейчас больше нет.

— С-с-сколько?

— Вынь. Сколько там у тебя?

— Я извозчику еще не платил...

Доктор смиренно стоял у дверей и не находил ничего необычного в том, что подать ему пальто не спешили.

XV

Фазтон свернул в узкую улочку, в которой кишело столько народу, что продвигаться становилось все трудней, извозчик осаживал лошадей. «С дороги! Сторонись! Хабарда!» — неслось с козлов, но крикам его никто уже не внимал.

Чтобы попасть в райвоенкомат, надо было свернуть еще раз, и Леон, выскочив из фазтона, двинулся сквозь спущенный во все стороны люд.

— Черт бы побрал! — спохватился он, сунув руку в карман.

Фаэтон тронулся было, но опять стал, едва козлы поравнялись с Леоном.

— В коммунизм прибыли? — бодро крикнул извозчик, намекая этому ротозею, что пора заплатить.

— П-п-почем я знаю? — оставшиеся деньги Леон поделил поровну и половину протянул извозчику.

Извозчик нагнулся, но к деньгам не притронулся.

— А с-с-сколько ты хочешь? Вроде бы я всегда так платил...

— Это, милый ты мой, до войны!

— А с п-п-позавчерашнего?

— А с третьего дни сено с овсом вдвое подорожало. Да к тому ж мне на лошадь повестка пришла.

— Ты сказал, на лошадь?

— Не лошади пришла повестка, а мне, понял? — извозчик повысил голос, видно решив, что, если с зайкой говорить погромче, он лучше поймет.

— Ты же в годах вроде...

— Не на меня повестка, лошадей призывают... завтра явиться.

— Л-л-лошадей?!

— Свободен? — нервно и сипло поинтересовались за спиной Леона.

— Чего там спрашивать, садись и привет! — парень с завернутыми по локоть рукавами и в расстегнутой рубашке прыгнул в фаэтон прямо с земли, минуя ступеньки.

— Ты, сынок, погоди! Я не рассчитался еще! — сказал извозчик.

— Какие там нынче расчеты, дядя?

— Погоди, я тебе говорю!

— Погодить? Я-то погожу, если мне дадут погодить... Давай, Автандил, лезь! Ты погляди на него, тут весь мир перевернулся вверх тормашками, а он жиреть ваду-мал. Давай побыстрей, хоть бы к матери поспеть...

Леон протянул все деньги, что были.

— Больше нет ничего.

— Всех врагов тебе победить! — крикнули в спину ему, но он не оглянулся.

От угла до дверей райвоенкомата стоял такой гвалт и такая царила давка, что невозможно было ничего разобрать и пробиться вперед тоже было нельзя. Казалось, все, кто был здесь, стали на одно лицо, сотни и тысячи пере-

плавилась в одну тысячеликую плоть и всего одной парой глаз эти тысячи плятятся сквозь забор во двор военкомата, из единого рта выдыхая тысячеустый стон.

— П-п-пропустите меня! — попросил Леон эту литую толпу, потому что не один кто-то стоял на пути, а все сразу. — Пропустите, м-м-меня вызвали! — пытался объяснить Леон, но когда объясняешь одному, есть надежда, что тебя поймут, а здесь и ухом никто не повел.

Бочком Леон протиснулся по тротуару, переступил через сточную канаву, наступил кому-то на пятку, но больно было только одной этой пятке, а тысячи эту боль не почувствовали, и на Леона никто не глянул.

Он остановился на другой стороне улочки против входа в военкомат, но перебраться на ту сторону было так же невысказано, как пройти сквозь живое тело.

— М-м-меня призвали! — из нагрудного кармана Леон извлек повестку. — Пропустите! — это вышло у него очень громко.

И — о чудо! Эта ставшая одним телом масса раздвоилась и пропустила его к милиционеру у калитки.

Милиционер в наглухо застегнутой гимнастерке, на которую стекал пот с подбородка, взглянул на повестку и попытался отодвинуть щеколду, которая изнутри двора прижимала калитку, но щеколда не двинулась.

— Отодвиньтесь чуток, ну хоть немного в сторонку! — голос милиционера прозвучал так жалко и безнадежно, будто и думать нечего было, чтобы голосу этому кто-нибудь внял.

Леон на шаг подался назад, но за спиной его была людская стена, и она не позволила сделать этот шаг.

— А ну, давайте назад! — во двор выскочили еще два милиционера и встали у входа, одному удалось наконец сдвинуть щеколду, и через едва приоткрывшуюся калитку напором толпы Леон, словно щепка, был выброшен во двор.

— Где же ты был до сих пор, черт бы тебя побрал? — хлопнул себя по лбу начальник части, едва взглянув на повестку и совсем, видно, забыв, что на голове у него фуражка, которая тут же отлетела назад.

— В д-д-деревне... — виновато произнес Леон, понимая, что грех его, видно, очень велик, раз начальник от волнения так побледнел и что удар по лбу был предназначен также ему.

— Чтоб ты пропал! — на мгновенье начальник совсем

ошалел, и лицо его вспыхнуло, будто уголья, когда на них дунули.

— Это зачем? — не понял Леон.

— Повестка пришла, ты читать-писать можешь?

— Могу.

— Пошли, будь ты неладен! — и, позабыв о фуражке, командир выскочил из комнаты.

Леон побежал за ним по коридору.

Добежав до клеенчатой темно-коричневой двери, командир врезался в плотную толпу, рассек ее, будто развалил сноп соломы, и нервно поманил Леона рукой.

— Давай-ка сюда, будь ты неладен! — он толкнул дверь, но вломиться в нее не смог.

— Что там у вас? — заорали оттуда, и, видно, очень сильно, раз даже сквозь обитую клеенкой дверь хорошо было слышно.

— Открой, комиссар, это я, Варден!

— Варден? Если ты Варден, откуда у тебя время назад бегать? — дверь отворилась, и весь на взводе военком с такой силой торкнулся в дверь, словно сам давно хотел выскочить в коридор и не мог.

— Вот этот... — начальник части было выругался, но спохватился, что с призывниками велено обращаться уважительно.

— Кто этот? Что тут еще?

— Явился только сейчас!

— Это который? — военком отступил от двери, а начальник части подтолкнул Леона сзади, и, с трудом удержавшись на ногах, Леон очутился посреди кабинета.

— Ведь его дезертиром... Мы ведь как договорились: отправим эшелон и оформим документы на дезертирство.

— А теперь как с ним быть? — военком, будто ушат воды на него опрокинули, повернул ключ в двери и, уронив на грудь голову, погрузился в задумчивость.

— Секретарю горкома звонить надо или кому там еще! — опять всполошился начальник части, полагая, что не время сейчас думать и колебаться.

— С тобой, Варден, вечно так... Ну что я буду звонить в горком?

— Т-т-товарищ комиссар! — Варден тоже стал заикаться. — А если все на меня свалят?

— Думаешь, секретарь горкома мне двоюродный брат?

— Я не думаю.

— А раз не думаешь, тогда помолчи лучше.

— Ну, а с ним-то что делать?

— Ты, Варден, не шуми! А вы, с вами давайте-ка поздороваемся.— И, протянув наконец руку Леону, он повернулся к своему подчиненному: — Думаешь, кабы не дела у него, он бы дома отсиживался до этих-то пор?

— Не знаю, товарищ военком, чего он там делал, но сейчас, когда уже все... Списки готовы...

— А медкомиссия где? Был же приказ — из военкомата ни шагу.

— С самого-то утра намытарились, бедные, будь они трижды неладны.

— Не хаами, Варден, не хаами!

— Я ж о врачах, товарищ комиссар, не им ведь на фронт!

— А куда вы отпустили этих бездельников? — теперь военком мог дать волю гневу, потому что дело не касалось призывников.

— Пошли пообедать, мы-то думали, всё — на сегодня.

— Какое тут может быть все у этих недоносков? Одних бумаг написать тонны надо, а жалуется — сколько? Недовольных — сколько? Покоя — ни минуточки. Один хочет родине долг вернуть — отпусти его. Другой ни видеть, ни слышать ничего не желает — чего, говорит, на фронте я потерял...

— Придут сейчас, — сказал Варден и привалился к стене.

— А вы садитесь, пожалуйста, — и комиссар пододвинул Леону стул, — на что-нибудь жалуетесь?

— Нет!

— Значит, здоровы?

— Да.

— Нет, если вас что-нибудь беспокоит, я скажу врачам, они рядом тут, — и он повел в сторону Вардена красными от бессонницы глазами.

— Нет, нет! Не хочу на к-к-комиссию!

— А с речью... как бы это сказать, вы всегда так говорите или только сегодня, сейчас?

— Эт-т-то ничего! Это всегда!

— К армии считаете себя непригодным?

— Я не из-за этого, нет...

— Так что же вас беспокоит?

— Д-д-другое, тут дело такое...

— На комиссию, — повернулся комиссар к командиру

части и строевым шагом направился к письменному столу.

— Не хочу на комиссию, — бросил ему в спину Леон.

— Если что-нибудь такое, без заключения врачей я не могу...

— Д-д-другое у меня... с семьей.

— Что семья, погубишь ты свою семью, — протянул Варден, пока комиссар усаживался за письменный стол.

— А то семья, что ж-ж-жена у меня.

— Чтоб им пропасть всем, — взвился начальник части, вспомнив, что Леон призывник.

— Она и так пропадает, моя с-семья, з-з-замолчи, а то... — и Леон, схватив стул за ножку, поднял его над головой, но сидевший за столом военком очутился вдруг между ним и командиром части, а уважение к военкому не оставило Леона даже ярости.

— Что здесь происходит? Как вы смеее? — закричал комиссар, но гнев его, едва он перехватил стул у Леона, перекинулся на Вардена, — вы забылись, товарищ Варден!

— У него жена, видите ли... Чтоб им всем пусто было... — И, прикрыв рот рукой, Варден объяснил военкому, что если это не сумасшедший, то какое кому сейчас дело до его жены.

— Жена, говоришь?! — от удивления глаза у военкома на лоб вылезли, и он сделал поворот кругом.

— У меня жена к-к-кончается...

— Ах, вот оно что! — выражение сомнения сменилось на лице военкома серьезностью, как у Вардена. — Все бывает, товарищ Варден, мы должны выслушивать людей и отвечать им как должно.

— Если им всем дать говорить, их тысяча, дел у них — десять тысяч, а я один...

— Ну, хорошо! Все понятно, — комиссар так четко и резко взмахнул ладонью, что Леон понял: конец разговору.

— Как же нам быть? — крадущимся шагом направился к дверям начальник части.

— Никакой он не дезертир и не изменник родины! Пусть с опозданием, но явился. Всю ответственность я беру на себя... Проводите его на комиссию... В людях я не ошибаюсь.

— А ж-ж-жена? — не подчинился Леон Вардену, который грубо схватил его за руку, чтобы вести.

— Он опять о жене, товарищ комиссар! — и командир, обтерев рукавом пот со лба, выбежал, изловчившись распахнуть дверь так, словно она сама перед ним распахнулась.

— Жене?.. О ней не беспокойтесь... у нас же врачи и адрес ваш есть, пошлем, поможем... все будет как надо...

— Не могу я с-сейчас идти никуда!

— Я понимаю, для вас сейчас это очень трудно. И мне трудно, и Вардену нелегко, но положение очень тяжелое. Война, товарищ... Война! Как вас зовут?

— Леон.

— Товарищ Леон! Вероломное фашистское нападение на нашу родину... и что же нам теперь делать? Родина-мать зовет... Будь это обычная срочная служба в мирное время, я бы не то что на пару дней, на год отсрочку б дал вам... а сейчас я бессилён.

— Н-н-не м-м-могу, да еще у меня на руках хозяйство, опытный участок...

— За участком присмотрят, товарищ Леон, за всем вашим хозяйством присмотрят. Ты же не сам его бросил или как-то еще там...

— Так э-т-то ж мой, мой участок, другой никак не может за ним... ведь там о-о-опыты.

— Я все понимаю, — военком опять поднял ладонь, а другую руку положил на телефонную трубку. — Идите сейчас к начальнику части, — на язык он скор, а так ничего, с усталости нагрубит, но человек золотой и службу знает, все сделает как надо... На финскую тоже он оформлял... Ну, до свиданья! — он опустил трубку на стол и, звонко хлопнув по ладони Леона, с силой стиснул ее, а другою рукой обнимая Леона за плечи, проводил его до двери, где в Леона воткнулись десять пар округлившихся глаз, неподвижно вперившихся в дверь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

На первой же узловой станции поезд выбился из расписания и дотащился до Тбилиси только к вечеру, когда солнце уже садилось.

Ватути поджидал Мамуку с Теклой у выхода на перрон, всем своим видом давая понять, что уж кто-кто, а он

умеет держать себя: в купе ни разу не сунулся, вас не смущать, и вам тоже, если за мной кое-что водится, лучше держать язык за зубами, я вопросов не задаю, но и вы, будьте любезны, ведите себя как люди.

Но пока Мамука выбирался из вагона, а Текла, оглушенная сперва неведомым своим счастьем, а после назойливым страхом, бессмысленно суетилась, пока Мамука помогал кому-то сойти, бросив сумку на площадке вагона, а Текла возилась с трехлетним малышом, мать которого держала на руках еще грудного младенца, за это время народ рассосался.

С перрона Ватути направился на привокзальную площадь, решив, что, пока он выбирался из вагона, они уже вышли и где-нибудь теперь его поджидают. От Мамуки проворства не жди, но с девчонкой все пока непонятно, — может, отстали, а могут и обогнать.

И тут он видит, к вокзальным кассам держит путь Цотне Мониава, секретарь комсомола их института. Будь кто другой, сокурсник или даже приятель, Ватути не подумал бы его окликать, разве только если б носом к носу столкнулись, тем более что Мониава шел явно по делу, но упускать случай начальству попасть на глаза, или вообще человеку нужному, было не в правилах Ватути, тем более сегодня, когда Мониаве и в голову прийти не могло, что Ватути навязывается.

— Цотне, — бросился за ним Ватути.

Мониава шустро обернулся, окинув взглядом всю площадь и продолжая, однако, держать путь прямехонько к кассам. Одного взгляда достало б, чтобы узнать ковыляющего к нему хромоножку, хотя после столь радостного оклика он ждал увидеть скорее близкого друга или родню, чем некоего Амаглобели, их студента, который однажды на факультетском собрании из кожи лез, защищая студенточку весьма лихого поведения, а после, уже один на один с секретарем, пытался себя обелить, поскольку собрание все-таки вынесло виновнице строгий выговор с занесением в личное дело и в институте она осталась условно.

— Ты, Цотне, куда? — Ватути еще на ходу протянул руку. — Здорово! Что случилось? Несутся все сломя голову.

— Что значит... случилось? — Мониава пожал руку Ватути, твердо глядя ему в лицо: сомнений не оставалось, именно этот окликнул его.

— Я понимаю — война... но чего уж вы так, будто весь белый свет погибает?

— Поди знай... Да, кстати, — секретарь комитета должен был радеть об учебе, и обычная важность вернулась к нему, ибо он вспомнил, что дела есть дела, а с этим студентом он в приятелях не ходил, — ты на каком у нас курсе?

— Цотне! — не удержался Ватути, который ждал чего угодно, но не того, чтоб Мониава не знал, с какого Ватути курса.

— Да-да, ты ж с четвертого, на пятый перешел...

— Еще год — и конец, — подтвердил Ватути, словно быть того не могло, чтоб Мониава не помнил.

— Тебе, знаешь, в институт надо явиться!

— Ничего я не знаю, — всполошился Ватути, словно не встретить он Мониаву, просто б погиб. — А зачем надо являться, если не секрет, а если даже секрет... — и он подмигнул Мониаве, словно вот-вот хлопнет его по плечу.

Мониава двинулся дальше, явно спеша.

— Приходи, все узнаешь, — бросил он уже на ходу.

— Да о чем говорить, узнаю, конечно, а сейчас устал до смерти, прямо с поезда, домой ездил, в деревню. Брата с невесткой жду, — невестку он присовокупил, чтоб Цотне понял, почему Амаглобели идти с ним не может, и если Мониаве не до того, чтобы ляды точить, так и Ватути без дела не шляется.

Он повернул обратно, вконец обозлясь на Мамуку, было б отлично, если б они с Теклой попались сейчас на глаза Мониаве, а то вообразит еще, что Ватути нарочно наплел тут с три короба, чтобы до касс не провозжать.

Наконец и они показались: Текла с зареванным карапузом на руках, который тянулся к матери, не желая понимать, почему мать на руках несет только брата, а его не взяла, Мамука, увешанный узлами и тюками, и две старухи с ними.

— Куда вы пропали? — всплеснул руками Ватути, укоризненно улыбаясь и улыбкой давая Текле понять, что Мамукой он, да, недоволен, но и она виновата, однако же ей он улыбается... — Это что еще за картина? Ребенок!.. Поздравляю вас! И барахла... — он смерил Мамуку взглядом от ног до макушки. — Собрались в момент — и барахла столько? — Он смеялся, одобряя и радуясь, что

все как надо идет и люди есть люди. — А меня знаете кто на вокзале встречал? Сам секретарь комсомола, он даже не знал, когда я приеду, а ждал. Тебя, говорит, всюду ищут. Вот только что тут стоял, просил до касс его проводить. Тебя, говорит, все тут знают, да из-за вас, боюсь, я обидел его.

— Мамука! — Текла остановилась и опустила на землю малыша, который тут же вцепился в материнский подол.

— Да ну его, с его секретарями, — Мамука продолжал путь вместе со всем своим грузом, — договорятся, не бойся. — Он шел к трамвайной остановке, а по бокам его покорно семенили старушки.

Текла подхватила мальчишку, не желавшего отпускать материнскую юбку, а мать шагу ступить не могла, да еще с малышом на руках.

— С поэтом какой разговор, — сам от себя отмахнулся Ватути, однако тут же примирился с судьбой. — Ладно, ладно, — бросил он вслед Текле, уже не надеясь, что Мамука может его услышать. — Я пошел. Назавтра срочно в институт вызывают... Эй, Мамука, зайди к нашей тетке и головы смотри не теряй!

Он повернул назад, смешался с толпой и остановился, не зная, на что решиться: ждать Мониаву здесь или пойдая к кассам.

Зачем его вызывали? Всех или только его? Когда все летит вверх тормашками... может, тогда — не дураками придумано, — может, самое время сейчас из этого мутного омота тащить сома покрупней.

II

Есть у Тбилиси ему только данная странная власть. Лежа в просторнейшей чаше, он позволяет Куре пробежать сквозь себя и уйти. Всем другим — нет снисхождения. Стоит хоть раз очутиться посреди этих гор — можешь промаяться год под чужим, приютившим из милости кровом, все равно с матерью легче теперь разлучишься, чем с этим городом.

Он не щедрее других городов, ломоть хлеба, который он кинет тебе, будет горек, как любой чужой хлеб, и улыбка его — сквозь слезы, и верность его — до поры. Но скрыт в здешних местах некий смысл, на который — то-

му уж пятнадцать веков — по наитию набрел на охоте царь Вахтанг Горгасал.

Мать есть мать. Кому-то чужому она, может быть, мила — не мила, но ты ее любишь. И грузину положено — хочет он или нет — почитать главу всех своих городов, хотя чужеземных пришельцев в Тбилиси больше, чем грузин, и у многих из них есть свои государства и столицы свои.

И не в том тут причина, что грузины гостеприимны в самой сути своей. Пусть надменностью встретит пришельца на пороге Тбилиси, но какой бы веры и племени ни был он, он услышит на этой земле свой язык и свой храм обретет — будь то церковь, мечеть, синагога.

Жива твоя мать или нет, мачехой этот город не будет.

Можешь на десять лет покинуть его или на десять дней, возвратившись, ты скажешь, как сказал когда-то ашуг: «Мой Тбилиси, мой город, твой блудный сын возвратился к тебе».

Оттого-то, наверное, его и назвали Тбилиси, что значит теплый, а не потому, что клокочат под ним серные воды, — воды всюду текут, холодные или теплые. И не оттого он так назван, что солнце наседкой садится на этот город, а он среди гор как в гнезде, — горы тоже есть на земле. А Мтацминды — нет. У всех стран и у всех городов были враги, которые рвались их покорить, но столь несметных врагов не знал никто.

В этом было горе Тбилиси и, быть может, счастье его.

Текла с Мамукой шли пешком, и этот тревожно бурливший город убрал с их плеч тяжесть, которой до самых тбилисских ворот было придавлено торжество их обличенья друг с другом.

Теперь они дома.

Все это время они где-то блуждали и торопились домой, таясь от глаза чужого, от злоязычья, и любили друг друга украдкой от всех. А сейчас они снова на острове. У себя.

И так же темна была здешняя ночь, и так же был светел день. И струилась здесь черная и голубая река, двумя рукавами обтекая их остров, а они шагали по суше в серебрищейся зелени ив.

А может быть, так им только казалось, потому что до этого времени жизнь Теклы Кадагидзе тоже двоилась на

счастье и горе. Отец сгинул, маму грызла чухотка — Теклу скрыл теплый бабкин подол. Она едва выжила после гнояного аппендицита, и это маму совсем доконало. Только оправилась — на беду гололедица, а тбилисцы не привыкли, чтобы лед под ногами. Текла упала затылком и так размозжила голову, что от головной боли бьет — хоть волосы рви.

Бог знает сколько бы длилась эта мука — не жизнь — и чем бы закончилась. Полюби она не Мамуку, это сущее чудо, а самого сатану, и тогда слова ей никто б не сказал, пусть бы хоть капля радости выпала ей на долю и она могла б позабыться от своих бесчисленных бед.

И дальше учиться никто ее не толкал. От лучших времен остались у бабушки кой-какие дорогие безделки, транжирить она не привыкла, и в ее умных руках их достало бы внучке на хлеб и на воздух для дочери, не покидавшей теперь Абастумани.

Еще в те далекие времена бабушку Элпитэ выдали против воли за Соломона Татеишвили, богатого и доживающего свой век тбилисца, и, хотя жизнь у всех нас одна, а почитателей ослепительной красоты Элпитэ было не счесть, обет, данный супругу, был свят для нее, однако и с долей своей она не смирилась и потому в отлученье этой дряхлой развалине — мужу — Элпитэ не мешала единственной дочери полюбить бунтаря Лазаре Кадагидзе, который пошел против всех богачей и царя, и даже прятала будущего зятя у себя дома на чердаке.

Могла ли она теперь мешать Текле полюбить такого славного малого, если с того самого дня, как внучка привела в дом Мамуку, Элпитэ вознесла хвалу господа за то, что Текле ниспослано счастье, о котором бабушка только мечтала, но которое не привиделось ей даже во сне. И пусть небо не оставит их теперь своей милостью.

После революции бабушке Элпитэ оставили только две комнаты в ее двухэтажном доме под плоской крышей, окнами выходившие на узкую улочку старого Тбилиси с мощенной булыжником мостовой, где Текла и поскользнулась, и ее без сознания подобрали соседи и принесли к бабушке, которая думала, что внучка давно в школе. При этих двух комнатенках не было ни кухни, ни даже самой малой кладовки, а только деревянный балкончик с балясинами, с которого можно было пожать руку соседу напротив.

На одном дыхании Текла взлетела по уже стершимся ступенькам из белого камня — у каждой ступеньки небольшая выемка посередке, — а Мамука повернул только ко второму пролету, когда Текла, распахнувши дверь, крикнула:

— Бабушка! Родная, ты где? Баб!

Элпитэ в это время стояла на балконе с балясинами, и было ей так тревожно и тяжело, что она даже не сообразила войти сразу в комнату.

— Бабушка! Бабушка ты моя! — не дожидаясь ее, Текла сама выскочила на балкон и потащила старуху в комнату, где было уже темно, усадила на старый, когда-то прекрасный, а сейчас совсем облезший диван с провалившимися пружинами, уткнулась ей в подол и заплакала.

Бабушка тут же забыла, что, в полном смятении все глаза проглядев, весь вечер провела на балконе в ожидании внучки, и когда наконец на узенькой улочке, погружавшейся в сумрак, различила Теклу с Мамукой, она воздела к небу руки и так и стояла в надежде, что дети заметят ее, пока внучка не скрылась в подъезде.

— Что с ней стряслось? — обнимая внучку, спросила Элпитэ Мамуку, заглянувшего в комнату.

Бросив сумку на пороге, Мамука виновато подпирал входную дверь.

— Какая опять напасть на меня? — она еще крепче, но бережно, как драгоценность, прижала к себе свою девочку, на которую боялась дышать, и ее взгляд, обращенный к Мамуке, говорил об одном: раз ей не хочется — она не скажет, тогда ты хоть скажи, какая еще беда свалилась на нашу голову?

Сперва у Мамуки зарделись только мочки ушей, потом все лицо запылало багрянцем.

— Зажги, пожалуйста, свет.

Мамука тотчас же повернулся, надеясь, что, пока он шарит по стене, ища выключатель, можно в лицо не смотреть, но больше, чем надо, искать выключатель ему не пришлось, потому что Текла всхлипнула и приказала:

— Не зажигай!

— Горе мое! — пожаловалась бабушка: ей не хочется, так ни свет не зажги, не спроси ничего.

Мамука остался стоять лицом к стенке, словно вот-вот ему велят включить свет и уж лучше он подождет.

— Ладно, моя мамонька, ладно, моя внученька, ладно, моя доченька, раз сердечко твое колотится, раз я тебя вижу, раз своими ногами пришла, чего мне, грешнице, еще надо, чего я бога гневлю... Успокойся, доченька... Бог с ним со всем, не принимай близко к сердцу...

— Пусти меня! — Текла вырвалась из рук бабушки, перед носом Мамуки, кинувшегося за ней вслед, хлопнула дверь в соседнюю комнату и упала ничком к себе на постель.

Всхлипывая и заливаясь слезами, она водила дрожащими руками по постели, по простыням и подушкам. Нежным прикосновением тонких рук она ощущала присутствие того, что всегда при ней было здесь, она ласкала его и голубила, вдыхала запах его, теперь измененный, она молила его, просила простить, прощаясь, оплакивала, благодарила, сердце ее так болело, что казалось, вот-вот разорвется, потому что представить себя без того, с чем она здесь жила, она не могла.

Это ушло, и больше оно не вернется. Оно осталось там далеко, на острове, между черной и голубой рекой, и ночевать вместе с ней оно здесь не будет.

Винясь и благодаря, страдая от боли, она прощалась с девичеством, которое на этой постели, в этой крохотной комнате проводило все ночи с ней, до ее восемнадцати лет.

Мамука вошел на цыпочках и встал у дверей.

Вот и он тут. Он все это отнял и теперь не вернет.

Текла родилась раз и потом еще раз — три дня назад, на том маленьком острове, и как не в ее власти было отказаться от первого своего рождения, явившего ее в этот мир, так же надо было поверить, что теперь ее заново сотворили.

Мамуке этого не понять, и не он один — никто из мужчин не может это понять. Они как родились однажды, так и помрут... хотя нет, совсем нет: в первый раз познав женщину, они гоголем ходят и так с собой носятся, так довольны собой, будто прежде сами не верили, что они и правда мужчины, а не перепуганные бедные дети, которые, как трава на задворках, только тень знали, а солнца не видели. А уж после нос задерут, на всех сверху поглядывают и командуют, будто им привалили все сокровища мира и любое их слово — великая истина.

Вроде б все как всегда: за советом — к тебе и с вопросом — к тебе. Как всегда вы — равны, ибо он слишком горд, чтобы дать тебе вспомнить, что вчера он был раб. И вчера он, как ровне, вываливал все, что есть на душе, и позавчера — но с того дня, как он родил тебя вновь, он твой владыка.

Как всегда, он придет к тебе за советом, будет слушаться, как всегда, и, как ты, будет думать, но чтобы, как прежде, твое слово для него было свято, — не жди. Одни станут смеяться в лицо, другие чуть-чуть улыбаться, но даже будь он почтенье само и покорность, где-то в уголках губ — чуть заметно — змеится улыбка. Злись не злись, бесись не бесись, а улыбочка — вот она: роли сменились и тех прав у тебя больше нет. Он даже станет послушней, чем в бесправные свои времена, но не оттого, что он видит — ты права, вовсе нет: просто зорче его и умней на всем свете нет никого. А иначе мог бы он покорить себе то, что ему покорилось? Он выиграл битву — и мир отныне у его ног. Отныне он, милосердный владыка, позволяет тебе, поверженной и безоружной, поплясать на его зеленых лугах, потому что вдруг ему снова приспичит вкусить этот праздник. Отныне ты бродишь в его саду олененком, которому не дозволено прыгать через забор, пусть иной раз он побалуется, или сена попросит, или соли лизнет. Но вольный лес недоступен тебе навсегда, и даже пусть твое заточенье станет в тягость тебе — вернуть, что потеряно, не в твоей власти. Ты домашний, прекрасный, прирученный зверь и — если ноги твои перенесут тебя вдруг через изгородь — все равно будешь скитаться по этим вершинам и склонам, им чужая, и стелать. Ты приручена раз навсегда, ты — ручной зверь, без хозяина и хозяйского крова ты больше не можешь. И не сможешь. Голыми руками тебя можно брать, и в конце концов придет час, когда ты по собственной воле сунешь ногу в капкан, который и для виду травой не прикроют.

Текла подняла голову.

Хоть слезами залейся, бей себя, кричи-надрывайся, — что ушло, то ушло. Всем женским своим существом она ощущала сейчас: по ту сторону двери — мужчина. Это слово к Мамуке она отнесла впервые. Тот же доселе молчавший инстинкт не позволял его обижать. Отныне ей должно думать только об этом мужчине, и, если ей суждено счастье, это счастье придет к ним двоим.

— Сядь, Мамука, ты не устал?

Мамука сделал шаг к ней.

— Нет, не сюда... там разве нет кресла?

— Хорошо! — и он стал искать кресло. — Я свет зажгу.

«Это он хочет на себя полюбоваться. В темноте того величия нет, величию нужно, чтобы все было залито светом и чтоб — цветы... Господи, что за мысли... разве я враг своему Мамуке?»

Пусть будет, как ему лучше».

— Если хочешь, зажги! — она произнесла это вслух, и, как всегда, она повела себя с ним, как ей хотелось.

— Что-то уж очень темно, и на улице не зажигают — почему это?

«Ему хочется, чтобы всюду свет полыхал: и здесь, и там, на улице, в горах, в небесах.

Да нет, ему просто не хочется сидеть в темноте — меня же не видно...»

— Зажги, зажги!

— Если не хочешь, я не зажгу... Как хочешь...

— Нет! — рассердилась она. — Я хочу? Нет! Как ты хочешь! — слезы подступили к горлу, и она опять упала ничком.

«Нет, теперь — все от тебя, все как ты хочешь». До этой минуты Текла совсем не считала, что все должно быть, как хочет Мамука. Всегда было так, как оба хотели. Но она произносила сейчас то, к чему совсем не стремилась, а чего не хотела, она б делать не стала... Почему все так получается? Почему не останется все как было?..

«Теперь я должна делать только то, что в радость ему, а хочу или нет я, это уже не важно? Поделом мне... Пусть свет зажигает. Пусть зажигает и глядит на меня, раз от всего этого он так горд и уверен в себе».

— Зажги свет... чего ждешь?

— Как хочешь, — Мамука поднялся с кресла.

— Не я хочу, а ты...

— Я? Почему я?

— Да, это ты хочешь! Тебе это нужно, ты не можешь без этого...

— Нет, если ты хочешь... я всю ночь...

— Ладно, ладно, ты думаешь, я ничего не вижу, не соображаю.

— Текла!

— Нет, ты мне скажи — почему? Почему еще позавчера я все и понять могла, и рассудить, а теперь тебе

кажется... Нет, ты думаешь, что все по-другому. А что изменилось? Почему...

Больше она не могла говорить и, вопрошая, убеждая, неистовствуя, понесла уже сущую околесицу. Хотя что изменилось? Ничего. Она же сама говорит — ничего.

— Что с тобой, дочка... родная? — отворила дверь Элпитэ, которая до этой минуты, наверное, так и не вставала с дивана, вслушиваясь в крики Теклы. — Даже света не зажгли?

— Бабушка! Оставь нас на минуточку! Слышишь? Оставь! — она просила так, словно от того, будет здесь бабушка или уйдет, зависит все ее счастье.

— Хорошо, доченька, хорошо... а если б чайку?

— Делай что хочешь, только не трогай меня!

— Свет зажечь?

Текла села.

— Что ты сказала?

— Я говорю, может, свет зажечь?

— У тебя же горит свет...

— Горит... но я думала, у тебя...

— Родная ты моя, преродная, — Текла вскочила с кровати и повисла на шее у бабушки. — Родная ты моя, любимая, любимая, любимая...

— Да что с тобой?

— Я когда еще тебе сказала про свет, а вы все — в темноте.

— Да разве пойдем мы тебе поперек? Разве станем тебя обижать?

— Никогда, никогда!

Она радовалась оттого, что та, что была ей и матерью, и бабушкой, оставалась с ней такой, какой и была, словно что-то вернулось к ней из тех бесчисленных сокровищ, что она потеряла, а с ними вернулось немного надежды.

— Мамука! Свет! — теперь ей хотелось своими глазами увидеть эту надежду в глазах старой женщины, утопивших в глубоких глазницах.

IV

Элпитэ вышла из комнаты, а Текла, подойдя к растворенному окну — ветерок едва шевелил на нем занавеску, — облокотилась на подоконник. Знакомая улица и акация, которая цветущими ветвями совсем закрывала их

окна, вернули ей спокойствие и веру в себя, словно и здесь все осталось как было. Правда, исчез сторожкий и любопытный соседский глаз. Никого почему-то не занимало, долго ли этот малый здесь проторчит, чтобы завтра от порога к порогу пополз шепоток, что у Кадагидзе дочка совсем отбилась от рук, но Текле было сейчас не до их пересудов, она даже и не заметила, что соседям сейчас не до нее, что-то другое их занимало, поважнее заботы и боль.

Сейчас они показались ей снисходительны и добры, и это примирило ее с той новой жизнью, которой ей теперь жить.

Мамука подошел и тоже облокотился на подоконник, другую руку осторожно положив ей на плечо: «Раз ты сердисься, я не стану тебя обнимать», но от этого все сильнее всполошилось и перепуталось у нее на душе.

«Значит, тебе все равно, — думалось ей, — чего я артачусь, свое взял, и ладно, а чего я хочу, ему безразлично, разве чтоб вежливость соблюсти».

— Руку! Убери руку!

— Текла!

— Убери, говорю!

— Тихо! Бабушка услышит...

— Пусть слышит. Ну и что?

— Ты с ума сошла, — он отошел от окна и сел в кресло. Только возле окна он почувствовал, как душно в комнате.

«Злится, что я, бесправная, не уступаю того, что — его, — эта догадка придала ей бодрости: значит, не все она потеряла, есть еще у ней сила, но душа ее тут опять замутилась: почему он так сразу послушался, почему отошел от нее, или ему теперь все равно: шапку на голову — и пока! У него все как надо. Верно, думает, у меня он один свет в окошке. Не захотела быть с ним — и не надо, сразу прочь отошел: поглядим, видно, думает, как ты будешь носом крутить, может, быстренько прибежишь».

— Мамука!

Он повернул к ней голову, но — ни слова.

— Мамука! Почему ты молчишь?

— Я не знаю... что говорить...

— Говорить разучился?

— Я не знаю, как с тобой разговаривать... Не пойму...

— Ах, он не знает...

Она отошла от окна и стала над ним, а он совсем утонул в кресле с провалившимися пружинами. Она очень пристально вглядывалась в него, но не могла разглядеть в этом лице ни надменности, ни довольства собой. Он смотрел на нее снизу вверх и, пораженный всей этой странностью, пытался понять: пусть моя вина, но какая? чего ждешь от меня и молчишь? Одно слово — я все сделаю, как ты хочешь...

— Имей в виду, ты никуда не уйдешь!

Мамука поглядел на дверь.

— Не уйдешь... и не вздумай кого-нибудь слушать... только меня!

Он втянул голову в плечи и совсем утонул в кресле.

Ей стало его жалко.

«А чего он сделал такого? А если и сделал? Господи, боже мой, неужели он тут совсем ни при чем? И я тоже, может быть, ни при чем?.. То, что отнято у меня, может быть, моим не было вовсе и его положено было отнять? Случилось, как положено было случиться, это все правильно, а останься все, как было раньше, это была бы и правда вина, большая вина. Тогда он, конечно, не понимает и не сможет понять, что меня мучит. И не надо наверное, мучиться? То, чем он стал владеть, — так ему кажется, — моим не было никогда?»

На глаза ей попалась колода карт — на круглом столике за креслом.

— Сыграем! — у нее дрогнул голос.

— Лучше не придумаешь! — Он даже зажмурился, взглянув на нее, будто на солнце смотрел.

— Раз не придумаешь, сыграем! — она быстро подтащила к креслу стул, на котором висело платье.

Стол стоял в углу, и стул с креслом оказались по одну его сторону, тогда, отшвырнув колоду, она отодвинула большой стол, а между креслом и стулом втиснула маленький столик, выдвинутый из другого угла, и, собрав рассыпавшуюся колоду, села.

«Почему я должна тасовать? Почему он не взял у меня карты? Почему все я да я? Я что, нанялась? Или со мной у него всегда так, — она попыталась вспомнить, как все раньше было... Кто колоду мешал, когда в кои-то веки они брались играть? Он, наверное... быть не может, чтобы он раньше позволял мне это делать!»

— Сдавай! — она холодно кинула карты.

Совсем утонув в кресле, Мамука долго собирал рассыпавшуюся колоду.

«Неужели всегда я сдавала? Тогда что получается? Как было, так сейчас все и есть?»

— Нет, давай я! — она выхватила у него карты, и, едва скользкая колода хрустнула у нее в руках, ей вспомнилось, что черную эту работу всегда делала она.

«Тогда чего я хочу от него? Но все равно, пусть не думает, будто я это делаю, потому что он теперь... или... да откуда я знаю, что он теперь?..»

— На что играем? — у Мамуки блеснули глаза, и он сел верхом на ручку кресла.

«Почему у него глаза заблестели?.. Ему захотелось поцеловать меня... вот оно что... ну и прекрасно. Пусть он выиграет и тогда поцелует... А не тогда, когда это взбредет ему в голову. Он должен спрашивать, хочу этого я или нет. Так для меня даже лучше».

— Ну говори, на что играем?

«Хорошо еще не сказал, что я жду его поцелуя, и раз так мне хочется, он, пожалуйста, великодушно меня поцелует!..»

— На что хочешь! — согласилась она, но тут же насто-
рожилась: а вдруг что другое захочет?

— Выигравший — целует... — Мамука взглянул на нее, не взорвалась бы снова.

— Раз ты так хочешь — пожалуйста! — то, что Мамука не стал командовать, когда она согласилась, придало ей сил. Она сдала карты, но теперь стало жалко бабушку, которая хлопотала в соседней комнате, стараясь ходить как можно тише.

— Баб! — она отворила дверь. — Чайник вскипел?

— Сейчас, родная моя! Твоим бы бедам да на мою б голову, — повеселевшая и помолодевшая Элпита заглянула в комнату.

— Баб! Мы в карты играем...

— Пусть господь не отнимет у тебя желания играть и радоваться, душа моя!

— А знаешь, баб, на что мы играем?

— На что, доченька?

У Мамуки глаза на лоб: может, она и прямь не в себе...

— На что? — краска отхлынула у нее от лица и залила его лицо, как перебегают багрянец с одной стороны лица на другую.

— Скажи, родная, скажи...

— На поцелуй, бабушка!

— Да ты что, моя дочка, иль я ослышалась?

— Нет, не ослышалась, — она вскочила и, звонко смеясь, обвила шею бабушки, — на поцелуй, бабушка, на поцелуй! Кто выиграет, тот встает с места и, — она поцеловала бабушку в губы, — вот так!

— Боже великий!

— Вот тебе и «Боже великий! Боже великий!», повторай, сколько хочешь, а все так и есть, — и она опять засмеялась, и залилась краской, но и смех ее был не тот, каким она прежде смеялась, и румянец другой — не тот, что ушел в сизый песок на крохотном островке, омываемом черно-голубой рекой, до которого было отсюда километров двести, не меньше.



Ватути, словно волк, чуял что-то новое в воздухе, но пока не понять было что.

Он еще послонялся по площади: друзей-приятелей у него целый свет, все сегодня как с ума посходили, бегут, несутся, а тут вокзал, перекресток, все дороги — сюда, кого-нибудь встретишь, но нет — никого, а Цотне Мониава как провалился.

Ватути знал: раз война, медиков дома сидеть не оставят. Правда, его курс на будущий год выпускной, кончается, но не кончил еще.

«Если врачами пошлют лекаришек незрелых, которым и после диплома я б еще долго свою жизнь не доверил, тогда дела куда хуже, чем можно подумать».

А если б он не приехал и остался в деревне или отправился на море — разыскали б они его? Или брать будут, кто первым под руку подвернется?

Во всяком случае с Мониавой говорить больше не о чем... Тоже мне важная птица, близко к себе не подпускает, а может, самому ничего не известно? «Приходи, там узнаешь!» — это что ж означает? Вставай и плетись, как овца, за кем-то, кому на тебя в общем-то наплевать...

«Кто из института сейчас в Тбилиси и до кого дойдет их приказ?»

Он остановился на трамвайной остановке возле самого

вокзала. Какой номер подошел, он не взглянул, сел наугад — пусть судьба сама его тащит.

Через год ему предстояло положить в карман диплом, но он отнюдь не собирался начинать свой путь в какой-нибудь сванетской или аджарской глуши, а чтобы не лезть в бездорожье по горам и ущельям, у него и причина была: дважды сломанная и по милости тех же врачей дважды изувеченная нога если и не способствовала его успеху у женщин, то уж, по крайней мере, давала право отказаться от подобных странствий.

Женщины!

Ватути просиял... Одна из них села рядом... Ему и смотреть не надо — близость прекрасного пола он ощущал сейчас же.

«Как хороши эти женщины! — пустился он в разговор сам с собой. — Эти полнотелые, пышущие жизнью создания — суцая благодать, — он улыбнулся так блаженно и сладко, словно в рот ему сунули меду на ложечке. — Женщина это... как сказать, что есть женщина? Нет ничего прекраснее женщины. Нет, и представить себе нельзя, — он даже слов не мог подобрать и подмигнул сам себе. — У тебя на это, бесенок, нюх безошибочный, чуешь все и видишь насквозь. И чего хотят женщины — тоже знаешь. Вот эта, что рядышком села... Глянь краем глаза и обомлей, словно подобного в жизни своей не встречал. Все! Не видать тебе больше покоя. Пусть она это поймет. Ты, конечно, взял себя в руки, на нее не глядишь, но не выдержал — глянул. Дело, однако, веди простодушно, словно такое с тобою впервые, а в глазах у тебя укоризна: ну зачем, на беду мне, вы так прекрасны?»

Любая из них считает себя прекраснее всех остальных. Даже зеркало тут не помеха, хотя появилось оно в какие еще времена...

Действуй будто во сне. Возьми два билета и удивись — зачем взял? У нее ж свой билет! И, обозлясь на себя за эту промашку, на глазах у нее билет разорви. Копейка билету цена, но ой как дорого он может стоить! Ее остановка! Замельтешила... Ты — ноль внимания! Тебя как магнитом к ней тянет, но ты себя держишь в узде. Пусть выходит. Однако у самого выхода она чуть помедлит и обернется — посмотреть, не забыла ль чего. Такая привычка... Тут держи ухо востро! Как бы она ни спешила — жди, пройдет с той стороны, где ты сидишь. Глаз с нее не слускай. Тут она непременно что-то уронит или

засмотрится на первого встречного, но... исподволь на тебя бросит взгляд. Если в это мгновение ты в упор не глядел на нее — считай, проиграл. Вскочи — сядь, вскочи — сядь... если, конечно, она на тебя поглядела. Трамвай тронулся — а тебя ужасом обдало: ты же больше ее не увидишь! И, послав все к чертовой бабушке, с места срываешься и с верхней ступеньки дуешь прямо за ней!

Выскочил из трамвая — остановись, оцени обстановку. Что творится с тобой? Может, ты с ума сходишь? Какой силой погнало тебя вслед за ней? Но все — пока ты в ее поле зренья. Однако если ты чувствуешь, она вот-вот ускользнет, снова ты должен быть — сама безотчетность. Ты бредешь в забытии и снедаемый страхом: что будешь замечен, что сочтут донжуаном, про его-то уловки знают все и нет больше дур, клюющих на эту приманку. Сейчас все решает твоя маскировка: ты сгинул, пропал, убежден, что незрим, — сумеешь сыграть? Ибо сейчас у нее все глаза — на тебя, и не одна пара глаз, как у всех, а целых две пары — одна на затылке. Пусть дела ее гонят, пусть спешит себе и торопится, но она приведет тебя к дому, где живет и где можно ее разыскать, разумеется, если не хлопать ушами.

Торчать под окнами у нее и землю утюжить — на это времени не жалея. И в голове не держи, что роняешь себя, унижаешься... Иди напролом, и не потому, что в средствах ты не брезглив, а потому, что требует дело.

День-другой помаячишь под окнами и станешь подумывать, что для нее ты — место пустое. Сейчас всего проще с отчаянья убежать на берег Куры и там по лбу колотить себя кулаком... а кто это увидит? И неужто не жаль головы? Пусть другие молотят себя по башке, а ты полюбуешься, чем морду свою под свои ж кулаки подставлять, когда и не видит никто.

А не так, помнишь, было, когда ту шельмочку ты обхаживал добрых полмесяца, пока не далась она тебе в руки, словно сонный сом в тине? — И его губы растянулись в такой сладкой улыбке, словно в глотку ему меду налили большим черпаком: — А что варит у тебя котелок и в душе бес не спит — твоя ли вина? Такой уродился, и тут ничего не попишешь».

Все это так, но... Совсем другой сом дремал сейчас в голове у Ватути, которого предстояло вылавливать, и, когда трамвай остановился на площади, мысль его обрела свое направленье.

Дважды в ответ на признания Ватути прозвенело пощечиной «нет» дочки знаменитой певицы Маргариты Алхазидзе надменной Цицы, но, верный Христову учению, Ватути только подставил вторую щеку. Отказ, полученный дважды от дочери знаменитой певицы и бывшего наркома, не оскорбил Ватути, и он, по всей видимости, счел его благом, ниспосланным свыше.

Но исподволь он пустил слух, что обещание ему было дано, однако родители (их понять можно) не разрешат дочке выйти за учительского сынка из глухой деревеньки, и, пока институт не окончен, для отвода глаз помолчим. Не проболтайтесь, прошу, а то мы пропали — ее из дому выгонят. Такую жену — как содержать?.. Я же гол как сокол, кружкой пива побалуясь — день без хлеба, считай. У отца на руках еще трое, даже если все с голоду перемрут, мне стипендии на духи и помаду для Цицы не хватит. И, обгоняя мысль собеседника, для вящей убедительности добавлял: «Ничего, браток, не поделаешь, люблю напмаженного этого ангела. Но любовь и правда слепа. Она-то во мне что нашла? Нет, слепа, друг, любовь, слепа».

И хотя роман с этой гордячкой не по душе был приятелям Ватути, они помалкивали, а если она снисходила до кого-то из них, счастливчику говорилось, чтоб отстал, потому что Ватути и так худо, только соперника ему не хватало.

Не перечать маневров и ухищрений, которые он принял, чтобы перекрыть все пути к Цице Ардадзе и прорубить себе широкую просеку.

И хотя дочь Ардадзе не торопилась, но ее удивляло, что никто больше в дверь к ней не ломится, а на горизонте маячил и ковылял один этот малый: словом, когда отца сняли с наркомов и послали директором фабрики, Ватути наконец был замечен, и если раньше она не удостаивала его даже «здрасьте», то теперь в ответ на улыбку его и поклон позволяла себе надменно кивнуть.

Словом, с тех пор, как Ардадзе понизили, а слухи ходили, что его вообще снимут скоро со всех должностей, Ватути начал распрямлять спину, однако весьма осмотрительно, дабы Цицей, и без того унижаемой, это замечено не было и цена на ее благосклонный кивок не взвинтилась опять до небес.

Вскоре дело приняло совсем неожиданный оборот.

Младший и единственный брат Цицы Ношреван в прошлом году вместе с Мамукой поступил на филологический и одновременно с Мамукой выступил на литературном кружке со своими бездарными виршами, в которых ощущалось, однако, как говорили, доверчивое и чистое сердце, и вот Ношреван этот с Мамукой и Теклой теперь друзья — не разлей вода.

У Ватути смех вызывали эти словечки, которыми козыряли Мамука и его друг: новый голос, рифма, музыка, интонация, аллитерация... Не сказать, чтобы в его семье этих слов не слышали, но отцу от них проку не было: если б от этих словечек какой-нибудь прок мог и быть, то уж, наверное, отец с его волей и хваткой в них бы эти словечки вдолбил, к тому же и мама смолоду тоже грезила о чем-то возвышенном и неземном, отчего и сейчас по ее неулыбчивому лицу пробегала порой печальная улыбка.

А что могли выжать из этого стихоплетства и голубых грез незадачливый Мамука, а уж этот губошлеп Ношреван, ардадзевский отпрыск, — тем паче?

В этих непролазных дебрях Ватути хотел, чего бы это ни стоило, поймать свою синюю птицу, и лишней егеря из заповедных этих лесов, знавший места, где птица таилась, ему был бы крайне полезен.

Он выучил наизусть несколько стихотворений поэта, перед которым в этом кружке благоговели, а Бакури, Мамука и даже Текла читали их как молитву, и, постоянно оговариваясь, что он не литератор и божественным даром не отмечен, хотя родился от того же отца с матерью, что и его братья, Ватути, случалось, цитировал к месту эти стихи, прося, однако, быть к нему снисходительным. Он зачастил к Мамуке в компанию, вертеться теперь на всех этих сборищах и вечерах, — тоже мне, понимаешь, салоны...

Большинство из этих ребят, витающих в облаках, были из деревень и далеких районов, одних приютили родственники, другие снимали угол с ладошку, где спали, ног не вытягивая, а для вечеров нужен был если не зал, то, по крайней мере, мало-мальски приличная комната, где эти стихоплеты, у которых ветер гулял в голове, могли сколько угодно руками размахивать и прошибать головой стену в пылу вдохновения, коего причину Ватути бы в жизни не понял. Зато другое ему было внятно: просторные, с высокими потолками покои купеческого особняка, когда-то принадлежавшего богатому армянину — как его

звать, все давно позабыли, — и теперь отведенного под квартиру супругов Ардадзе с двумя детьми и дальней родственницей — великой мастерицей готовить и печь всякие сласти и заваривать ароматнейший чай и не уступавшей этого права никому даже ценой своей головы.

Супруги Ардадзе сильно сокрушались из-за того, что у единственного продолжателя их рода мозги набекрень, но делали вид, что счастливы тем, что загубленные таланты отца, павшего жертвой склок и интриг, и артистизм матери обрели в сыне наследника. Перед его друзьями по духу двери дома были распахнуты, и надо сказать, что просторные залы особняка под салон вполне подошли.

Здесь бывали поэты, коим посчастливилось тиснуть пару стихов в «Новой смене» и они уже рисковали переступить порог «Мнатоби». Правда, этот толстый журнал был всегда перегружен стихами маститых, которых здесь добрым словом не поминали. Зато перед непризнанными поэтами, которым путь в журнал был заказан, новоявленные стихотворцы благоговели, запечатлевая их строки прямо в сердцах.

Ватути сумел влезть в душу уже всеми забытого хозяина дома, а эти голодранцы студенты вели себя так, словно стали хозяевами не только квартиры, в которой впору скачки устраивать, но всего мира. Ватути взахлеб нахваливал стихи Ношревана, безуданно твердя старшему Ардадзе о долготерпении тех когда-то непризнанных гениев, о коих краем уха слышал от братьев и отца, и приводил их в пример, боясь, чтобы хилый сыночек Ардадзе не разочаровался однажды в своих друзьях горлодерах и не захлопнулись бы в тот же день перед носом их всех двери этого дома.

Цица на ружейный выстрел не приближалась к тем дверям, за которыми эти ненормальные драли горло и толкли воду в ступе, а после бесследно растекались по улицам города, продолжая доказывать друг другу, что такой-то поэт не придумывал вовсе такую-то рифму, а еще полтора столетия назад ее можно было найти у другого поэта, теперь всеми забытого.

Ватути уже хорошо знал, когда, где и что надо сказать, чтобы свидеться с Цицей и, ошарашенному встречей с ней, в какой угол кинуться, и к какой привалиться стене, что поначалу вызывало в ней лишь угрюмую неприязнь, но этот тонкий пройдоха всегда помнил, что капля долбит камень.

Его безропотная преданность (а что ему на стихи, как и ей, наплевать — она прекрасно видела, и это было единственное, что ее привлекало в нем), его готовность пасть ниц — он ковром перед ней стлался, что для ее честолюбия было бальзамом, — хотя и не пробудили в ней ответного чувства, но в конце концов привели к тому, что она дала ему право любить себя и, если видеть его радости не приносило, то уж, по крайней мере, больше не было отращения.

VII

Перейдя площадь и увернувшись от встречи с каким-то знакомым — не до трепотни сейчас, — Ватути пошел в гору, по узенькой улочке, и тут в его мыслях возник Парна.

Левый глаз у отца сузился, не прищурился, нет, а сузился, как всегда, когда отец смотрел на Ватути, а Ватути было что скрыть от отца. Сперва — в таких случаях — Парна в упор глядел на сына, потом левый глаз у него начинал сужаться и порой убегал вбок, чтоб догнать то, что хотели скрыть от него, а правый глаз устремлен был прямо в лицо сына, пока не выуживал правду.

«Оставь меня в покое, отец, оставь меня в покое... Ваши с дядей ошибки нам, сыновьям, урок.

Или ты думаешь, что не ошибся? Думаешь, нам их не видно, ошибок твоих?

Ты слишком уверен в себе, отец, это тебе не к лицу. Мы знаем больше, чем ты в нашем возрасте, когда тебя так и тянуло влезть в самые темные норы нашей истории, чтоб разглядеть что не видно другим, а что из этого вышло? А, отец! Чего нам скрывать? С тобою всегда было так... но и мы ведь не дети.

И все-таки что из этого вышло, я спрашиваю? Ничегошеньки. А почему?

Только дай мне ответить... Сегодня кому интересно, что там случилось до нашей эры, а если это кому-то и нужно, то лишь историкам с их историей вместе. Зачем нам надо знать, как жили цари? Этот твой тезка, царь Парнаоз, был, конечно, великий реформатор культуры, но кому сейчас интересно — самобытна грузинская письменность, или вышла из греческой, или у истоков обеих стоят финикийцы? У кого сегодня на это есть время, ты мне скажи... Даже у меня нет, а я ведь твой сын. Пусть у нас была письменность еще до новой эры, а мо-

жет, и раньше — ну и что тут такого? Из-за этого забивать себе голову черепками, обломками и прочей трухой я не буду, увольте.

А теперь война на пороге.

Нет, нет, я вовсе не говорю, что надо позабыть и Парнаоза, и Горгасала со всеми их великими делами, или тем более Давида Строителя, или уже совсем рядышком — Батонишвили, царя Ираклия II, но скажи мне, кому они сегодня нужны? Хорошо, у Ираклия было с десяток пушек, если сегодня можно назвать пушками эти штуки, плюющиеся ядрами... Ну, вызубрим мы все эти ваши сведения, а для чего? Один молодецки размахивал саблей и с первого взмаха сносил врагу голову с плеч, а другому приходилось еще раз замахнуться? Ну и что?

Итак, милостивый государь, началась война. Сейчас начнут кричать про Суворова, Багратиона, Кутузова... Немцы начнут поминать своих Карлов и Фридрихов.

Ладно, я молчу, ни слова больше. Но если хочешь знать правду... если только по правде вести речь... Хорошо, ты мой отец — и что из того? Сын должен сказать отцу правду раньше всех остальных. И я скажу. Ты не почувствовал времени, отец... не почувал его.

Жалкая роль школьного учителя — вот что сие означает. Чего ты достиг всей своей строгостью и непреклонностью? Ты даже не вытянул в директора убогой школки, в крохотной деревеньке, которая на ладони уместится. Прошлой осенью поставили над тобой птенца, который всего два года как кончил вуз... Другой на твоём месте всю округу на ноги поднял. А ты в районо не пошел, когда предложили стать методистом. А с этого места, да с твоими-то знаниями и энергией, ты бы мог прыгнуть ой как высоко.

Что? Не будем об этом?

Ладно, батона, не будем, но, однако... и ты нам поперек пути не становись! Что с того, что ты отец? Ты пошел своею дорогой, вовсе не по стопам твоего отца...

А что между родными людьми всегда есть что-то общее, это правда. Даже если они и не очень близки.

Вот и я иду...

Но иду не туда, куда ты шел.

Потому что я вижу, куда привела твоя дорожка, а дорожка, по которой пойду я...

И потом, отец, кто положил, что вот то — хорошо, а это вот — плохо? Почему хорошо, что делал ты, а что де-

лаю я — это дурно? Что плохого, если б ты стал наркомом просвещения, и чем это лучше, что ты — мелкий сельский учитель? И у тебя пусто в желудке — и нам, твоим сыновьям, надо думать о хлебе насущном? Ладно, закроем глаза и на это. Но если сегодня вдруг понадобится тебе попасть на прием к наркому, а этот нарком и половины твоего не смыслит в истории и в педагогике, ты под дверями его кабинета проторчишь с неделю, не меньше, а после какая-нибудь секретарша, оторвавшись от зеркальца движением глаз, наконец впустит тебя к наркому, а он тебе скажет, «прошу покороче, пожалуйста», а о царе Парнаозе он слыхом не слыхивал, но зато свое дело знает крепко.

А я держу путь в наркомы, вот так-то, отец...

Ну и что с того, что для этого надо поползать на брюхе по просторным хоромам какой-нибудь Цицы, или Гулсунды, или Ламзиры?

А перед тобой кто-нибудь расстилает ковры?.. Высоко носишь голову — ну и носи себе на здоровье, только хорошо смеется тот, кто смеется последним. Это не один ты, это и бабушка наша любит сказать.

Но вернемся опять к тебе. Ты сам знаешь — мы, братья, больше привязаны к матери, чем к тебе. Не буду перечислять все твои благие достоинства и все ее нужды и беды. Не скажу, что мы жалеем ее, может, просто она очень близка нам... вернее, близость с ней очень легка. Она ничего с нас не требует, кроме того, что мы ее дети, а потребует и мы не исполним, душу свою перед нами она не закроет. Можно сказать, что это слепая любовь, темный инстинкт, как хочешь зови, но все это именно так...

Ну, а как у тебя с нею вышло? Да, да, я имею в виду нашу мать! Мы же решили быть откровенны до дна. Как романтично ты похитил ее! Только кто там бросался в погоню за вами? Или Эристо Пачуашвили, рад-радехонек, сам не отпустил бы ее — это он-то, у которого дома переписали три старших дочери, на которых и глядеть никто не хотел?

Это уж после было, когда ты свое счастье наконец-то за хвост поймал... одна из них вцепилась в Ниорадзе, горькую пьянь, которого родные дети уже выгоняли из дома, а он им тут мачеху приволок. А на двух других наших теток по сей день никто не позарился и никто не похитил их, помилуй господь! А ты своим похищением,

ох, как всей деревне нос наставил, тоже мне витязь, великую крепость отбил...

Если уж правду, так до конца... У тебя ж и с похищением все навыворот вышло. Им на пузе перед тобой ползать, чтоб ты взял ее за себя, а он, видите ли, похищение устроил.

Я-то прекрасно понимаю, ты гордый и тебе надо было мою мать возвысить, чтобы всем стало ясно — она тебе ровня и пара. А кто б усомнился — так, смотрите, ее ж умыкнули, похитили. Вся твоя родня только плечами пожимала, глядя на это угрюмое, неулыбчивое существо, в ветхом ситцевом тряпье, но ни у кого не повернулся язык хоть слово дурное сказать. Ладно, мы не знаем, не видим чего-то, что ясно Парне. Но скажем прямо, что такого ты в ней разглядел, чего все не видали, и не пора ли давно этому кладу из-под земли выйти на божий свет?

Ничего не стояло за этим, кроме буйной твоей фантазии и нескольких расхожих стихов, которые мать наизусть знала и сама писала в альбом нечто вроде «ай да ой, моя дорогая». Да еще на каких-то клочочках, отсыревших от ее слез, вела дневник бесконечных семейных свар, поднимаемых по ночам напившимся дедом, которому не посчастливилось родить сына и было ему не до песен и плясок, если изводили его своим острым языком жена и три старых девы, его дочери.

А он, видите ли, похитил!

Тожe мне витязь...

Со смеху помереть можно.

А после как пошло?

Смех один, да и только.

Мать свое взяла. Не скажу, что все это было хитрость сплошная, но один за другим на свет появились четыре сына, и, когда ты собрался с ушами уйти в науку и ни одна живая душа представить себе не могла, куда тебя понесет, она крепко-накрепко затянула крученым жгутом у тебя на загривке то ярмо, в которое ты сам сунул голову. Но разве мог ты с твоим самолюбием, с твоими понятиями о чести и совести отказаться от похищенной жены и четырех сыновей ради того, чтобы доказать, будто грузинская письменность возникла еще в третьем веке до новой эры, а азбука была у грузин задолго до Парнаоза?

Нет, ради этого ты не стал бы бросать жену и детей нагими и босыми в родительской оде из прогнившего бука.

Нет, ты начал строить новый дом!

Эх отец, отец...»

Что-то все же понудило Ватути свернуть с широкой мостовой в узкую улочку. Он направил свои шаги к Адеишвили.

VIII

Анапо Адеишвили приходился бабушке Парны племянником, он был сын ее брата. В ту самую пору, когда дед привел с базара невестку с козой, из России вернулся бабушкин дядя, чиновник и холостяк, и бабушкиного брата, после замужества сестры вовсе осиротевшего, он взял в Кутаиси, выучил грамоте, грузинской и русской, а также научил его стягивать с себя сапоги, когда бывал пьян, и поскольку жили они с племянником в одной комнате, которую дядя снимал, то и к неизменному запаху вина мальчишка тоже был приучен. К старости язва желудка пробудила у дяди вкус к одиночеству, и подросткового племянника он определил сельским писарем в окрестностях Гулзоди, где проживала племянница, с тем чтобы брат и сестра были на глазах друг у друга, а обо мне, считал дядя, позаботятся черти.

Все папашино добро, которое сельский писарь нажил честным трудом, Анапо промотал на шарманку, после чего отправился в Тифлис. Эту потешную историю Адеишвили рассказывал, всякий раз радостно улыбаясь, в очевидном восхищении от себя и в столь же очевидном неудовольствии от своей жены, братьев и всей адеишвилиевской породы.

Однажды он отправился из Кутаиси в Батуми, на похороны свекра своей тетки, и верные собутыльники провожали его с шарманкой. С ним ехали еще трое, они все примчались на фаэтоне, когда до отхода поезда оставались считанные минуты, едва втиснулись без билета в вагон, а шарманщик стоял на перроне, и в темпе походного марша наяривал печальную «Сулико».

Прокутивши весь день, все тут же уснули, и утром проводник разбудил их, когда поезд подъезжал к Мцхета.

Словом, вместо Батуми они очутились в Тифлисе. Прекраснее не придумаешь! Делать нечего — отправились в Белый духан, и снова шарманка... Поначалу, конечно, выпили за упокой души свекра, помолчали, взгрустнувши, и потянулись очень длинные и очень печальные тосты.

Тут еще выяснилось, что покойник, благослови, госпо-ди, его душу, был сам не дурак выпить и завещал, чтобы на похоронах его слезинки не проронили, что на тот свет пусть его провожает шарманка (Анапо во всяком случае верил в это). И закутилось колесо...

Вечером, пьяные в дым, они пожелали проехаться на фэзтоне по Тифлису, чтоб после рассказывать, как они весь Тифлис перевернули вверх дном.

В Верийском квартале, как позже выяснилось, Анапо велел извозчику на полном ходу остановить экипаж.

Перепуганный извозчик осадил так, что едва не переломил лошадям шею, а фэзтон, налетев на конку, чуть не разлетелся в щепки. Адеишвили выскочил из фэзтона и, раскинув руки, в азиатских своих сапогах в облизку пустился в пляс прямо на тротуаре перед каким-то гражданином в шляпе, который понуро тащился вдоль улицы.

Павле Панчулидзе (а это был он) не кинулся в объятия Анапо, а, головы не подняв, продолжал глядеть в землю, пока наконец не сказал сапогам: «Анапо! Разрази меня гром, если это не Анапо Адеишвили!»

Когда Анапо прижал к груди мощи своего школьного друга, исчахшего в тщетной борьбе с судьбой, никакая сила на свете не могла уже разомкнуть его объятий, он так и поднял его вместе со всей его мудростью, толстой книгой, связкой бумаг и усадил в фэзтон.

— А ну, милый, гони прямиком в тартарары! — приказал Адеишвили извозчику, и они опять понеслись, прямиком в погребок, куда ввалились чуть ли не вместе с фэзтоном, а иначе Панчулидзе остался бы наверху.

Как мог Павле противостоять напору Анапо со всеми его дружками? Он принялся увещевать их: вся жизнь у всех нас перевернулась, другим ходом пошла наша жизнь, а вы так и будете трястись в фэзтонах и шарманку крутить — и не лучше ль выбрать свой новый путь в жизни, а закончил он мудреную свою тираду решительным требованием идти учиться в университет, пусть хоть и заочно. Я же вас знаю, что вы корчите из себя дураков, вам только пальцем пошевелить — и все будет прекрасно, уговаривал он, и громовой раскат хохота был ему ответом. Очнувшись от кутежа, Адеишвили обнаружил, что карманы пусты, дома тоже — сплошные долги, и тогда он задумался. Так все это было или не так, но в эту же зиму Анапо обнаружил себя на факультете субтропических культур. Все это свершилось, конечно, не без вме-

шательства Панчулидзе, ибо что такое «субтропики», Адеишвили в ту пору известно не было.

Ученый друг объяснил ему, что он будет иметь дело с землей и живыми людьми, так как в самых дерзких мечтах невозможно было представить, что Анапо будет рассиживать в кабинете или еще где, только в застолье он мог усидеть на одном месте, да к тому же это было совсем новое дело по осушению колхидских болот, имевшее в этом обновляемом мире и при тогдашнем масштабе строительства огромные перспективы.

Какое-то время Анапо посмеивался еще над своим превращением в ученого мужа, но вскоре и правда припела нужда в нем. Потребовались специалисты по чаю и цитрусовым, Адеишвили не дали окончить курс и послали директором чайной фабрики в Колхиду, которая еще недавно была заболоченной низменностью.

Его неугомонность и дружелюбие пришлись весьма кстати. Он не мог сидеть сложа руки и, забросив ногу на ногу, диктовать приказы или, развалясь в кресле, ждать, когда фабрика поднимется сама собой, как гриб после дождя. Если у прораба дело не ладилось и он не мог сдать объект в срок, Анапо сам подключался и доводил дело до конца. Бригадир отлучился — он был бригадиром. Перекур у рабочего? Брал лопату и месил раствор. Запоздывали с доставкой? Дневал и ночевал у железнодорожников.

Ссорился, бранился, кутил, не зная усталости, не помня обид, спуская все, что получал. По случаю — и жене изменял, не помня, однако, с кем. Скандалы в семье? Он пропускал их мимо ушей, потому что той любовью, что любил жену, все равно никого бы не мог полюбить. Говоря откровенно, всем женщинам он предпочитал вино и дудуки, но — куда от них денешься — он и женщин любил. Он все успевал, и работа кипела в руках у него. На что давалось два дня, он делал в один. В Тбилиси это заметили, и его перебросили на какой-то прорыв. Прорыв ликвидировал — послали на стройку, где вообще все по швам ползло и разваливалось. Он и тут не растерялся и в конце концов был поставлен руководить всем этим строительством.

Постепенно этот гуляка и дебошир Анапо Адеишвили выучился и в кабинете сидеть, и покрикивать вполне внушительно, и дорос в конце концов до директора треста.

После кончины отца Парны, когда овдовевшая мать десять лет не снимала черного платья из неподрубленной бязи и даже по праздникам не слышен был здесь звон стаканов, Анапо стал отдаляться от семейства Амаглобели, ибо невозможно было представить себе скорбь и Анапо рядом. К тому времени он совсем осел в столице, и, если б не сестры, которые замуж так и не вышли, за матерью и присмотреть было б некому, и словечком ей перекинуться было б не с кем. Видно, все заботы о матери Анапо и впрямь переложил на сестер, ибо бывал здесь очень редко и то лишь проездом, всегда с шумом и треском — на фэртоне или в машине, с шарманкой, вином и друзьями, которых было не счесть.

И разумеется, злополучная тетка Марта, отцова сестра, затерявшаяся где-то в деревне вместе со всеми своими детьми, которые тоже беспрестанно скорбели, вспоминалась ему лишь в тостах, и как раз тут (он только что получил в Тбилиси четырехкомнатную квартиру в новом доме, машину и телефон) с неба свалился Ватути.

Анапо был вне себя от восторга и в ту ночь не отпускал его от себя ни на шаг. Он имел двух сыновей и дочь, учившуюся в медицинском, а что на их факультете у него такая близкая родственница, Ватути не знал, наверное, потому, что была она на два курса моложе его. В ту же ночь Анапо объявил своим детям, что Ватути их брат, а свою жену, оплывшую, рыхлую, но добрую женщину, произвел в матери Ватути.

Директор треста был в тот вечер сильно навеселе.

Вору бы ночью — да потемней: Ватути был не из тех, кто выпустит из рук подобных родителей и брата с сестрой. Он притащил к Адеишвили сперва Мамуку (тот был поподатливей), а после и Бакури, которым все были тоже рады-радешеньки. Но когда Анапо, надравшись, начал куролесить и ходить вниз головой, младшие Амаглобели бывали весьма смущены и тушевались, и поскольку они не собирались, подобно Ватути, пить в этом доме до потери сознания и сидели за столом, соблюдая уважение к хозяевам дома, то огорченный глава семьи вынужден был наконец взглянуть правде в глаза, а вино, как известно — мать истины, и признать, что вы двое и мои сыновья (о дочери речи не было) пошли в их породу, в Амаглобели, и таковыми оставайтесь, а Ватути по тетке, отцовой сестре, моя плоть и кровь, и мы еще всем вам покажем, что из него может выйти, пусть только

кончает свой медицинский и я увижу от его диплома хоть краешек.

Сейчас Ватути намеревался позвонить от Анапо Цице, и если в институте действительно заварушка (какая, понятия он не мог, но нюхом чувствовал — заварилась крутая каша), то надо было пускаться в ход бессчетных друзей и знакомых Анапо, и начинать это следовало не откладывая и прямо отсюда.

Едва он коснулся кнопки звонка, как Пело, встрепенувшись, бросилась к дверям — когда Анапо задерживался допоздна, она с замиранием сердца ожидала его, прислушиваясь к шагам на лестничной площадке: в ней всегда жил страх, как бы муж не притащил с собой вдребезину пьяных дружков. Обычно Анапо жал на кнопку звонка, пока не открывали, но если являлся поздно, да еще с пьяными приятелями, тогда он звонил очень робко. Сейчас еще было рано и можно было бы не волноваться, однако, обжегшись на молоке, дуешь на воду.

Ватути склонился сперва над рукой Пело (чего Пело ему не позволяла, но Ватути упорствовал, ибо это был знак уважения), потом поцеловал ее в щеку (в знак родственной близости и выражения сыновней любви) и наконец в глубоком почтении опять склонился над ручкой, чтобы продемонстрировать и любовь свою, и уважение, и что место свое он знает.

Эта добросердечная женщина, всему верившая, что бы ни плел ее муж, несказанно обрадовалась, увидев Ватути.

— Господи, радость какая, ты ли это, Ватути?

— Да, матушка, это я... отважился побеспокоить вас!

— Ты... и побеспокоил...

— А что еще от меня? Одно беспокойство!

— О чем ты, Ватути, сынок? О чем речь? И Анапо куда-то запропастился... Что с нами будет, сынок? Неужели конец?

Пело, у которой дети и муж были вся ее жизнь, засыпала его вопросами, не давая войти в комнату и вымалывая хоть кроху надежды.

Чутье и тут не покинуло Ватути — он понял, чего ждет хозяйка.

— Почему вы решили, мама, что нам всем конец?

— Разве нет? Ты мне только скажи, сынок, разве нет?

Здоровья б тебе побольше да радости. — и она повела его в комнату, где у стола, прижавшись ухом к приемнику,

сидел старший сын Адеишвили Малхаз, просиявший при виде Ватути широкой и ясной улыбкой.

— Ах, как я рад тебя видеть... — и Ватути долго хлопал по широким, налитым плечам Малхаза, а Малхаз только выгибал спину, словно по телу холеного, но еще не прирученного бычка проводили скребницей.

Судя по радио и газетам, радоваться было нечему, а этот парень не то что воевать, он бы, даже с голоду помирая, не знал, что делать с буханкой, если б ее на ломти не разрезали.

Ватути было искренно жаль этого простодушного малого. Но не Ватути начал войну, чтобы мучиться совестью, а для матери день покоя и тот был в радость, и потому он старался расписать дело так, будто вся война если и не игра в жмурки, то уж, по крайней мере, она мало чем опасней казаков-разбойников.

— Утешаешь, сынок, утешаешь... Чтоб и у тебя надежда не гасла, — твердила она, и с просветленным лицом эта тучная женщина сновала из комнаты в кухню и обратно, а на потолке покачивалась люстра, и по стенам разбегались зайчики от лампочек и хрустальных подвесок.

Навалившись грудью на стол, одним ухом Малхаз слушал потрескиванье приемника, а другим обратился к Ватути.

Радио и Ватути вещали об одном, но один голос был как с похорон, а другой — как со свадьбы. Как и его мать, парень доверчиво внимал этим двум голосам, и одна половина его крупного белого лица являла собой плач, а другая — радость.

— А Зураб где? Почему я не вижу своего братца? — Ватути огляделся по сторонам.

— Ой, сынок, заметил, что его нет?

— Что значит — заметил. Когда шел к вам, больше всего хотелось его увидеть...

— Не знаю, что со мной, — в расплывшемся лице женщины что-то дрогнуло. — Поехал в Баку, в командировку. Нашел тоже время ...

— Мамочка! Но в командировку-то он отправился, войны еще не было, — разволновавшись, Малхаз покраснел так сильно, что Ватути опешил.

— Ой, совсем позабыл, — хлопнул себя по лбу Ватути, чтоб согнать краску с этого крупного лица.

— Что случилось, сынок? — всполошилась Пело, все

ее мысли были сейчас о Зурабе, и всякое слово о нем заставляло ее трепетать.

— Я должен был позвонить Ардадзе, — и Ватути уставился на часы, висевшие на стене, так, словно у него назначено было точное время и только сейчас, когда оказалось, что спохватился он вовремя, у него отвалило от сердца.

— Это который Ардадзе, бывший нарком?

— Ну да... Маргарита Алхазишвили.

— К Маргарите... певице? Ах, этот окаянный Анапо... — она покраснела за мужа, — ладно, после... — Пело не могла прийти в себя, потому что не помнила, чтобы хоть раз Ватути сказал, что вхож в дом Ардадзе.

— С дочкой их надо поговорить, — он произнес это как бы между прочим, как нечто само собой разумеющееся, и Пело опять растерялась и прокляла свою память, совсем теперь никудышную.

— Ах да, ну, конечно...

— Надо узнать, что там в институте творится...

— Ну да, она же учится с вами... Правильно Хатуна говорит, совсем ты, мама, сдала, — а Хатуне прямо не знаю, как Цица нравится. Мы же подумывали о Малхазе, говорили об этом...

— Мама, да что ты? Когда это мы говорили?

— Да нет, серьезного тут ничего, — она поспешила замять не к месту вырвавшуюся правду. — Цица редкая девочка, Ватути...

— Да, девочка она ничего, — Ватути повел плечами, и тон его свидетельствовал о том, что говорить ему неудобно, но, конечно, хороша Цица, только если она положила глаз на дочку Ардадзе, самое время об этом им позабыть.

— Вы на одном курсе с ней?

— Сидим рядом, — и он со смущенной улыбкой поглядел на потолок, словно ему понадобилось узнать, не новая ли у них люстра, хотя к чему было б ее менять, когда сравниться с их люстрой могла только люстра Ардадзе.

— Вон, оказывается, куда у тебя с ней, проказник, зашло, — Пело ласково потрепала Ватути по щеке, покрасневшей так кстати, и по лицу этой женщины, состарившейся в мужественном служении семье, пробежал луч позабытого девичьего плутовства.

— Да ничего такого, я ведь, мама, только вам...

— Ладно, ладно! Звони! Я выйду...

— Оставайтесь, пожалуйста! Ничего тут особенного... — Но глаза его просили и сына и мать только о том, чтоб поскорее дали ему остаться один на один со своею бездонною тайной.

— Что ты, сынок! В такой день и радость... Могла ли я думать, когда горе кругом, что смогу еще радоваться? И Малхаз не станет тебе мешать.

И опять пробежали по стенам зайчики от ламп и хрустальных подвесок.

Ватути постоял перед телефоном, снова, в который раз, проверяя мысли, укрывшиеся в сложных извилах его души, и решительно набрал номер.

IX

Он попросил шофера остановиться у большого белого дома.

— Все, друг, приехали! Здесь!

— Надо ж, опять позабыл. И что со мною творится? За промашкой промашка... Говоришь себе — гляди в оба, и опять — мимо.

— Бывает, Сако, бывает...

— Конечно, начальник, и похуже случается.

Всех, кого Анапо сажал в свою машину, его шофер называл без лишних хлопот «начальник», а то вдруг и правда сядет важная птица, а ты хлопай глазами, но Ватути это слово заставило вздрогнуть. И, распрямив плечи, он небрежно открыл дверцу эмки и бросил шоферу, как милостыню:

— Бывает, приятель, все бывает...

— Да, большие дела закрутились, — Сако покачал головой. — Видел бы ты, начальник, что творилось вчера. Вот как тебя сейчас вижу, так близко я стоял и обливался слезами, словно мой младшенький, не тот, что камеру у меня на рогатки порезал, а самый мой младшенький. Просто ревмя ревел.

В темноте лица шофера не было видно, и Ватути не знал, какой это сын у Сако пустил камеру на рогатки и есть ли там еще младшенький, но покалеченную ногу втянул обратно в машину.

— Это что же такое, Сако, ты — и слезы?

— Сам не знал, что сердце-то у меня... Пропади оно пропадом, мне бы сказал кто, я б не поверил...

— Из-за чего же ты плакал, Сако?

— Как из-за чего, начальник? Как из-за чего, ты меня спрашиваешь, когда столько мальчишек на вокзале повели?

— В армию?

— На фронт.

— Ну, а ты чего слезы лил?

— Как же тут, начальник, слезы не лить, когда нас всех как крутым кипятком обварили. Там одна мать была... начальник дорогой, я на нее все смотрел. Ну, вылитая моя мать, точнехонько! Лучше б мне отправиться вместе с Зурой. Парень он... не бывает лучше, самый надежный парень. Мой хозяин-мазяин даже не знает, какой парень у него золотой... да еще эта мать заливалась слезами. А наш-то отправился, материнской слезой не умытый.

— Это какой еще Зура?

— Наш Зура! Начальника моего сын!

— Сын Анапо? — Ватути ушам своим не поверил.

— Он...

— Его что, призвали? Ты не ошибся, Сако?

— Какое ошибся, когда гонят эшелон за эшелоном...

— А Зураб тут при чем?

— И Зура наш... Он же мне лучший друг! Вот я и плакал, но как? Просто слезами захлебывался... Вот оно, мое сердце, чтоб ему пусто было, вот каким сердцем господь меня наградил.

— Но ведь я целый вечер у них был. Он же в командировке, все говорили...

— Все правильно, начальник. Не говорят правду тебе Пело.

— Не говорят?

— А как сказать? Сказали, что командирован в Баку. Он и должен был туда ехать, инженер ведь. Новые мосты принимать. А кому до мостов сейчас? Я тебе похуже скажу... У Малхаза твоего повесточка тоже в кармане.

— А чего ж тогда его не отправили вместе с Зурабом?

— Ты погоди! В один день столько народу не увезешь... К тому же у Анапо весь свет в друзьях, уговорил: хоть одного мне оставьте пока... Но велел, чтобы при тетушке Пело — ни слова, у нее же сердечко как у воробышка... Когда его в первый раз призвали...

— В армию?

— Нет, по другим делам вызвали...

— Он правда в командировке был?

— Был, но когда еще... после института послали, у тети Пело тогда чуть разрыв сердца не был, и, пока сын не вернулся, она от страха в себя прийти не могла.

— Эту историю я знаю.

— Теперь-то она худо-бедно привыкла... и через неделю домой его ждет.

— Ладно! — Ватути выбрался из машины. Во всем мера нужна. И лишнего ему знать — ни к чему тоже.

— Будь здоров, начальник дорогой!

И машина двинулась с места.

Ватути потоптался на тротуаре, чтобы на белой стене дома шоферу не видно было, что дальше он потопал на своих двоих, и, когда эмка скрылась из виду, Ватути, миновав четыре дома, свернул в узкий тупик.

Бедняжка... Сколько от нее смогут скрывать?.. И моих братьев — всех трех на фронт? А немцы прут и прут, и не то что от границ их погнать, но остановить хоть... ничего об этом не слышно. Но теперь если столько на родину двинут, остановят, конечно. Пропасть людей... да они и без винтовок, если навалятся, немца погонят. И что же такое — эта Германия? Столько стран и людей засосала в войну, но какой воин из человека, которого толкают силком воевать? Возьмет и повернет оружие против самих немцев. Вот если б не нога... от боли свихнуться можно, когда вступит. Опять оперировать надо. А если б не нога, я бы пошел воевать? Шпалы и ордена никогда меня не влекли. А кому служить в армии нравится, вроде мужа Элиты... нафабранный ходит и весь с иголочки.

Элита!

Элиту он вспоминал всегда, когда под мухой возвращался домой, кривя губы в похотливой усмешке. И когда в своей конуре он стоял перед зеркалом, а в голове ройлись мысли и планы, он опять вспоминал об Элите — и все с этой ухмылкой.

Он остановился перед ветхой пристройкой, которая напозла на чью-то стену, нашарил ключ, проскользнул в комнату и зажег свет.

Две кровати, его и Бакури, стол, сбитый из досок. Одна доска пошла брату на книжную полку, прогибавшуюся сейчас под тяжестью книг, а Ватути в изножье

своей кровати пристроил зеркальце. Стоило войти в комнату и сделать шаг, как ты упирался в собственное отражение и, вглядываясь в себя, волей-неволей начинал вспоминать, что случилось в течение дня, как ты вел себя, и как надо было вести, и как надо будет повести себя в следующий раз.

«Прелестный голос был сегодня у Цицы по телефону, правда?» — спросил он свое отражение.

Отражение кивнуло.

Дешевенькое, прямоугольное зеркало еще больше подчеркивало округлость его румяного лица, так отличающую Ватути от братьев.

«В самом деле, что творится, конец света, что ли? — он поправил галстук. К воротнику пиджака пристала какая-то волосинка, и он щелчком смахнул ее. — Отчего так мягок был ее голос? «На операцию сейчас не ложись», — она и об этом помнит. В институт, сказала, вызвали всех, может, и окончить не дадут, отправят на фронт... Девушек, видно, не тронут...»

Он подошел к своему двойнику совсем близко и пристально посмотрел ему прямо в зрачки.

«Брюки, наверное, измялись, сиденье в этой эмке совсем провалилось... надо под тюфяк положить, пусть отойдут... а Бакури все нет, на этом деревянном топчане сегодня мне не уснуть.

Долго ли мне прикажешь ютиться в этой крысиной щели, а, отец? Да еще половину за нее платит Элита!»

В зеркальце — ему показалось — белел на полу у двери край бумажного листика.

— Элита! — он тотчас же обернулся.

Под дверь было просунуто несколько глянцево-белых листков. На один из них он наступил, и след ступни проступал отчетливо, только пятка — бледнее.

«Где ты?»

«Где ты?»

«Где ты?»

Одно и то же было на всех трех листках.

«Она приходила сегодня трижды. Что случилось? Или капитана отправляют?»

— Элита! Вот шальная... — Он обернулся к своему отражению, чтобы увидеть ту жадную улыбку, которая появлялась, когда ему хотелось видеть Элиту, и ощутил, как тоскует по этой улыбке.

«Я же знаю, лисица, ты опять приползешь...» — он

улыбался в зеркале той улыбкой, которая была Элитиной собственностью. Но к этой улыбке было примешано сейчас то, что вызывало в ней лисью похоть.

«Если ты не дух святой, как твоя полнокровная пышнотелая плоть угадала, что я здесь? Или ты ясновидящая? Ясновидица и блудница?» — он опять улыбнулся той улыбкой, которую могла выудить только Элита.

«Приди ко мне! Появись! Сжался! — он опять оглядел себя в зеркале — с Элитой ли я говорю? — Тебя же так влечет дух мужской...»

Он присел на кровать. Единственный стул был оставлен Элите.

«Вот лиса! Знаешь ведь, что я здесь, не ты — тело твое знает. И знает, что я один сейчас. Если б Бакури приехал, он уже давно бы был тут. Твое тело все знает, все ведает, лисья душа!»

Он называл ее лисонькой и в мыслях своих, и вслух так ее звал, что вовсе с ней не вязалось, но пробуждало в нем жар желанья.

Х

Она шла на цыпочках, и в приоткрывшейся двери возникла сперва ее спелая грудь, потом она вся. Лицо ее скрывалось под слоем краски, но сквозь краску проступала радость, а над радостью слабо витала обида, несколько деланная.

— Бессовестный! — сказала она, поведя плечами и всем торсом и трянув головой. Короткие волосы упали ей на глаза, и она откинула их назад.

— Ли-сонь-ка! — он сильно выделил два первых слога и последнее «ка» произнес на легком дыхании, невнятно и нежно. Он балованно потянулся к ней, глядя прямо в глаза и с той улыбкой, которая принадлежала ей одной.

— Улыбается, кошечка! — его улыбку она называла кошачьей, только где она видела, чтобы кошки смеялись тем странным, язвительным и чувственным смешком, какой бывал у Ватути?

— Может, сядешь?

— Да нет! Куда ты предложишь мне сесть?

— А вот сюда, рядом!

— На стуле пиджак.

— Дай поцелую...

— Ты мне пыль в глаза не пускай!.. Я не целоваться пришла! — Она села к нему на колени и подставила щеку. — Где это мы пропадали?

— Как ты могла узнать, что я приехал, — может, ты ведьма и под землю видишь насквозь? Или умна через край? — Кому чего не хватает, о том и тверди, что тут его сила, — это он отлично усвоил и потому постоянно внушал ей, что она умна как змея и все видит насквозь. А уверять ее, что лицом она хороша и телом, — зачем, когда зеркало рядом?

— Думаешь, я не узнаю? — она изогнулась в талии и движением головы опять отбросила волосы, упавшие на глаза.

— Кто мог подумать, что не узнаешь? — все та же улыбка, рождаемая только Элитой, не сбегала с его лица. — Ты же на три аршина под землей видишь, и все-таки...

— Сорока на хвосте принесла...

— Посмотрите-ка, она и по-сорочьи умеет! — бросил он той, другой, паре, что отражалась в зеркале, словно приглашая их подивиться вместе с ним непостижимой ее догадливости.

— Армянчик этот сказал.

— Почтальон?

— Вот-вот, Арташ.

«Платит мальчишке».

— Но ведь я приехал только сейчас и домой не заходил?

— Мне известен каждый твой шаг.

— Умница моя, ясновидица! — он притянул ее к себе.

— Не трогай меня! Тебе больше ничего от меня не надо! — она положила руки на плечи ему. — Он видел тебя на вокзале. Чего ты торчал там?

— Секретаря факультетского ждал...

— А потом куда изволил направиться? Не сжимай меня так... Лифчик лопнет.

— К Адеишвили зашел.

— А там чего потерял?

— Его сына в армию взяли. А я тетю Пелю в чувство приводил... Уколами.

— Какое несчастье, Ватути. И Колю в то же утро... Не одного Колю, а всю его часть.

— А на какой фронт?

— Откуда я знаю? В такое время держать их здесь не будут... А Коле и не хотелось здесь оставаться...

«Решил, видно, кончать с ней».

— Что делать? Не мы с тобой войну начали...

— Я-то уж тут ни при чем, правда, Ватути?.. Ночами не сплю... Разве моя вина? Был бы ребенок... Ты мужчина, тебе не понять, что значит женщине без ребенка. На что не пойдешь...

— Разве тебя винит кто?

Пока они говорили, улыбка на лице его гасла. Какое-то время он был неподвижен, уткнувшись носом ей в щеку, но запах ее духов и пудры опять стал в него проникать, а с ним, одурманивая, и запах ее тела.

«Не я начинал эту войну, — подумал он, смутно припоминая, что Элита ревновала мужа к молоденькой жене пожилого полковника, с которой он танцевал в клубе, а мне — говорила она — внимания меньше, чем начищенным своим сапогам».

— Что с тобой, Ватути?

— Я о тебе думал.

— Совести у тебя нет...

— Тобою клянусь!

— Ты обо мне думай, когда меня нет.

— Я и тогда думаю, и сейчас.

— А как твои поживают?

— Ничего не знаю.

— Твой отец узнал?

— Бакури ему сказал, кажется.

— И что было? — она хотела слезть с его колен, но он не пустил.

— До того ли теперь?

— Ну и ладно... значит, ничего не сказали?

— Да как-то так, между прочим...

— А я так боялась... Слава богу, что все обошлось. — Она взяла его ладони в свои. — Расстегни, будь он не ладен, а то разорвется...

Он пошарил пуговицы, но вяло, с ним не бывало так раньше, ее пальцы с острыми, как ястребиные когти, ногтями нырнули ему под рубашку и заскользили по телу, и она засмеялась, а пальцы сповали, заставляя и его смеяться до дрожи, до судорог, до обморока.

Он упал навзничь, прижимаясь к ней, не давая при-

косновениям ее рассыпаться по всему его телу, и сквозь слезы этого смеха, глядя в потолок, прошептал: «Хоть убей меня, но я так люблю эту жизнь, отец!»

XI

Знаменитая певица Маргарита Алхазидшвили принимала гостей в длинном, по щиколотку, черном платье, позволив себе совсем немного драгоценностей, которые после революции боялись носить и в последнее время стали бояться опять, ибо поди знай, что из этого выйдет. Высокий воротник скрывал морщины, избородившие шею, но Маргарита носила голову высоко, словно глядя в потолок, а на самом деле желая вместе с морщинами скрыть второй подбородок.

Черный цвет молодил ее увядающее, но еще румяное лицо, однако домашний вечер, казалось, не требовал такой театральности. Они с мужем уважали рабоче-крестьянскую власть, и надо было бы соответствовать той подчеркнутой простоте, что теперь стала принята, но знаменитая певица ощущала себя много выше других дам их круга, ибо она служила искусству.

Сегодня, когда ее муж был снят, нельзя было позволять женам других наркомов и директоров смотреть на нее сверху вниз. Их мужей можно было и понижать, и снимать, и еще чего похуже, но Маргарита Алхазидшвили — оставался ее муж Меки Ардадзе наркомом или нет — была Маргаритой Алхазидшвили. Поэтому голову надо было носить выше прежнего.

Меки держался скромнее, словно говоря, что хотя он кругом прав, но, возможно, в его делах не все так уж и чисто и даже если он, по слабости души, и позарился на хорошую жизнь, то ведь весь этот новый быт (и да здравствует он!) не означает же, что ходить будем голы и босы.

С тех пор как Меки сняли, они не звали гостей, и сегодня впервые приглашены были на ужин товарищи по работе — в знак старой дружбы и возвращения в ее лоно и в знак примирения Ардадзе с судьбой, поскольку волю в схватке с буйволом рогов все равно не сносить. К тому же и война к нам в дом пришла, многих призвали и многих еще призовут. Еще неизвестно, как обернутся дела, и может быть, я буду нужен, а сейчас я забыт, и,

если каждый из вас за меня замолвит словечко, язык у вас не отсохнет, а я своему народу не враг и как отчизне был верный и преданный сын, таким и остался.

Было объявлено, что это день рождения дочери. Дни рождения в те времена справлялись, тогда как широких и шумных застолий избегали, особенно в кругу большого начальства.

Но истинную причину этого приема знала только самая близкая родня, которая, конечно, держала рот на замке. До дня рождения Цицы было еще далеко, хотя званы были гости как раз из-за Цицы, ее в институте предупредили, чтобы ни шагу из города, вот-вот могут направить в полевой госпиталь, и не исключено — на фронт санитаркой. Кто знает, как сложится дальше, и не придется ли знаменитой певице и бывшему наркомуну выводить к гостям выдавшую виды фронтовую сестрицу? Маргарита — нож к горлу — пристала к дочери: за кого хочешь, но — замуж, замужества мало — забеременеть, лишь бы справка была.

Капризная Цица только плечами пожимала — у кого, интересно, хватит наглости сделать ей предложение?

— И все-таки... Тебе-то я знаю — никто... Но, может быть, ты кому-нибудь нравишься?.. Здесь надо, чтоб только любовь. Сватовство затевать — пойдут пересуды, прицепят бог знает что.

— Думаешь, таких не найдется? Да сколько угодно! — удивлялась Цица материнскому любопытству, будто мама не знала, что у нее хвост поклонников...

— И все-таки определенный кто-нибудь есть?

— Я даже не знаю...

— Не знаешь? А что творится кругом, это ты видишь?

— И вижу и слышу, но что прикажешь делать?

— На самый крайний случай — один хоть найдется?

— Сама не знаю, что тебе и сказать...

— Ты что, думаешь, я такая же квочка и дура, как наши соседки?

— Совсем я так не думаю...

— А не думаешь, так говори... Я его знаю? Он бывает у нас? Только чтоб не из этих, из Ношрewanовых оборотов беспутных... И этого, хромоногого, бог знает кого из себя корчит, тоже мне, великий артист... об этом ты мне вообще не толкуй. Он чем занимается? Тоже стихи кропает?

— Нет, мама, он со мной учится.

— Это я знаю... Это хорошо, значит, при деле... Но ведь он как наш дурачок, тоже с ними валандается, у которых в голове один ветер.

— Его брат сюда ходит, с Ношреваном на одном курсе, талантливый, говорят.

— Ой, не верю я в их таланты.

— Твой же сын говорит, а не я.

— А этот прощельга колченогий братишку своего — что, пасет здесь? Если б можно было пасти и спасти, я ж с твоего брата, как ястреб, глаз не спускала б, а что получилось? Одна забота, чтобы из дому не сбежал и на весь свет не ославил, принимаешь этих дармоедов, которые только ночи напролет кукарекают и слюни на пол роняют. Домработница с ног сбилась, чтоб после них комната жилой вид обрела.

— И невестка его будущая тут, с Мамукой приходит.

— Это которая?

— Ну, такая, глазищи у нее горят прямо. Сынок твой говорит, она тоже талантливая...

— Девчонка неплохая, но уж очень мала... Была бы с тебя ростом... А ну их ко всем чертям. Ну, а тот, адеипвилиевский жеребчик, он звонил тебе?

— Малхаз?

— Да.

— Он же лет на десять старше меня.

— Ну и чего ж он ждет? Жениться не думает?

— Да где ему жениться? Это дома к нему пристают, трубку взять заставят — он и звонит: «Может, Цица, в кино сходим?» — «Ну, пойдем». Придем в кино. Он на экран уставится, не оторвать. Проводит до угла. «Как бы ваши меня не увидели», — и пошел. «Пускай, говорю, видят». А он — краснеть. Когда верзила такой заливается краской, гора горит, кажется. И уйдет. Он — жениться? Да и что интересного в нем? Живет себе в свое удовольствие, как сыр в масле катается.

— С виду зато — настоящий мужчина.

— Что я сделать могу — позвонит в полгода раз.

— А этот хромой чего тут вертится? Чего ему надо? Ни самолюбия, ни стыда?

— Не знаю, чего ему надо...

— Сейчас же отвечай, а то за волосы оттаскаю.

— Да нога у него...

— Он что, родился хромой?

— Нет, сломал, и плохо срослась. Ему бы хирурга хорошего...

— Ах, вот почему он сюда на рысях? И глазами по сторонам рыскает, шарит...

— Ну, чего там он шарит? Скромный парень, и все. Он же не как все эти стихоплеты... пройдут и не взглянут... И не бежит прочь, завидя наш дом... Время уже другое, и дом наш другой... Чего там глаза закрывать...

— Тоже мне поэты, стихоплеты... А этот хромой ковыляет себе, а сам хвостом следы замечает. Уж очень он верткий и скользкий — угорь какой-то.

— Ну и язык у тебя, мам... все разметет.

— Итак, дочка, до кого ж мы с тобой докатились?!

— Никуда я не докатилась, а из тех, кто известен тебе, — он один.

— А другие?

— Других ты не знаешь, и не о чем тут говорить. А скажу, ты ж не поверишь?

— На днях у нас гости, приглашай — кого хочешь, чтобы я своими глазами могла поглядеть.

XII

Гости собрались — мелкая сошка, куда мельче, чем мог ожидать, по самым худшим своим предположениям, Ардадзе. Два замнаркома, Чантладзе и Кикимелиа, едва отозвались на приглашение. Чантладзе уже качался, и слухи ходили, что его скоро сменят, через Кикимелию нарком просвещения передал свои извинения, так как Меки приглашал его самолично и еле вырвал обещание приехать.

Кикимелиа чувствовал себя попрочней Чантладзе и держался повеселей. Чантладзе был как мокрый цыпленок, не успевший забиться от дождя под крыло клуши. Руководители торговли, правобережной и левобережной, явились лично. Оба они считали себя заместителями директора Тбилторга, но правобережный начальник смотрел на левобережного несколько свысока, хотя ростом был ниже.

Директор мединститута прислал вместо себя своего заместителя, кандидата наук Силибистро Сарчимелидзе. В другое время он бы на это не пошел, но у наркома

здравоохранения, вконец издерганного организацией медкомиссий по призывным пунктам и мобилизацией медперсонала, не было времени не только на то, чтобы расхаживать по гостям, но в голове почесать, а жена его в жизни б не отказалась от званого ужина и могла капать мужу на директора в пользу Сарчимелидзе, который денно и ночью мечтал пересест в директорское кресло. Но не то было время сейчас, чтобы подобное капанье могло подточить положение директора института.

Остальные были жены, дочери и засидевшиеся в девах сестры начальства, а также сестры их жен.

Из однокурсников Цицы мало кто был сейчас в Тбилиси, а среди них еще меньше тех, кого можно было звать на этот ужин.

Приятели Ношревана, от которых и так не знали, куда бежать, сгрудились теперь возле распахнутого окна и, повернувшись спиной ко всем гостям, вполголоса читали стихи из тетрадки, которую оставил своей любимой, два дня назад уйдя на фронт, их друг, поэт и горец; стихи эти надо было читать в полный голос, чтобы с одной горы на другой слышно было, а от чтения шепотом получалась невнятица.

Стол был накрыт много позже, чем было положено, и то благодаря лишь Анапо Адеишвили.

— Что вы сидите, словно в доме покойник? — изумился он, едва переступив порог. — Или немцы уже за углом? Я прямо из треста и ничего такого не слышал. Если что знаете, так скажите — надо и мне манатки свои собирать, — и он захохотал во все горло. — Ладно, будет, я пошутил, не подумайте только, если немцы окажутся здесь, что я раньше вас побегу...

И всем напоказ он поцеловал руку Маргариты, опустившуюся на ладонь его правой руки.

— А ваш сын? — улыбнулась хозяйка.

— Мой сын... — Анапо наклонился к ее уху так близко, что она слегка отодвинулась, и улыбка, как маска державшаяся на ее лице, сменилась тревогой.

Анапо с неуклюжей своей почтительностью обошел всех гостей, и знакомых, и незнакомых, что было отмечено Маргаритой. Подойдя к молодежи, которой дела не было до старших, он задержался возле Мамуки и потрепал его по макушке. Потом, совсем закрутившись, поискал глазами Меси и, не обнаружив его, нимало не удивился, поскольку стол был еще не накрыт.

— Товарищи! Война началась, но мир еще цел! — заявил он, чтобы развеять царившее в комнате уныние.

Кикимелиа, обнажив прокуренные зубы, поддержал тот огонек надежды, который хотел сам зажечь, когда еще только вошел.

— Мы целыми эшелонами посылаем на фронт таких ребят, что через месяц они свернут немцу голову.

— Что-то уж больно быстро он продвигается, — словно ученик в классе, поднял волосатую руку начальник левобережной торговли, который, сидя под веселеньким, пестрым пейзажем в золоченой рамке, вполголоса об этом как раз толковал с начальником правобережной торговли.

— Ну, это еще как поглядеть! — Кикимелиа, не повернув головы в сторону обоих начальников и забросив ногу на ногу, поглядел на Анапо так, что сомнений не оставалось: песенка Чантладзе спета.

— Нет, наша Красная Армия это же сила и мощь, двух мнений здесь быть не может, — заговорил замдиректора мединститута Силибистро Сарчимелидзе, который, опираясь на подоконник, поглядывал на наркомовскую жену Лизу, всей своей позой и интонацией внушая ей, чтобы мужу все было передано, все, что он говорит, а если он не мог протащить в институт всех ее протеже, то ведь он, к нашей общей беде, еще не директор. — И если мы отступаем, — продолжал он, — то лишь потому, что так было замыслено, правда, прошло уже две недели и медперсонал весь на фронте, больницы пусты.

— Это тактический расчет, мой друг Силибистро, тактический расчет! — не поворачивая головы, пояснил Кикимелиа.

— А не слишком ли много мы теряем на этой тактике?.. — Чантладзе решился спросить то, о чем думали все, но держали язык за зубами, будто вовсе его проглотили. «И так у меня не путем все идет, — думал он, — а при всех неприятностях еще можно остаться без ужина».

— Тактика есть тактика, товарищ Каленике, и в ней ты не смыслишь ничего! — Наконец Кикимелиа решил взглянуть в его сторону. — Французы Москву взяли? Взяли! Но с чем Наполеон ушел, с тем и твой Гитлер уйдет, и кто бы там ни был еще.

— С каких это пор Гитлер мой? — обиделся Чантладзе. «Не хватало еще, чтоб мне и Гитлера нацепили...»

— А чего ж ты, как в учредилке, вещаешь тут, до-

рогой товарищ. Здесь, кроме нас с тобой, еще люди есть... Молодежь собралась, комсомольцы. Нам положено их воспитывать, чтоб они верили, а ты тут страх и панику сеешь.

— А я-то при чем? Это и в газетах пишут, и по радио говорят...

— Что пишут, товарищ Чантладзе, что говорят? — Кикимелиа обратился к нему по фамилии, и это смутило всех. — Пишут и говорят, что Совет обороны и командование придерживаются тактики, которая врагу на руку?

— Да разве я говорил это? Послушайте! Когда это я такое сказал? — на Чантладзе, который и без того сидел, как сидит под дождем выбившийся из-под насадки цыпленок, обрушился ливень и хлынувшие потоки грозили смыть его с лица земли.

— Ты, может, и не говорил, но тебя можно так понять, — Кикимелиа протянул руку тому, кого только что сбросил в бурлящий поток и беднягу уносило течением.

— Боже, как интересно! О чем это вы? — засмеялась невестка наркома так, словно между Чантладзе и Кикимелиа происходила легонькая перепалка, до невозможности остроумная.

— О, наша Нино права, совершенно права! — вроде бы и Анапо дуэль двух замнаркомов показалась такой же забавной, как и этой смешливой даме, но поосторожней на поворотах — не помешает, и он поправился весело:

— Давайте о чем другом потолкуем. Если можно, конечно! И благодетелей наших, хозяев, попросим, пусть одарят нас своей милостью, — прокричал он так громко, что Меки, будь он дома, не мог его не услышать.

Взяв веер с рояля, Маргарита направилась в кухню, однако с той сдержанной поспешностью, которая не могла уронить ее достоинства. Женщины с завистью смотрели ей вслед.

Почти тут же в дверях появился Меки Ардадзе и с оживленьем, не вязавшимся ни с возрастом его, ни с полнотой, ни с потеряннм местом, внес огромный поднос, над которым как ворох сена клубился пар, а следом ворвался в гостиную удушливый жар и чад кухни.

— Я здесь, мой Анапо, мой верный брат, пусть твоя

верность будет вечно со мной! — с дымящимся подносом в руках Меки приблизился сперва к верному брату и, вытянув шею, поцеловал его, а Анапо с великой охотой стал помогать другу, у которого руки отваливались под тяжестью подноса, иначе достиг бы раскаленный поднос стола или нет, было так же сомнительно, как дальнейшее пребывание Чантладзе в замнаркомовском кресле.

Держа на пальцах одной руки серебряное блюдо с тремя хачапури, а другой рукой обмахиваясь веером, Маргарита приблизилась к столу, а за нею следовала, сгибаясь под бременем всякой снеди, их дальняя родственница с засученными рукавами и багровым от жара лицом, ничуть не смущаясь, однако, чрезмерной своей живописностью.

— Встань, девочка! — Маргарита сверкнула глазами в сторону дочери и расцвела улыбкой, предназначенной всем, кто был в гостиной. — Когда это было, чтоб ты сидела принцессой?

— Сегодня ей можно, — улыбнулась Лиза, которой улыбаться так же не шло, как не шла к золоченой раме, висевшей на стене, та убогая копия, что была в нее вставлена.

— Да, родная моя, сегодня ей все позволено, — вмешалась сестра наркомовской жены и рассыпалась таким звонким смехом, словно смеялась не старая дева, а юное, грациозное существо.

— Утащат ее у тебя, Маргарита, и ничего ты тут не сделаешь! — с глубокой печалью посетовала пышная жена председателя райисполкома; можно было подумать, что она явилась сюда с постной миной из одного лишь страха перед этой бедой, нависшей над семейством Ардадзе.

— Вы посмотрите на нее, она и правда нос задрала, не шевельнется, — рассердилась хозяйка, не переставая, однако, улыбаться и останавливаясь возле дочери, которая болтала с женщинами.

— Вот будет у мамы день рождения, тогда и Цица покрутится, — опять вступилась за молодую хозяйку Лиза и улыбнулась, хотя многие старались не смотреть на нее, так неприятно она улыбалась.

— До маминого дня рождения еще далеко, — Маргарита уже совсем позабыла о дочери. Но улыбка ее не должна была потерять своей прелести оттого, что она в

шутку сердилась на дочь, и теперь ее смех говорил всем — и дочери тоже, — что, конечно, ты моложе меня, но будь я даже вдвое старше, с моею улыбкой тебе не тягаться.

— Разве я не сказала, что мы завтра же придем на твой день рождения? — явно сдаваясь, произнесла наркова невестка и улыбнулась так кисло, словно в рот ей вместо конфеты попала неспелая алыча.

Цица лениво поднялась и, прихватив с собой двух подружек, отправилась на кухню, не повела их за собой, а потянулась за ними. Она несла на себе тяжелый взгляд Ватути, как обнищавшая модница несет последнюю простенькую безделушку, а держится так, будто вся в жемчугах.

Стол был накрыт, и все расселись.

Друзьям Ношревана хотелось посидеть, как всегда, в Ношревановой комнате, пусть за скромным столом, но сегодня невозможно было отпустить от себя молодежь — ей предстояло назавтра исполнить свой долг перед страной, над которой нависла опасность. Деваться было некуда, и, примирившись с судьбой, ребята поплотней сдвинули стулья и уселись все рядышком на другом конце стола.

Текла, втиснутая между Мамукой и Ношреваном, в одной руке сжимала письмо, которое только что получила от матери, а другую просунула под локоть Мамуки.

Анапо, выбранный тамадой, окинул хозяйским взглядом застолье и назначил Ватути своим помощником и тамадой молодежи.

— Ты, достойный сын своего отца, не осрамишь меня!

Ватути мигом вскочил и, стоя на цыпочках — благо под скатертью не видать, — отказывался от предложенной чести до тех пор, пока не продемонстрировал всем: выбран именно он, и если до сих пор кое-кому странным казалось, как этот незаметный молодой человек позволяет себе не спускать глаз с именинницы, то теперь это значило — он снедаем тоской и любовью.

XIII

Цица мусолила аккомпанемент. Маргарита, облокотившись на крышку рояля, пела:

Тебе одной все, что послал мне бог...

В последние годы этот романс Маргарита посвящала обыкновенно одному высокоодаренному дирижеру, к которому питала безответное чувство. Дома же или в гостях романс адресовался или наиболее почетному лицу, или же ослепленному ее красотой и искусством поклоннику, который после романса окончательно повергался в прах, ведь женская жажда побед ненасытна.

Дирижер давно исчез с горизонта, а деревянным ушам Кикимелиа что пой, что не пой — все одно. Чантладзе теперь не до романсов и не до еды даже, он только молча потягивает вино, не дай бог еще чего-нибудь брякнуть. Анапо... От Анапо чего ждать, поворкует с ней из любезности, и ладно, особенно с тех пор, как получил трест и понял, что певицам и балеринам можно покровительствовать, но сам всем балетам и операм предпочитал в обнимку с друзьями распевать за столом старинные «Супрули» и «Мравалжамьер».

Только на том конце стола ее слушали друзья Ношривана, да еще этот вертлявый обожатель ее дочери, что ни минута — с места вскакивает, но все они были ей безразличны, и песня прозвучала равнодушно и холодно, без вдохновения, на одном мастерстве.

Похлопали все ж от души. Подскочил Анапо, опять приложился к ручке и, провожая ее к столу в своих обтягивающих сапожках, сделал даже несколько па.

«Наша вечно цветущая, вечно юная, вечно прекрасная...» — молотил он что ни попадя, не соображая, что «вечно юная» и «вечно прекрасная» не говорят даже семнадцатилетней девушке, а обращают лишь к той, которую уже покидают и молодость, и красота, и, конечно, эта Лиза, супруга наркома, уже переставшая сопротивляться успеху хозяйки, оторвалась от тарелки в мелкий цветочек и, продолжая вяло жевать, уставилась тусклыми своими глазами прямо на всех.

Друзья Цицы хлопали дольше всех, и хромоногий помощник тамады почтительно попросил у Анапо разрешения выпить всем вместе за здоровье хозяйки дома.

По лицу Маргариты пробежала тень недовольства, потому что ее уже затянуло в тонкую сеть женской интриги, которую успели силести в этот вечер, а в расчеты ее не входило задеть и унижить супруга наркома.

«Этот нахал — он просто погубит меня. Не дай бог

начнет, как Анапо, трещать про мою вечную молодость,— этой бледной немочи Лизе только на руку. Еще немного, и все эти тухлые мухи совсем оживут, а жена предрайисполкома уставится в потолок — и ни с места. «До небес возносящий хулителя хуже».

Серьезной соперницы у хозяйки сегодня, конечно, не было, а была бы, не время сейчас тратить силы на эти уловки, сто тысяч раз пускавшиеся в ход, чтобы заставить всех баб лезть на стенку, а себе создавать ореол.

— Да не будут за этим столом позабыты достойнейшие! — снова поднялся Ватути, и Мамуку передернуло, а Анапо просиял. — За этим столом восседают прекрасные дамы: мадам Елизавета, чарующая нас кротостью и милосердием...

Услышав вместо дифирамба в адрес этой певички доброе слово о себе, супруга наркома здравоохранения радостно изменилась в лице, и хозяйка тоже обрадовалась, ибо женской стае была брошена кость, а отважный оратор, перед носом которого сидела та, что служила источником его вдохновения, кого так не хватало сегодня певице, когда она исполняла свой знаменитый романс, упоенно продолжал:

— ...чарующая нас своею улыбкой и поглощенная печалью о всех нас...

У Маргариты дрогнула бровь: слава богу, понятно теперь, почему супруга наркома улыбалась так кисло, однако хватит, пожалуй, а то он еще крылышки ей приделает, тоже мне ангел прокисший, но Ватути превозносил уже улыбчивую Нино за открытое и щедрое сердце... даже мелкую ссору между приятелями умеет она озарить светом радости и добра.

Бедняжка Нино наконец успокоилась. Сколько раз в этот вечер она заливалась смехом не к месту, а кругом все угрюмо молчали, и она в конце концов совсем сникла в страхе перед могущественным зятем, который вдруг спросит, ты чего веселилась, когда все молчали, и тогда что ей отвечать?..

— Мадам Эвелина...

Жена председателя райисполкома Ева заправила за ухо седую прядь и подивилась тому, что Эвелина и Ева одно и то же имя.

— Заботься она лишь о собственном благе и о благе семьи своей, ей бы вволю и смеяться и радоваться, но ее гложет забота о молодежи, о нас!

«Как это он узнал, что у меня детей нет...» — поразила опять Ева-Эвелина.

Ватути обвел взглядом всех женщин за столом и, убедившись еще раз, что супруга предисполкома лет на десять старше хозяйки, значит, хозяйке тут завидовать нечему, произнес:

— Еще два месяца назад встретить я мадам Эвелину, уверен, это был совсем другой человек, но сейчас, в эти тяжкие дни, милостивые государи, когда идет война...

Он позволил себе это «милостивые государи», когда слово это резало слух, так уверенно и свободно, словно молодому человеку и невозможно было обратиться иначе к мужчинам и дамам возраста его матери, к таким влиятельным дамам — не товарищами же их называть, — даже деревянных ушей Кикимелиа обращение это не резануло. Хотя оратор держал ухо востро и когда словечко вырвалось, ничего бы не стоило тут же обратно его заглотнуть, если б оно покорило, но он не увидел, чтобы слово кого-то задело.

— Ладно, кончай... — не удержался Мамука, и Текла сжала локоть его еще и другой рукой, в которой зажато было письмо матери из Абастумани.

— Он же за Маргариту поднял тост!..

— Тогда пусть о ней и говорит.

— Помолчи лучше, родненький!

Ватути улыбаясь поглядел на младшего брата, веля взглядом ему заткнуться, отцовский обломок... «За столом слышно, как муха летит, а ты, родной брат, на позор меня выставить хочешь?..»

— За этим прекрасным столом я не вижу ни пустомель, ни фанфаронов, что надеются, кичась и шумя, обратить на себя внимание общества, — такие люди еще водятся на этом свете, но не здесь, в этих стенах. Я хочу поднять этот тост за скромность, за достойнейшую мадам Ефросинью и за сестру ее, столь же скромную и достойную мадам Агафью.

Тут Маргарита была сражена. Жену военкома вместе с ее сестрицей не то что в их доме, вообще никто раньше в глаза не видал; как подступиться к ним, она просто не знала, а они сидели себе в уголке и только платья одергивали. Пришли — ни «здрасьте», ни «добрый вечер», только руку пожали хозяйке и, пока не накрыли на стол, молча сидели, будто их в угол поставили, а когда повели

их к столу чуть не силком, они и тут как воды в рот набрали, словно в толк взять не могли, куда это их занесло. Стеснялись, видите ли, а все уж решили, может, немые, и старались на них не глядеть, а они, ты посмотри, как зачирикали: «Спасибо, родной, спасибо, дорогой!»

— Наша молодежь... Друзья Цицы и мои! — всех друзей он свалил в одну кучу. — Спросите у любого из них — какой дивный человек наша Цабуния! Милостивые государи! — сейчас его «милостивые государи» прозвучало уверенно, потому что, он заметил, многим это слово ласкало слух, — я в этом доме не в первый раз... Это не только замечательной актрисы дом, — хозяин дома Меки и прекрасная Цица покровительствуют искусству и трудятся во имя его. Перед любым из этих молодых людей — одарен ли он от природы талантом, — и Ватути милостиво поглядел на Теклу, которая тут же прикрыла Мамуке ладошкой рот, — или наделен только стремлением к прекрасному, как наделяет природа ребенка желанием дотянуться до огня, — исподлобья он взглянул на Цицу очень жалобно, — для них всех двери этого дома открыты.

Да, уважаемый тамада! Всем нам хорошо известно, что Цабуния, сестра Цицы и Нощревана, — полноправный член этой семьи, зови ее как угодно, и племянницей, и сиротой, и молочной сестрой, и еще бог знает как... Но ведь мы знаем, кто кому истинный родственник. — Тут он заметил, что Маргарита настожила. — И каждый, кто вошел в этот дом, знает... — Хозяйку уже явно задевала легкость его тона, пустая, как клятва вора, — что не только Цабуния, но многие парни и девушки, и в дальнем родстве не состоящие с этой прекрасной семьей, — многие из нас обретают здесь и приют, и ласку. Хозяевам дома мы как родня. Разве это не так, мои дорогие друзья? — И, не дожидаясь, чтоб с ним согласились, закруглил: — Сколько раз мне приходилось слышать, что Цице влетает за блюдце или за чашку, которую разбила Цабуния...

У Цабунии, высунувшей голову из кухни, глаза и впрямь стали величиной с блюдце.

— И фундамент, на котором стоит этот дом, — я прошу извинить, что длинна моя речь, но щедрость и милость этой семьи исчерпать невозможно, — по основа основ... Я не хочу принизить роль мужчины, но он в семье гость,

заботы его — государственные, основа основ этого дома мадам Маргарита Алхазивили, о высоком искусстве которой я не позволю себе и слова сказать, ибо оно известно не только нам с вами, но всей нашей стране.

Анапо вскочил и, обежав стол, заключил Ватути в объятия, наплевав совершенно на то, положено то директору треста или не положено. В голове стола захлопали.

— Вот такая у нас молодежь! Никакому врагу не победить нас, — отчеканил Кикимелиа и с укором кивнул Чантладзе и Сарчимелидзе.

Сарчимелидзе успех его студента радости не доставил, все равно успех этот был бы отнесен за счет ректора института, и, таким образом, освобождение того от должности могло бы затянуться и Сарчимелидзе совсем бы завяз в своем заместительстве, но потом ему пришло в голову, что ведь директора могут и наверх двинуть, и тогда он, хоть и с некоторым запозданием, заплодировал.

До Мамуки, злившегося на брата, до Теклы, не отпускаящей локоть Мамуки, до Ношревана и его друзей, усмехавшихся иронично, никому дела не было, потому что те, что сидели во главе стола, и те, что занимали его середину — Цица с подружками, — в один голос признали Ватути цидероном.

— Разве не горе, чтобы такая молодежь погибала, — только это и спросила Маргарита у Сарчимелидзе.

Настроение у нее то и дело менялось, и сейчас ей хотелось показать, что ее беспокоит судьба не одной только дочери, но на всю молодежь она смотрит как на родных детей, что так верно подметил этот молодой человек.

— Не знаю... — он хотел добавить «мадам», но вовремя спохватился, — что тут можно сказать. — И в голосе его прозвучало только: «Нас ведь не спрашивают».

— А нашего сына мой муж сам на фронт послал на другой день войны, — прозвучал горестный голос жены военкома, и она опять одернула платье.

— Симона, нашего мальчика, — глубоко вздохнула ее сестра Агафья, пожилая, одинокая женщина, и ее долгополое платье чуть не лопнуло на коленях, так сильно она натянула его.

Опустевший взгляд Маргариты остановился на сестрах, когда из дверей, всполошенная, выскочила Цабуния и зашептала что-то на ухо хозяйке.

- Так возьми и принеси сюда.
 - Не отдает...
 - Почему?
 - Хозяину, говорит, отдать положено... чтоб расписались...
 - Расписались?!
 - Дяде Меки сказать или позвать Ношревана?
 - А Ношреван тут при чем?
 - Так на его имя.
- Маргарита вскочила, словно ее полоснули хлыстом.

Ардадзе получили повестку о призыве их единственного сына.

Маргарита вернулась к гостям перед тем, как им разойтись, и под неумелый аккомпанемент Цицы спела «Таво чемо... Голова моя горькая», и ни те, кто хоть что-то понимал в музыке, ни она сама, с тех пор как стала петь, не помнили, чтобы эта древняя скорбная песня была ею пропета с такой беспредельной печалью и горьким отчаяньем.

XIV

Текла с Мамукой вернулись домой поздно ночью и возле зажженной лампы застали бабушку. Она была вся в смятении и дрожала, и они едва могли вытянуть из нее, что целый вечер здесь просидела Ивлити.

— Тетя?! — изумился Мамука. Он мог представить что угодно, только не то, что надменная сестра Парны сама пожаловала в семью, где ее простодушного и чистого племянника так коварно опутали и не выпускают.

— Что ей надо? — У Теклы кровь отхлынула от лица: может, Парна разузнал, что она держит Мамуку у себя, и послал сестру вызволить сына. Неужели они со всеми их «нет» и «нельзя» не могут понять их с Мамукой. Что же им тогда делать?

— Спросила, где ты пропал, почему к ней не ходишь?..

— И больше ничего? — удивился Мамука, который знал свою тетку и понимал, что она не станет унижаться ради того, чтобы осведомиться о здоровье племянника или проведать его. — Когда она приходила?

— Я же сказала, сынок, пришла к вечеру и ушла только что.

— И все это время тут сидела?

— Да, сынок...

— Что-то случилось... — заволновалась Текла и вся в слезах кинулась в свою комнату — она сама не могла понять, почему все последнее время так часто плачет.

— Тебя, сынок, кажется... — прошептала бабушка, у которой голос вовсе пропал, — тебя на фронт призывают, родненький мой! Ой, как бы Текла не увидала, там, на круглом столе...

На цыпочках пройдя в комнату, Мамука осторожно взял со стола повестку: вдвое сложенная, она лежала возле раскрытой книги, и спрятал за спину, как украл.

Текла всхлипывала, уткнувшись носом в подушку.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Стемнело.

Два паровоза мчали нескончаемо длинный эшелон, и, когда хвост его пробегал мимо пристанционной стрелки, где раздваивается колея, голова его была уже далеко впереди, где пути сливаются вновь.

Эшелон летел на восток — без остановок. Составы, пассажирские, товарные, маневренные, сформированные и несформированные; отгонялись на запасные пути и безропотно пережидали, уступая ему дорогу.

Его мощный гудок с ревом вспарывал темноту, вместо однообразного перестука колес на стыках рельсов рассыпался треск, грохоча проскакивались мосты, в раздвинутые двери набитой теплушки скрежет и лязг врывались так оглушающе, словно распираемый злобой состав раздался не только в длину, но и ввысь, и вширь, и, вмещаясь в фермах моста, кроша и сминая, сдирал их и, нацепив на крыши своих теплушек, уносил на себе.

Эшелон с налету рассек станционную тьму, от рева его взметнулись, во все стороны пути на стрелке, и, словно взмыв над путями, трепещущей капелькой теплой крови дрожал на хвосте красный свет тормозного огонька.

Обхватив перекладину из неоструганной отсыревшей доски, служившей в теплушке вместо засова, Бакури уперся в нее лбом. Кисти рук, вцепившихся в перекладину, так затекли в этой тряске, что, когда на повороте вагон швырнуло вбок и, казалось, снесет сейчас с рельсов, онемевшие до локтей руки выбросило вперед и крутым своим носом с чуть заметной горбинкой Бакури ударился о ребро доски. Подняв голову, как во сне, он потер пере-

носицу, приложил платок к ссадине и, опершись о доску локтями, уставился в темноту. Словно решив наконец соскочить с рельсов, вагон качнулся, как необъезженный жеребенок, Бакури прижало грудью к засову и сразу чуть опять не отбросило. Вперившись в темноту за вагоном, он выкинул руки вперед и повис на перекладине.

Над горами еще можно было различить темно-сливовое, цвета глаз вороного коня, небо, и, словно блики заходящего солнца в этих глазах, мелькали звезды в просветах громоздившихся облаков.

Позади все было залито светом, как днем: мать и отец, дядя и бабушка — они и сейчас еще ждут его, проводил, видно, думают, кинцурашвилевских ребят — и домой; и еще — Эстатэ, Эпраси, Потола, Гугута...

Гугута!

В стародавние времена это был чей-то дом, а теперь тут — военкомат, двор захламленный, новобранцы в плотном кольце родни, глаза у всех красные, в углу двора свален тес с еще не выветрившимся запахом ладана и огорожен загон, в котором — лошади, реквизированные на войну, — битком их в загоне. Здесь, под забором, на сваленных досках и спиленном столбе, Бакури нашел себе место, безучастно поглядывая на этот всполошившийся люд: тут и пели, и плакали, один — голову уронив, другой — к небу задрав, всех он видел откуда-то сверху, даже тех, кто был ростом много выше его.

А сейчас он глядел на себя издалека, из теплушки, и отсюда сквозь тьму видел парня, притаившегося под забором, на которого всем наплевать, слава богу, каждый сыт своим горем. А родным ничего не известно.

Все равно бы это случилось, не сегодня, так завтра. В их лачугу, которую вместе с Ватути они сняли в Тбилиси, в сванском квартале, повестка, наверное, уже пришла. Все же надо было сначала в Тбилиси и оттуда — на фронт... Пара пустяков от Мамуки смыться, от Ватути и тетки Ивлити. А увязались бы провожать, может, было б и лучше... А может, и не было б лучше? Нет, все-таки было бы лучше, чтобы все сейчас были с ним — вся родня, ближняя, дальняя, но не Гугута... Или... А может быть...

Только бы Потола не вздумала искать его вместе со своей двоюродной сестрой. Если они обнаружат его здесь, на задворках, то вообразят еще, что он нарочно сбежал сюда, чтобы один на один встретить Гугуту и сказать ей в лицо, отчего между ними раздвинулась бездна.

Нет, никогда он не скажет, ни за что... И не только сейчас, когда до фронта еще ехать сколько, но пускай на войне ему пуля лоб пробьет и он помирать будет, и тогда он словечка не вымолвит. Так даже лучше — пусть не знают. Ведь не мучиться ж ей всю жизнь.

Нет, тут не скроешься. Потола трех братьев провожает на фронт, а для Бакури время найдет. Правда, к военкому он незаметно пробрался, написал заявление — и другим ходом обратно. Ни одна живая душа его не видала. Но Гугута?..

Он поднялся с земли.

Нет, тут во дворе, под забором, не место... Надо убраться подальше, и, пока не начнут выкликать новобранцев, он приткнется к загону с той стороны, что в поле выходит, там поспокойней, потише... и переждет. Возле загона толпились хозяева лошадей, а внутри, словно живые рыбины, брошенные в бочку с солью, метался табун. Нет, с той стороны его не найти.

Но для измаявшейся души и здесь не нашлось успокоения, найти место потише он уже не надеялся, и, опустившись на корточки, он привалился к забору, который сам чуть не падал на землю. За спиной у Бакури — вытоптанная трава, фыркание лошадей, стук копыт, людской гомон, дыхание сотен, стон и песня, тоскливое стопа, — все перемешивалось и стояло в тебе комом из крови и слез.

На зеленеющем косогоре человек в чохе кинжалом срезал траву. Искал, видно, получше, а так бы зачем на пучок травы столько времени тратить? Человек выпрямился, шагнул навстречу Бакури, но Бакури и отца бы родного сейчас не признал, он только понял, что человеку трудно ступать, будто он только-только начал ходить.

И лицо! Господи, какое лицо и какие глаза были у этого старика... Что думал он делать, этот странный призрак с кинжалом, оправленным серебром и только что выдернутым из ножен, — в одной руке и пучком свежей травы — в другой?

Старик едва дотащился до забора и сквозь колья просунул траву. Бакури привстал и поверх скособоченного плетня глянул в загон.

Рука старика дотянулась до нижней губы вороного коня, прижавшегося мордой к забору.

Завидев корм, другие лошади тоже вытянули шею, а вороной поднял нижнюю губу над пучком, словно поднесли к его носу не отборную травку, а речную гальку,

и дрожащей нижней губой стал поглаживать запястье хозяина.

— С вечера того самого дня он в рот ничего не берет, — пожаловался Бакури старик, как жалуется врачу мать у постели мечущегося в жару сына.

— Заболел? — спросил Бакури: так человек, у которого безысходное горе, увидав, что другому хуже его, почувствует вдруг облегчение.

Старик сокрушенно покачал головой — как мать, которая сказала врачу, что у сына сердце болит, а врач ему щупает щиколотку, ища перелом или вывих.

— А что с ним? — растерялся Бакури, пытаясь исправить свой промах.

— Уводят... — выдохнул старик, словно хотел вместе с выдохом выгнать тяжесть, скопившуюся в сердце.

— На войну?

— Погибель моя!

«Что там лошади, какие ребята уходят... не ребята — орлы», — хотел сказать Бакури, но взглянул на старика, который, обессилев от слез, вжался лбом в жердь, и слова примерзли к языку. В эту минуту пожалеть старика мог только он — на его глазах бедовала эта беда.

— Вы, наверное, ходили за ним, как за сыном? — произнес Бакури.

— Сына уже два года, как взяли.

— На срочную?

— Он, сынок, как повестка пришла, всю неделю не просыхал, а как прощаться время настало, песню завел... ту самую, что я сызмальства больше всего любил. И ведь уехал — хоть бы слезинку я обронил.

— Тогда войны не было.

— Была война — финская, а ведь края ноготка не задело. Не поверишь, он мне в неделю — по два письма присылал. А я — ни читать, ни писать, старый уже, так он меня с фронта выучил. Сперва буквы нарисовал все и внуку их прислал, сынку своему. Мой отец, написал, не станет читать то, что в книге написано, а что я напишу, он запомнит. А чего бы еще могло случиться, чтобы я позабыл серп, кувшин, лозу, чури и подкову коня... Я в неделю сейчас ему по три письма пишу. Когда рядом был, не лежал так близко к сердцу. А этому что скажешь... — и старик, совсем сникнув, поглядел на коня, который, не тронув травы, все водил дрожащей губой по сухой и жилистой хозяйской руке.

Между жердинами нашлась щель пошире, и, просунув голову, Бакури стал смотреть на коня.

Он был черен, но шерсть так лоснилась, что отблески солнца играли на ней зигзагами молний. Шелковистое тело коня и черная грива отливали синевой, как воронье крыло. Легкое черное седло было отделано серебром, а сбруя и поводья увешаны серебряными подвесками, словно орешки, рассечены пополам. Тонкие бабки и коленья с кулачок дрожали вместе с рукой хозяина, и слезы, стоявшие в темно-сливовых глазах, вбирали в себя их сизую черноту и в отблеске заходящего солнца цветом и тяжестью походили на капли каштанового меда.

— Не понимаю я в лошадях, — проговорил Бакури, — но красоты в нем — глаз нельзя оторвать.

— Храни его господь, — обронил хозяин, видно привыкший так отвечать на похвалу скакуну.

— И шаг, наверное, отменный... — этот человек нуждался сейчас в добром слове, как мать, которая плачет над сыном.

— Иноходец от бога.

— Такого на войну... жаль!

— Не на войну тоже... — рану посыпали солью, и старик, бросив траву, ладонью прикрыл обслюнявленную конем руку.

От безнадежности душа Бакури стала пуста, но он понимал: можешь не можешь, а хоть каплю надежды надо вселить в старика. Старик нуждался в надежде так же, как Эпраси, которая провожала на фронт трех сыновей, и как Гугута, у которой высохли слезы, и она сейчас искала Бакури в этом море заплаканных лиц.

— Кто знает, может, к хорошему хозяину попадет, — попытался утешить Бакури.

— Конь, сынок, — не женщина, он не шарит, где теплей, — обжег старик Бакури.

— Как это, дядя?

— Я его на травку выпущу, час пройдет, а я не иду, он щипать траву больше не станет.

— Любили вы его, а он вас...

— Любил?!

— Любишь, чтобы любить... — вырвалось у Бакури, чего хозяину коня и не понять было, тем более сейчас.

— Любовь... — повторил старик, будто слово показалось ему совсем крошечным. — Ты погляди, сынок, кнута — ни в руках у меня, ни в седле у него, — он посмотрел

на свои руки, покоившиеся на рукояти кинжала, — он кнута и в глаза не видал. Я прихворну, чаю напьюсь, а сахарок — ему, — из кармана чохи он извлек кусок сахара, — внуку не дам... Говорю им, меня вместе с ним забирайте, с утра комиссара прошу.

— Вас не возьмут.

— Чтоб мне до дому живым, сынок, не дойти, какого черта-дьявола дома я не видал, я ж без него ни шагу, а если меня вместе с ним заберут, я его на минутку не брошу. Христом-богом прошу: лошадей сколько, конюх-то нужен вам, а он только головой трясет, я, говорит, что, не человек? У меня тоже душа, говорит, да приказ есть приказ. Повыше податься б куда, в правительство надо б, так коня боишься оставить, и кому писать, кому говорить — поди знай. Возьму вот и Сталину напишу... Ты же, сынок, пограмотней будешь... слово одно обронил, я даже не понял.

— Писать-то я умею, и по-грузински, и по-русски, может, и придумал бы что, но ведь меня самого отправляют.

— То-то я гляжу, ты не в себе вроде, да мне беда моя свет застит...

— Здесь беды у всех через край.

— Погоди-ка, парень, а куда пошлют тебя — знаешь?

— Откуда мне знать? Никто не знает.

— Как сына хочу спросить у тебя: ты когда-нибудь с лошадьми имел дело?

— Какие там лошади. Отец у меня — учителем в школе.

— Эх... — и в полной безысходности старик уронил руки, словно надежда, только-только забрезжив, тут же потухла, как язычок копилки под дуновением ветерка.

— А вот у дяди моего лошадь была, — соврал Бакури, совершенно уверенный, что более истинной правды он не говорил никогда.

— Породы какой? — пламя копилки опять вспыхнуло.

— Да приличной... Не такой, конечно, как этот...

— Нет...

— Моего дядю дела отвлекли надолго, так я ходил за ней...

Толпа, топтавшаяся во дворе, загудела, забродила, и лошади, томившиеся в загоне, закружились как в за-верти.

На балкон райвоенкомата вышел военком, вместе с ним командиры частей, какие-то еще военные и штатские. Ветерок теребил листки в их руках. Не поднимая головы, они ждали, пока кипящий под ними котел уймется.

— Если господь не захочет... — старик на что-то надеялся; так не могли расстаться с последней надеждой Бакури с Гугутой.

— О чем это ты, дядя?

— От нас, говорю, тоже уходят...

— От кого — от вас?

— Из деревни нашей.

— А... Конечно, уходят, а как же?

— Что ж получается — они хуже других?

— Кто сказал — хуже, но без коней.

— А почему без коней? Коней у них нет?

— Кони есть. Деревня наша в горах, без коня никуда, — старик взглянул через забор во двор. — Вон гляди — привели наши сколько. Да разве лошади это?

Бакури посмотрел в загон, лошади стояли, положив друг другу головы на спины, и, не обнаружив ничего, что заслуживало б осужденья, Бакури на всякий случай покачал головой в лад стариковским сомнениям:

— Тут ни одной приличной лошади нет.

— Ребята они надежные, я бы сына отпустил с ними, а коня не могу... Он коня беречь будет пуще глаза, а нет-нет да, дело привычное, — глядишь, за плетку схватится.

— Говорят, добрый скакун плети не стерпит.

— Что там плеть или слово? Что у тебя на душе — конь и это поймет. Я же сказал тебе, сын у меня, всего один сын, да и тот уже — там, а дочерей — четверо, у каждой — семья. Будь мне вторым сыном, — старик обхватил плечи Бакури. Так уносимый потоком цепляется за прибрежную траву.

— Да пожалуйста, если только... если он ко мне падет.

— Вчера как повестка пришла, всю ночь глаз не смыкал, воле него простоял, сказать слова не мог. И сюда шли — все молчком, но он чувствует — худо мне. А пришли, как увидал он, что тут делается, — слезы не просыхают. В коленях — дрожь. Волков с ним, случалось, встречали, а такого не бывало... Ты, видать, парень с душой, сделай мне милость — ступай в кавалерию... Братья есть у тебя?

— Трое...

— Мой Элва-молния родней брата будет тебе.

— Элва — это что, кличка?

— Это не я придумал. Он сам себя окрестил. Сел бы ты разок на него, не зная, как его кличут, и по-другому, чем Элвой, звать не стал бы.

— А разве в кавалерию сейчас направляют? Что-то не слышал...

— В ноги комиссару кинусь. Он ведь рад мне помочь — а не выходит. А теперь все как надо — и закон не обижен.

— Товарищи! — крикнул один из тех, что стояли на балконе, и все разом смолкли. Только в мятой траве и пыли слышался стук копыт и пофыркивание лошадей.

— Абесадзе Автандил Евстафьевич! — донеслось до Бакури с балкона, и все опять загудели. На балконе терпеливо ждали, пока тот, кто был назван, вырвется из объятий родни и отойдет в сторону.

— Адеишвили Вахтанг Павлович!

— Авалиани Вахтанг Александрович!

— Авалиани Чичико Илларионович!

Старик окаменел, вслушиваясь.

— Эх, кличут уже...

— По четыре в ряд строят...

— Арджеванидзе Лука Алмасханович!

— Апхаидзе Нодари Лукаевич!

— Апхаидзе Шанше Ермилович!

— А твоя, сынок, как фамилия?

— Амаглобели.

— А зовут?

— Бакури Парнаозович... сейчас до меня дойдет...

— Ахалая Хута Прокофьевич!

— Ахалкаци Георгий Георгиевич!

— Ахвледiani Шалва Бегларович!

— Ахвледiani Акакий Бегларович!

— Пошли, сынок, пошли, прошу тебя, как отец родной! Родом-то ты откуда? — Старик остановился, поглядел на лошадь, которая с той стороны тронулась вдоль забора следом за ним.

— Здешний я.

— Здешний-то здешний, а деревня какая? Сам-то я из Гелгети, наверное, слышал?

— Как не слышать? Отсюда километров двадцать — тридцать.

— Верст двадцать — тридцать? Нет, не будет... Хотя, может, и будет. Ведь меня так и звали — Каплан Гасвиани, сколько времени звали... а теперь, без него, я имя свое позабуду. А ты говоришь... Амаглобели?.. Амаглобели ведь из Гулзоди? Домов семь там будет, не больше?

— Правильно, уважаемый Каплан...

— Ахобадзе Шота Самсонович!

— Из нашей деревни одна замуж к вам пошла. Гелгети деревня маленькая.

Бакури обдало жаром.

— Н-н-не знаю.

— Как же ты можешь не знать, когда председатель ваш муж ей?

— Да он не председатель давно...

— Стало быть, знаешь...

— Нет, не знаю.

— Так ты откуда, сынок? Из Гулзоди? Или... Впрочем, ведь и другая сестра там, в вашей деревне... Старшая за Кинцурашвили или за Кухалеишвили...

— Этих я знаю... Знаком... Тетушка Эпраси...

— Так бы и говорил... А то захочешь поверить тебе — и не сможешь...

— Ахобадзе Бухути Самсонович.

— Я теперь такой старый стал, головой кивну — если только здороваюсь. А сейчас на глазах у народа — вон его сколько нагнали — комиссару в ноги бухнусь. Пусть тебя в кавалерию шлют с моим конем вместе.

Эшелон уносился во мглу, и небо мутилось, как глаза у Гугуты и вороного коня.

II

Сквозь облака забрезжил рассвет.

«Если буду я низвергнут этим рушащимся миром...»

Теперь все эти Ахаладзе и Ахалкаци, Низжарадзе и Нуцубидзе, Медзвелиа и Дзвеламаи, уносимые эшелоном, который летел, как ветер, лежали словно подсеченные, по настилам и нарам теплушек.

«Не знаю, кому как, а нам война обходится ой как дорого... Одна слеза вороного коня чего только стоит... Меня вот спросить...»

Бакури горестно улыбнулся. «Меня спросить... — ему захотелось сплюнуть слюну, липкую, как вываренный из копыт клей, но она не выплевывалась, — а кто, скажи, тебя спрашивать станет? Не то что тебя, — кого надо б спросить, не спросят. Даже того, кто войну развязал и весь этот мир крушит, — даже его... как его спросишь? Нет, очень злая рука этим тленным миром вертит...

Светаёт, будто ничего не случилось, и вечером тоже стемнеет в свой час.

Где-то там, высоко в небесах, или в недрах земли весельчак сидит, жадный до всякой потехи, и точнехонько по минутам вздергивает занавес и опускает, развлекая себя созерцанием действия о двух частях, где герои друг друга сживают со свету, а он себе знай веселится, хохочет, помирает со смеху. И для тебя роль придумает, на зубок ее выучишь, и тебя размалюет так, что сам не поймешь, где глаза у тебя, а где уши, — для него же законов и логики нет. Ступай куда он тебя тащит, пускай кровь себе и другим, свою роль барабань — ты же кукла в железных руках.

Родишься в грехе, в муках растешь — такая судьба, по роли положено. Полюбишь — тебе померещится, что ты родился для любви, а ты лишь паяц, трубишь свою роль из последних силенок, не ведая даже, что давно всем обрыдла твоя шутовская история и тому драмоделу не под силу растоптать твои чувства, но и воли он им не даст, подпалит на корню и присядет погреться, потирая руки и радуясь.

Поднимая занавес и опуская, поднимая и опуская.

Впрочем, нет! Мастери он уродцев своих на одно лицо всех подряд, ремесло б ему быстренько осточертело. Тут он все рассчитал, будто сам господь бог...

Как-то раз от безделья и скуки тот весельчак сляпал куклу и нет чтобы высек из доброго камня — об этом и речи не шло, — а комок простой глины примял пальцами, вот тебе и болванчик. Но смастерить одного и только им тешиться — со скуки помрешь. Вот и придумал наш весельчак, чтобы их было двое, чтобы новый болванчик и вертелся по-новому. Но опять болванчика ладить — ни себе радости, ни остальным, и рук не марая, — а надо, чтобы напарник у первого был одной с ним породы, но в чем-то другой, — он взял да и вырвал у первенца ребрышко, и получилась — чтоб поразвлечься — отменная парочка. Он и тешился от души, пока парочка не приелась.

Что же теперь? Снова валандаться с глиной, грязью и рваными ребрами? Тут он взял и стравил их, разлюбезную парочку. Ну а сам — в сторонку подальше. Все так подстроил, что сложа руки сиди и любуйся. Поначалу он вселил в них тоску по друг дружке, доведя их до бешеной страсти, и назвал все это любовью. Вслед за тем их стравил, и они друг у друга чуть не до смерти душу мотали, и вот тут им был рай возвращен — на мгновенье, чтоб затем пинком в зад их из рая изгнать, потому что в раю они вздумали жить, будто ангелы, пресно. Здесь еще одно важно: если, как в раю получилось, из болванчика делать болванчика, мы б вернулись к началу, и тогда ради свежести он придумал им роды в муках и столах.

Вечная история — всего-то и было их четверо, — а уже нетерпение сжигало развеселого кукольника. Он заставил одного братца взять топор и садануть по шее другого.

После этого масштаб игры заметно расширился, и если ее суть явных изменений не претерпела, то все равно зрелище получилось весьма занимательное, поскольку число участников безмерно расширилось, и сейчас сия комедия разрастается до размеров грандиозного действия, какого не видел никто...»

Из угла кто-то на четвереньках стал пробираться к выходу. В темноте и тесноте трясущегося вагона — яблоку негде было упасть — человек протискивал одну руку между телами спящих вповал, оставляя другую на весу, как хромая собака лапу, и долго нащупывал свободное место, прежде чем, осторожно опустив руку, продвинуться вперед, поставив теперь на свободное место ногу.

Добравшись до входа, он стал во весь рост и, перекинув через перекладину руки, повис на ней, как и Бакури.

Не оборачиваясь — тут слова лишние, — Бакури узнал Бесо Кинцурашвили по зубовному скрежету, словно Бесо и сейчас перемалывал кости увесистой клуши.

— Ну, ты и отмочил нынче... — ветер вырвал хрип из губ Бесо и затискивал его в ухо Бакури. — Да ты сюда погляди, малый!

А малый не мог отхаркнуть липкую слизь, забившую ему рот.

— Вот я... Не тебе мою беду расхлебать.

«Что это он? О чем?» — Бакури положил руку на плечо Бесо. Бесо себе не поверил и оглянулся: может, сзади кто подошел?

- Чего ты изводишь себя, Бесо?
- Сам не знаю, — растерялся Бесо, — отчего моя маета.
- О чем ты думаешь... ты в этом деле совсем ни при чем...
- Ладно тебе...
- Ты что, мне не веришь?.. Можно подумать, не знаешь меня...
- Сам не знаю, знаю тебя или нет, — дрогнули скулы Бесо.
- «Не верит... Лишь бы про Гугуту не догадался...»
- У меня этот год в Тбилиси дел была пропасть...
Клянусь нашим родством!
- Я в городах не учился... сам знаешь...
- Тогда верь, раз говорю!
- Волы у меня, парень, разуты остались.
- «Поверил!»
- А дядя Эстатэ не подкует, что ли? Да и братья?
- Мои братья на полу вон валяются.
- Чудак человек, дома ж еще трое.
- А кто им ковать даст? Тарас возьмется, спереди три гвоздочка всадит, и — будет.
- А у тебя что, подковы особые?
- Я когда сам... У меня на пяти гвоздях! Лошадь-то я успел подковать...
- А из нашей деревни лошадей не брали?
- Пока нет.
- Сегодня коня одного привели из Гелгети, откуда твоя мать... Вороной...
- Хорош?
- Отец не позволил бы родному сыну сесть на него.
Хозяин мне его отдал.
- Это старик, который в чохе?
- Он меня на балкон потащил, к комиссару.
- Что ты в лошадях смыслишь?
- А где она, эта лошадь, Бесо? Он сказал, на меня ее записал.
- Записал, говоришь?..
- Это он, бедняга, думал, что записал. Военком обещал ему. Ему, говорит, мне то есть, пойдет...
- Ну, а после?
- А после так и осталось на после.
- Гляди, если этот конь тут появится, ты без меня к нему не подходи... Понортишь.

— Эх, Бесония, что там коня, друг дружку увидим ли?
— Н-да,— скрикнул зубами Бесо,— а я и семью не завел.

Мчался, грохотал, ревел эшелон. Трясло и встряхивало на перекладине Бесо, который жевал свою тоску по волам, по лошади своей и по коню Каплана Гасвиани, по кукурузному полю, по лесу и по тому, что не успел завести семью.

Опускаясь на пол, чтобы ползти обратно, он процедил:

— Я не толкую, что она мне родня, просто жалко девчонку,— и, повернувшись к Бакури задом, он пополз на четвереньках, словно собака, которой хлестнули по голове и перешибли передние лапы.

— Гугута?! — Бакури не успел обернуться, как ветер сорвал с его губ это имя и поезд, ворвавшись в расщелину, подхватил его и швырнул в скалу.

III

Бакури представить себе не мог, что так бывает: у тебя отнято все, даже способность чувствовать боль, а ты что-то там трепыхаешься, маешься, но, видно, в этом — вся соль, когда терять больше нечего и даже вырвано сердце, а оно, это сердце, возьми вдруг и оборвись.

На республиканском сборном пункте из односельчан Бакури не осталось уже никого. Только Бесо. Когда его оторвали от братьев, эта детина — он одной рукой мог шею волю свернуть — вцепился в Бакури, словно сирота-малолеток. «Я по-русски двух слов не свяжу, а вы — врозь меня с ним. Без него ушлете — на полном ходу спрыгну», — ревел он, даже стены тряслись.

Командиры на него поглядели — под черной щетиной сросшихся бровей шириной с большой палец полыхали глаза, вздымались ноздри крючковатого носа, и подбородок с добрый кулак выдвинут был вровень с носом, — кивнули друг другу и послали обоих в хвостовой вагон, набитый ребятами цевесть какого рода и племени, которых бросали теперь неизвестно куда.

Еще в полдень парикмахер, едва стряхнув когда-то белую салфетку, завязал ее на потной шее Бакури, и через минуту высокая волна его волос валялась на полу под ногами парикмахера.

— Худшего со мной не сотворишь! — уязвленно бросил Бакури Бесо, который, нахохлившись, подждал его под дверями парикмахерской или приспособленной под нее комнатенки.

— Тебя твоя тетка, наверное, ищет и Вагуги с Мамукой? — процедил сквозь зубы Бесо.

— Никуда не пойду.

Вечером, когда раскаленное тбилисское солнце скрылось за горой Шавнабада, подул коджорский ветерок, однако в вагоне еще колыхался придавленный потолком полдневный зной. Пристроившись в самом углу вагона, где для Бакури тоже нашлось местечко, в полторы пяди, Бесо налегал на домашнюю снедь, вытащив из холщовой сумки пару мчади, хачапури и уже припахивающую курицу. Бакури, опять повиснув на перекладине, смотрел на горы, вздымающиеся над высокой каменной оградой сборного пункта. Выжженные солнцем, иссеченные стариковскими морщинами и складками, они как тигры покоились над замирающим городом. В душном вагоне лились причитания, которые кто-то выстанывал на мотив городской песенки.

Было совсем темно, когда в эшелон ткнулся маневренный паровоз.

«Прощай, Тбилиси!»

Поезд выпустил воздух из тормозов.

— А ну, друг, подвинься, нам бы тоже глотнуть ветерка, — навалились сбоку на Бакури. — Мать-тоска нагуляла нас...

«Это из Ортчал или Авлабара», — подумал Бакури.

— Грех с тоской нас приспали, Шакроджан! — отчеканила наголо бритая голова, свисавшая с перекладины, будто тыква с забора.

— Не забывай, дружок, у нас сердце одно — и нельзя его отдавать ни врагу, ни печали.

Бакури не понял, кому Шакро это сказал: ему ли, Бакури, тыкве, что рядом болталась, или Шакро сам себе посоветовал.

— Я-то, может, и не отдам, только станут они меня спрашивать? — сказала тыква, словно сама себе удивляясь.

— А сгрызет, значит, сердцу твоему туда и дорога, — сзади подошел кто-то еще и опустил руки на плечи ребят, дотянувшись и до Бакури.

— Грусть-тоска она ведь как червь, братец ты мой! —

предостерег тот, что тянул свой тоскливый мотив. — Ее пусти только — все нутро твое изъест, изведет, — утопая в тоске, он других хотел вытащить.

— А как не пустить, если она, паразитка, не отстаёт от тебя, — жевала свое тыква.

— Так и будет поедом есть. Разок тоску впустишь — она тебя и сожрет... — мудро изрек тот, что одною рукой доставал до Бакури, а другою до кого-то ещё на том краю перекладки, и похлопал по плечу их обоих.

— Да пошел он ко всем матерям, я ему яблоня, что ли, у одних яблок все нутро изгрыз, а другие висят целехонькие да румяньенькие! — печально, но так, что услышал весь томящийся в духоте вагон, произнес Шакро.

— Не говори... — Бакури снова потрепали по плечу.

— Не дай ей себя есть, говоришь? — а я что, рот разинул и силком ее в пасть затолкнул? Влезла в меня тоска — и жуёт все, и точит... — изумилась сама себе тыква.

— Значит, ты не мужчина! — хлопнули вдруг Бакури по спине. — Мать свою слезы лить заставляешь, а врагу твоя тоска — только в радость.

— Пусть и моя мать слезами умоется, и твоя, и у всех наших врагов, а я с собой ничего не поделаю, — призналась тыква, потому что Шакро не мешал больше ее тоске выговариваться.

— Держите его! — властно прокричали в темноте за вагоном.

— Стой, стрелять будем! — проговорил низкий бас так неуверенно, что беги беглец до скончания века, никакая сила, казалось, не заставила б обладателя этого баса выстрелить.

— Да постой ты, чтоб ты пропал, загонял нас совсем, — взронтал третий голос.

Тяжело дыша, беглец бежал вдоль вагонов так вяло, что в конце поезда его наконец настигли и взяли в кольцо.

— И-и-пустите меня! — кричал беглец, не понять — от злости или от страха.

— Да куда тебя отпускать, чтоб ты провалился!

— Отпустите его! — крикнул сверху Шакро, скорей для того, чтобы прогнать вползшего в душу червя.

— Жалко парня, погубит себя эта бестолочь! — не слушая Шакро, произнес рядом тот, что крутил сейчас беглецу руки.

— Ну, тогда не отпускайте, — посоветовали из вагона. Это был голос того, кто всех обнимал, боком втиснувшись между Шакро и тыквой.

— Пусть отпустят! — кто-то подскочил сзади и, попытавшись протиснуться между Шакро и Бакури, совсем отодвинул Бакури в сторону.

— Дай поглядеть, чего там стряслось, — кто-то еще наскочил на перекладину.

— А ну пошли, тебе говорят!

— Н-н-не м-м-могу.

«Заикается почище Леона... интересно, куда его понесло, бедолагу», — пожалел его Бакури, как брата, и, уступив место тем, кто сейчас подошел, отыскивал местечко и лег рядом с Бесо.

— Что там стряслось? — пробасил Бесо.

— Вроде кто-то сбежал... разве тут разберешься? — И Бакури тяжело вздохнул то ли от духоты, то ли оттого, что вспомнился старший брат, добряк, заика и молчун. «Наверное, и Леона на фронт, и Мамуку... Для обоих это такая беда, что я в сравнении с ними...»

С Леоном разберутся, так просто не пошлют, он ведь уже не студент...

— С чего это он бежать вздумал? — спросил голос, который грозился стрелять, но стрелять, похоже, не думал.

— У него, видишь ты, жена, семья у него, пропади ты все пропадом... — начал объяснять тот, что жалел беглеца и предвещал ему скорый конец.

Но беглец, видать, на обратном пути сумел вырваться, и теперь за ним снова гнались и настигли где-то на том конце вагона — оттуда слышался шум, возня и соненье.

— Раз жена, отпустить надо! — развеселились в вагоне.

— Ва, может, ему к жене больше хочется, это дело не наше.

— Эх, братец ты мой, слаще жены разве есть что?

— Это еще поглядеть, какой кусок попадетсЯ.

— Давай!

— Жми!

Беглеца опять подтащили к дверям.

— В трибунал его передать... конченный человек, считай!

— П-п-передайте! — язык беглеца, видно, совсем от- казал.

Бесо поднялся и сел:

— Кто он?

— Не знаю, — не понимая, ответил Бакури. •

— Дезертир! — отозвались откуда-то из глубины вагона, радуясь, что можно отвлечься от своей тоски, и не зная еще, есть тут чем душу потешить или нет.

— Ты к жене ступай, а мы к немцу под бочок!

— Здесь у половины, не меньше, жены и детки! — втолковывал голос, первым крикнувший «держите его!».

— Она, мать ее... концы вот-вот отдаст... — внес ясность тот, кто без поминания матери и всех святых не мог двух слов связать.

Бакури положил под голову сумку Бесо и повернулся к стене.

— Отпустите его, он жену живо вылечит, — вступились в вагоне за беглеца.

— Это ж надо, мужа к жене не пускать...

— А может, он не расписан с ней, — донесся из глубины вагона голос того, кто тянул тоскливую песню.

Бесо положил голову на другой край сумки и крепкими челюстями принялся жевать свою смердящую как падала тоску.

— Да отпустите его, пусть сам на себя пеняет, — видно, возня с беглецом кому-то уже надоела.

— Не скажи, тоже ведь человек.

— А раз человек, понимать должен, — донеслось сна- ружи.

— Мне как уходить, мать каждую минутку счита- ла, — кто-то вскочил с пола и, раскидав толпу у дверей, свесился вниз, — а он с женой тут развел...

— Да о с-с-сыне я! — отозвался вдруг беглец, который, видимо, ниже себя считал отвечать тем, что держали его за руки.

«Еще и сын у него, вот несчастный», — Бакури зажал уши руками.

— А сын что, тоже при смерти? — попытился тот, кто от тоски по матери готов был все вокруг разнести.

— Давай его в этот вагон, начальник, на ляд его в тот конец переть, — крикнул голос, который понарошке грозился стрелять.

— Да мне наплевать, только б дурака этого куда по- дальше отсюда...

Беглеца, уже связанного, но продолжавшего упираться, подтащили к дверям вагона.

— Эй там, помогите! — послышалось снизу.

— Ну что, Шакроджан? — спросила тыква.

— Он человек, и воздадим ему честь, — пропел тот, что тянул песню.

— Это он с тоски... Может, и нас тоска погонит куда, — порешил Шакро, и возле дверей завозились и зашумели.

Все еще упиравшегося беглеца втащили и швырнули в угол, он рванулся обратно, но те, что теснились в дверях, ходу ему не дали.

— Не выпускайте его, ребята, он же шею себе свернет, мать его... — то ли попросили снаружи, то ли приказали.

— Скоро поедем, начальник? — это интересовались уже из вагона: «Выпускать-то мы его не выпустим, а ты нам скажи, когда тронемся».

— Скоро, скоро! — пообещали внизу и исчезли.

Очувтившись в вагоне, беглец вконец растерялся, помельтешил, обо что-то споткнулся, шлепнулся о пол, поднялся, шатнулся, к выходу было рванулся, но — тщетно, и тогда он поплелся в самый конец вагона и, опять споткнувшись и ударившись головой о стену, оглушенный рухнул между Бесо и Бакури.

— Что за черт?... — Бесо попытался сбросить с себя беглеца — от своих печалей спасу нет, а тут еще этот.

— Не тронь его, Бесо, пусть полежит, — Бакури оступал свалившегося на них беглеца, лоб у него был рассечен, и Бакури полез в карман за платком. Беглец мешал просунуть руку в карман, и Бакури, лежавший к стене лицом, с трудом повернулся к Бесо, чтобы вытащить платок, на котором кровь от разбитой переносицы уже высохла. Нащупав в темноте лицо беглеца, он приложил платок к его взмокшему от пота и крови, распухшему лбу.

— Долго мне его держать? — скрипнул зубами Бесо.

— Ничего не поделаешь. Очнется — опять пойдет куролесить.

— Пьян?

— Да, похоже на то... — но когда беглец, шумно вздохнув, приподнялся и Бакури, не давая ему вскочить, потянул его за шею вниз, он к своему удивлению обнаружил, что ни вином, ни чем покрепче не пахло, а только

пронзительно пахло потом и кровью — такой знакомый теперь запах.

«Этого мне еще не хватало! Неужели так и будет теперь? Будут рядом ложиться, валиться, падать убитыми — а мне будет казаться, что это все мои братья? Почему люди все так похожи? Ведь кукольник этот повторяться не любит». Голова была как свинцовая, Бакури потряхнул ею, чуть не сломав себе шею, и упал навзничь, но мимо сумки, затылком ударившись об пол, и улыбнулся, уговаривая боль в голове: «Сейчас только все начинается... На этой комедии преотлично можно развлечься».

Поезд тронулся.

От передних вагонов принесло песню. Ребята, в обнимку сгрудившиеся у дверей, поняли вдруг, что, если б не начали петь в том конце поезда, они б затянули свою песню, и что-то едва слышное и пронзительно горькое вырвалось у них, сперва будто вовсе беззвучно, глухо и вяло, как ход поезда, а потом набирая звук, как набирал поезд скорость.

Песни — все разные, перечесть невозможно, сколько их и какие все они разные, а называют их одним словом — песня.

IV

Эшелон остановился посреди степи, раскинувшейся по обе стороны насыпи возле одинокой, торчавшей словно гриб станции, и ребята — по приказу — суматошно и спешно выскакивали из вагонов.

Не теряя ни минуты, Мамука побежал к станции, поднял крышку почтового ящика — на ее синей поверхности лежала пыль толщиной с палец — и впахнул туда пачку конвертов. Тут же за ним выстроилась очередь.

Все последние шесть дней этот рассеянный и бестолковый Мамука, способный бесцельно днями слоиться, жил только тем, что писал письмо за письмом и ждал за станцией станцию, чтобы, прыгнув на остановке, тут же отыскать глазами синий ящик, и, если на остановке ни станции, ни деревушки не было видно, он все равно бросался бежать и бежал, и бежал, чтобы успеть добежать до конца эшелона или пролезть под колесами, чтобы взглянуть, нет ли синего ящика с другой стороны...

За эти шесть дней он нанисал и отправил писем три-

дцать, не меньше, почти все друг на друга похожие, как похоже было все в эти дни.

Вернувшись, он застал одного Ношревана, который столбом торчал у эшелона. Когда несколько раз по-русски повторили команду: «С вещмешками по четыре в ряд становись!» — он не двинулся с места, будто прикованный, и округлившимися глазами искал Мамуку.

— Что ж нам теперь делать?

Мамука делал то, что умел, а сейчас он не мог взять в толк, где надо строиться, с кем рядом и позади кого встать.

— А где все ребята?

Только сейчас Ношреван вспомнил о ребятах и тут увидал, что их отвели по ту сторону станции, где началась открытая степь.

— Вон они, машут нам!

— Ну так пошли!

И они бросились бежать, совсем позабыв, что один из них тащит два вещмешка, а у другого руки пустые, и только возле самой станции, когда у Ношревана, сбегавшего с насыпи, с левого плеча сползла ляжка вещмешка и, пока он ее поправлял, съехала правая, только тут Мамука сообразил, что другу тяжело, и потребовал, чтоб Ношреван отдал ему оба вещмешка.

Из длинной перекошенной колонны, которую командиры отделений пытались выровнять, напирая двумя руками, вышел Автандил Бокерия, отобрал у Ношревана вещмешки, сунул каждому из них его вещмешок, взял обоих их под руку и втолкнул в колонну, а сам стал с краю и, вытянув руку на уровне груди, заставил обоих подравняться с Ладом Цинцадзе, стоявшим с того края их ряда.

Июньское солнце заходило, но хорошо было видно, как над необозримым простором степи, словно языки огня, поднимается вверх жар, и в раскаленных хлебах даже кузнечики не трещали.

— И чего ты мельтешишь, — спросил Бокерия, как спросил бы поднасок, которому доверили двух ягнят, а он обиделся сперва оттого, что большие не дали, а после из-за того, что и с этими сладить не мог.

— Емуже письма надо отправить, — вступился Ношреван за Мамуку, словно Автандил об этом не знал.

— Письма! Письма! По сто писем на день, — рассер-

дился совсем упарившийся Бокерия и стащил с головы съехавшую на уши пилотку. — А мы что, писем не шлем? Или нам посылать некому и мы с неба свалились? Шесть дней уже, как в дороге. Я три письма сразу отослал. А на место придем, тут тебе и почта, и телеграф, все устроится... Вон Цинцадзе всего одно письмо и вымучил...

— Р-р-равняйся! — загремело по колонне, и слова замерли на губах у Бокерия.

Мамука, уронив руки, подался чуть вперед и уставился прямо в небо, которое нахлобучено было сейчас на него, словно опрокинутая торня¹. Набитый вещмешок опять сполз с плеч Ношревана и повис на локте.

— Давай назад, нечего в это адское пекло глядеть, — вытянутая рука Автандила снова прижалась к груди Мамуки.

Ношреван рывком поднял тяжеленный вещмешок, чтобы опять закинуть его за спину, но толкнул в зад впереди стоящего парня, и Бокерия пришлось снова выкинуть руку.

— Ну и ну! — парень даже не обернулся, только погладил зад.

— Чего ты там в мешок насовал? И себя только что не убил, и нас хочешь угробить? Там же две лямки, просунь руки в обе.

С выжженной и вытопанной травы Ношреван толкнул мешок в бурую пыль, нагнулся, продел руки в лямки, натянул их до локтей, выпрямился, и мешок повис у него на груди.

— Шагом марш! — звякнуло в воздухе, будто кто-то с разбега головой врезался в толстое стекло.

Колонна двинулась.

Ношреван, с тяжело свисавшим на грудь вещмешком, чуть не всей ступней наступил на пятку того, кто шел впереди и сказал «ну и ну», тот, шаг не сделав, спиной налетел на Ношревана, Ношреван — на кого-то еще, на помощь к нему с двух сторон бросились Мамука с Бокерия. Ладо Цинцадзе едва успел отскочить в сторону, и взвод с таким трудом выстроенный, превратился в кучу малу.

По прямой, как струна, дороге, разрезавшей хлебное поле, бессловесно и тихо растянулись новобранцы, будто

¹ Открытая печь для выпечки хлеба.

стадо, загнанное на проселок. Немоощная дорога была вся иссечена следами двуколок, телег, арб, машин, и новобранцы месили пыль, по щиколотку увязая в ней, как в слякоти, пыль поднималась тучами, и, если смотреть издалека, можно было увидеть только взвод в голове колонны, а хвост ее утопал в клубящейся этой пыли. Пыль глушила звуки шагов, словно люди, обернув обувь войлоком, крались к окопам спящего противника. Из хлебов, поднимавшихся по обе стороны дороги, уже доносился треск кузнечиков и даже слышно было, как рассекают воздух крылья стрекоз.

Когда солнце, бесцветное, как потухшие угли, закатилось, оставив на небе только пурпурный свод, подул ветерок, горячий, словно вырвавшийся из торни жар, и сдул покров густой пыли, под которым скрывались растянувшиеся вдоль бесконечной дороги люди. Одетые кто в чем из дому пришел, взмокшие от пота, они были теперь все одного грязно-серого цвета, и налети сейчас противник, невозможно было бы с воздуха их отличить от дороги и сожженной степи.

У Цинцадзе, невозмутимого, сдержанного телавца¹, молча шагавшего справа от Мамуки, угольно-черные усы, брови и ресницы совсем посветлели, как у того светлорусого парня, который, вылезая из кучи малы, произнес одно свое «ну и ну».

— Вот беда, — сплюнул Бокерия раз и другой, — рот забило, не харкнешь. — Он оправдывался, словно плевать пришлось на мытый пол.

— Это еще ничего! — успокоил его порыжевший Цинцадзе, приземистый, коренастый как пенек, весь в силовых мышцах, крепыш; после случившейся свалки он слова не вымолвил и теперь, наглотавшись пыли, явно повеселел.

— Как это ничего... У меня только в легких фунтов пять грязи, а уж на себе... как придем, плюхнусь в воду, и все.

— Плюхайся, — разрешил Цинцадзе.

— А ты что, рыжим таким и завалишься спать? — заинтересовался Автандил, которому обидно показалось, что Цинцадзе разрешает ему, будто он ему подчиняется. — И вы тоже? — он поглядел на Мамуку и Ношревана, словно призывая их делать все, как он, Автандил, а не

¹ Телави — город в Кахетии (Восточная Грузия).

как этот Цинцадзе, ему от мытья один вред, как нам без мытья.

— Не знаю, — Ношреван слизнул пыль с потрескавшихся губ и, пока Бокерия не отвернулся, плюнуть не решался.

Мамука промолчал.

Когда стало темнеть, вдалеке показалась черная полоска леса и перед ней с десяток белых низеньких хат. Там, за лесом, их, наверное, было больше.

— Эх! Добраться б туда, — заволновался Бокерия, надеясь, что лагерем станут возле этой дереvушки. Впервые после того, как миновали хлеба и вокруг распростерлась безлюдная голая степь, он ощутил присутствие людей.

— Доберемся и дальше пойдем, — бестрепетно успокоил его Цинцадзе.

— С ума спятил... дальше! Ногу совсем стер, чтоб ей стореть! — Подпрыгнув на одной ноге, Бокерия схватился за носок, качнулся, чуть не упав, но на него налетели сзади. — Какое там дальше, сюда бы дойти...

Ношреван просунул руки под ляжки и исподтишка сплюнул под ноги.

— А вы что, как язык проглотили, слова не скажете... — Бокерия поглядел на Ношревана и Мамуку, — эти мешочки тащить еще можете?

— Нет, — откликнулся Ношреван и улыбнулся смущенно, — мне все время невмочь.

— А этот что, тоже язык проглотил? — поинтересовался Автандил, желая показать, что не позаботься он, Цинцадзе ни о ком и не вспомнит.

— Спихватился... Он за неделю словечка не вымолвил, — Цинцадзе повел плотными, запорошенными пылью плечами.

— А я что, обязан его спрашивать? — сдался Бокерия. — Мы сейчас друг над дружкой хозяева... матери моей, бедняжке, по волосикам меня теперь не погладить, — и Бокерия, стащив пилотку, которая напозла на самые уши, провел рукой по голове. — Все сиял, будь он неладен... Гладить нечего... Хоть бы усы отпустить, — Автандил позавидовал большим, пропыленным усам Цинцадзе, — а то волосики своей не осталось. Голый, ну прямо как колено.

— Отпусти! — оиать разрешил Цинцадзе.

— И отпущу. Не отпущу, думаешь? — оиать обиделся

Автандил, будто он у этого Ладо спрашивал, отпускать ему или нет. — Погоди! — Поворот на дорогу, которая бежала к селу, остался по правую руку Цинцадзе. — Куда вы? — И потрясенный он остановился как вкопанный, сзади на него опять налетели, толкнули вперед, и он снова очутился в строю. — Ты погоди толкать-то, там же люди, деревня, и дело-то — к ночи уже, а с этого краю ничего не видать...

— Давай, давай! — прикрикнули сзади. Акцент был, похоже, азербайджанский, и по-русски знали лишь это слово.

— Какое «давай»! — обернулся Бокерия, — ты куда шагаешь, йолдаш-друг, знаешь?

— Давай! Давай! — не сдавался йолдаш.

— Ты только погляди туда! — Бокерия подвинулся к Ношрewanу. — С этого краю не видать ничего, а он «давай» кричит, а до каких пор «давай»... погубит меня этот чертов башмак, — и Бокерия опять подпрыгнул на одной ноге. — Такой гвоздик выскочил, его в пень всади — пополам пень.

— А ты вытащи и — в карман, может, сгодится! — посоветовал Цинцадзе.

— Спрятать? Чего спрятать? — не понял Автандил.

— Гвоздь.

— А зачем он мне?

— Дом будешь строить...

— Нас что, дом здесь строить заставят?

— Здесь-то ломать больше будешь...

— Это почему же я ломать должен?

— Хочешь не хочешь, а придется.

— Нет, ты скажи, для чего мне гвоздь понадобится?

— Вот вернешься... Ты из Сенаки или из Зугдиди?

— Я из Мартвили.

— Возвратишься в свое Мартвили и затеешь себе дом строить, он тебе и сгодится.

— Это зачем мне в Мартвили дом строить? Думаешь, у меня дома нет? Как у тебя? Это ты, сам вон родом из Имеретии, а подался на восток, здрастье вам, объявился в Телави. У меня, слава богу, и дом, и сад есть.

Наконец-то Цинцадзе улыбнулся в пропыленные свои усы. Ношрewan разлепил рот и сглотнул комок пыли.

Мамука не слышал ничего.

В полной тьме они остановились на аробной дороге, посреди болот и хлебов, тянувшихся по одну сторону ровной полосой, а по другую край полосы изгибался смотря по тому, какое выдавалось лето. В жару болото отступало, и камышовые заросли оттеснялись степной травой.

Был объявлен привал на двадцать минут.

— Мочи нет, так устал, — твердил Бокерия, — либо дух дайте перевести, либо сразу в могилу, воля ваша, а мне все равно.

Цинцадзе даже ответить не мог, и его молчание новой тяжестью навалилось на Автандила, потому что ни человеку, ни богу до него больше не было дела.

Как с одного доброго взмаха хорошо наведенной косы валится справа налево высокая трава, так с одного конца колонны до другого повалились на землю эти две тысячи человек от командира, хлебнувшего на своем веку солдатского лиха, до Бокерия, которому гвоздь в пятку впивался и ему казалось, что от гвоздя этого здоровый бы пень треснул.

Траву в этом месте еще не совсем вытоптали, и кого где команда застала, там он и повалился на иссеченную железными ободьями землю.

Мамука лег ничком. Ему хотелось обтереть о траву лицо с вьезшейся в него пылью и потом и втянуть в себя влажный запах земли, отсыревшей от вечерней росы.

Он уткнулся носом в землю. Передние ряды своими грязными подошвами успели втоптать траву в землю, однако, как ни иссушал траву зной и ни вытаптывали люди, ее зеленые стебли были чисты и свежи.

Мамука отполз от Цинцадзе и словно гончая, взявшая след зайца, потянулся в поле, где трава была вовсе не тронута, и распластался на земле в трех шагах от дороги.

Он уже так отупел, что его не мучило больше, что Текла с горя тронется разумом, и что сам он не мог понять, кому и чего от него было надо и почему такой же, как он, совсем юный немец, подняв на нас руку, бросил в Германии у себя немецкую свою Теклу и немецких своих Русудан, Парну, братьев, дядю и бабушку. Воображение его занимал один Ношрewan, который вдруг так переменялся, что, казалось, ему все нипочем. Он вышагивал как ни в чем не бывало, таща вещмешок, раза в два тяжелее Мамукиного. Бокерия от усталости падал с ног, крепыш

Цинцадзе был совсем на исходе, как и светловолосый русский парень, что шел впереди, а сзади азербайджанец, йолдаш-друг, тоже еле ноги волок, но каким духом держался один Ношреван — это поглощало Мамуку не меньше, чем тоска по Текле и тревога за Маргариту Алхазивили, которая после прощания на тбилисском перроне завладела его мыслями столь же властно, как Текла.

Говоря откровенно, ни Мамуке, ни Текле Маргарита не нравилась, хотя и певица она ничего, и мать их лучшего друга, и хозяйка такого дома. Ведь, в конце-то концов, с ее позволения непутевые друзья Ношревана превратили эту малодоступную крепость в место сборищ, где они что хотели, то и творили. Это было странно для женщины, скрытной, надменной, может быть, алчной, для которой, как многие думали, кроме званий, славы и денег, ничего цены не имело. И тут вдруг свершается чудо. В ту ночь, когда Ношревану пришла повестка на фронт, Маргариты внезапно не стало (два часа кряду, проводив гостей, она с изумительной выдержкой хоронила себя самою, и в течение этого времени ничья сила не могла бы заставить ее выйти из комнаты). На другой день, когда их провожали, она стояла на перроне вокзала, будто полное дерево, все — сплошное дупло от корней до макушки, — и единственное, что могло это стоя иссохшее дерево, — препоручить Ношревана Мамуке Амаглобели, которого в самую пору было доверить первому встречному, была б у того голова на плечах.

Что случилось, что открылось вдали этой женщине, иссушив ее вмиг изнутри?

Невозможно было даже представить, что, пройдя от станции два-три километра, Ношреван не рухнет на землю и его не придется тащить на себе. Мамука хотел забрать у него вещмешок, потом предложил поменяться, у Мамуки мешок вполовину был легче, что-то сунула тетка Ивлити — и все... «Я пойду к Текле, — сказал он тогда тетке, — а завтра от нее на вокзал. Вы на вокзал приходите», — кто мог думать, что на вокзал он отправится тут же? Ношреван, однако же, не пожелал ни отдать свой вещмешок, ни меняться. Только в вагоне, а после уже на дороге он то и дело стискивал руку Мамуки и, наклонившись к самому уху... опять не решался чего-то сказать. Да и Мамуке было не до того, чтобы дознаться, чем терзается друг и не может сказать, подумаешь, какие заботы у Ношревана, трудно, конечно, ему, к трудностям он не

привык, вот и томится, но все это суший пустяк по сравнению с тем, что обрушилось на них с Теклой.

И все же, уткнувшись носом в траву, он ждал, когда Ношреван подползет к нему со своим вещмешком и объявит что-то такое, отчего Мамука подпрыгнет, как мячик.

Снова прозвучала команда к подъему, но теперь уже не так резко, будто толстое стекло треснуло.

Друга Мамука обнаружил уже в строю, но что это был за строй... Ношреван опять схватил его за рукав, наклонившись к самому уху.

— Чего ты? — наконец Мамука очнулся — в эту седьмую по счету ночь, — а до этого ниточка мыслей о Текле ни на миг не обрывалась.

— Шагом марш!

— Зачем шагом? Почему не бегом? Или невмочь нам бегом? — проскулил Бокерия.

— А ты вперед ступай! — разрешил Цинцадзе.

— Точно! Пока доплететесь, я и выкупаюсь, и марафет наведу, — горестно пошутил Бокерия, волоча ногу с впившимся гвоздем, — хочу как на параде пройтись, печатаая шаг, но почему я не слышу звук чеканных шагов?

— Ты, главное, гляди гвоздь не потеряй! — предостерег Цинцадзе.

— Всю дорогу исползал, найду, думал, чем гвоздь забить, палец, окаянный, до кости изодрал, шлепаю босиком, а ботиночки — за спиной.

— Чего ж раньше-то не додумался?

— Да от боли хотел душу отдать.

— Ну, теперь ты спасен.

— Если со смеху не околею. Босиком по пыли и траве так щекотно, а попробуй засмейся, по кумполу трахнут, а головка моя мне еще ой как нужна.

— Да и я б тебе не советовал, — сдержанно согласился Цинцадзе.

VI

Набежал предрассветный холодок, и под его порывами прилипавшие к телу мокрые от пота рубахи стали колом, будто перекрахмаленные.

Уже никто не знал, куда они идут и сколько прошли по дороге или по тому, что когда-то считалось дорогой, по степи и по хлебным полям.

Уставши до изнеможения, умучившись до бесчувствия, они шли, и ноги у всех были сбиты, колени не гнулись, ломило в поясице, в плечах, в голове и везде сразу, а конца дороге не было видно, но, поскольку всему есть предел, постепенно ломота и усталость стали глуше, и вся тяжесть тела навалилась на плечи. Отключившись от всего и самих себя тоже, они вновь обратились в то самое месиво, из которого их извлекло рождение на свет. Никто из них сам по себе не мог шагу сделать, колонна несла их, как тянет на поводьях худую и упрямую клячу упряжка лошадей, как несет быстрым течением набрякший чурбак. Скоро — на спуске, медленно — на равнине течет и несется этот поток, пока вовсе не станет или не выльется в море.

Но в Мамуке жила еще точка, где была боль. Как ни изведен он был, ни измотан ломотою во всех костях, усталостью, жаждой, от которых осталась одна пустота, его чувства и плоть смешались в одно, поглотили друг друга, — но не исчезла, не дала себя погасить та трезвая точка, в которой светилась Текла.

Шел седьмой день, как разлучен он был с Теклой, нет, ни на минуту не разлучался он с ней, но был уже седьмой день, как он не видел ее, хотя она стояла перед глазами все время и он говорил с ней не умолкая, уговаривая и убеждая, что все это — на короткое время. Только на месяц, на один-единственный месяц. Тридцать дней и тридцать ночей. Очень много, конечно. Немыслимо долго, бесконечное время... Почему же все это случилось? Зачем? Для чего? — об этом не знает никто, но это случилось.

Они все не знают, не знают, не понимают, что Текла с Мамукой родились друг для друга, им надо быть вместе, все время вместе, но, чтобы быть вместе, не хватает чего-то еще, и разбросало их в стороны не потому, что кто-то хотел их разлучить. Напротив, их развело, чтобы сблизить, чтоб через месяц, когда они будут вместе, Текла больше не горевала, не ревновала и не изводила себя. Чтоб ни о чем, ни о ком не думала больше... Для чего-то, зачем-то их разлуке положено быть.

Он объяснял, он доказывал, как это все неизбежно, необходимо и нужно, в письмах, где не было ни начала, ни конца. Он записывал на клочках, он рассовывал эти клочочки по карманам, писал днем и ночью на остановках и на головокружительных перегонах. Писал и тогда, когда

в однообразной вагонной тряске вдруг так тряхнет и о стены швырнет валявшихся на полу ребят, будто осерчавшая дюжая хозяйка вдруг встряхнет крупный помол в частом сите.

В крошечной тьме, съежившись над тетрадкой, раскрытой на полу, он выжидал скупые секунды между толчками вагона и писал, оставляя между косыми строками расстоянье, и снова писал. Он уже высчитал, сколько строк помещается на тетрадном листке и сколько места надо оставить, чтобы снова начать: на странице помещалось семь строк, в каждой строке — по три слова, не считая союзов.

Поди разбери эти каракули, но та, для которой они писались, их прочла бы, пусть даже Мамука вообще не писал, а только ткнул бы карандашом в лист бумаги и на листе б сам себе обозначил тот путь, по которому их мчало с бешеной скоростью. В конце концов, одно это и оставалось — какая-то клинопись, нанесенная на бумагу в качке и тряске вагона, а зигзаги царапин — это и были мысли мальчика, маршруты железных дорог и путь дребезжащего эшелона, они выплясывались на листке, как ломкая кривая температурных скачков при тяжелой болезни.

Но сегодня, на седьмой день, не удавалось и это. Сколько раз ни вытаскивал он тетрадь и сколько раз ни пытался на ходу, в темноте написать хоть две строчки, ничего из этого не выходило. Сначала он ждал темноты, к ночи они куда-нибудь доберутся, и, куда бы они ни пришли и как бы ни было трудно, пусть даже света не будет, пусть он не сможет ни стать и ни сесть, — он рухнет на землю и будет писать, что ему хорошо, конечно же все хорошо и пусть Текла верит, что ему хорошо, потому что сегодня уже седьмой день и, значит, меньше осталось дней до тех пор, когда они будут вместе. Каждый час и минута лишь приближают их счастье... Он будет ехать на поезде, на машине, идти пешком, и бежать, и ползти, будет рыть землю и плыть, конечно, он плавает плохо, переплыть их деревенскую речку он может вполне, но сейчас он переплывет широченные русские реки и озера, и даже моря; он все будет делать, что велют и что делать надо, потому что все дороги, шоссе и тропинки ведут его к Текле и она все ближе и ближе к нему.

Он выдержит все, потому что это для Теклы. Пусть душа ее будет покойна и не мается — ни минуты, ни даже

секунды... пусть только считает деньки. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой... В каждом дне пусть считает часы, в каждом часе — минуты, а в минутах — секунды. А секунды пробегают так быстро — за минуту до шестидесяти не сосчитаешь.

И с мамой наладится. Они вместе поедут к ней. В Абастумани одной тебе ехать нельзя, слышишь, Текла? Что ты будешь одна там плутать? Война! С транспортом все изменилось. Все вообще изменилось. Ты лучше с бабушкой посиди, говори с ней почаще. За разговором время быстро летит. К соседям зайди, поболтают, пошутят, у кого что, расскажут. Сейчас всем невесело, но люди есть люди, не могут они только плакать — и все.

А потом...

А потом... вот уже и вторая неделя пошла...

...Нет, не выходит писать на ходу. Еще три недели — как их прожить? Да-да, осталось всего три недели, одной уже нет. Вот-вот рассветет, и начнется вторая неделя, а первой не будет — ушла.

Нет, надо что-то придумать... Если этим течением его с такой силой будет дальше нести, он не сможет писать... Какой тогда толк?

А если вещмешок перекинуть на грудь? Не будет сзади болтаться. Когда их сгрузили возле станции, торчавшей, как гриб, и они пошли по дороге, Ношреван тащил вещмешок на груди... А что, если и мне? Вещмешок — на грудь, тетрадку — на вещмешок, и пиши себе. Или что-то еще в этом роде придумать. Перекинуть ремень через шею, пусть болтается хомутом, на хомут — книгу, а на книгу — бумагу...

Что-нибудь, но придумать... бессловесно идти он не выдержит, он ей должен сказать... ведь с ума она сходит... А тосковать ни к чему. Разве Мамуке легко? Идут, ползут, плывут... супь... жажда... жить невозможно, нечем дышать...

Как это вынести?

Поток свернул на дорогу, измолоченную арбами и машинами. Померкшее бесцветное небо опускалось на Мамуку, двоилось, слоилось, будто отраженное несущейся водой.

«Уже скоро деревня, а там мама, отец и река. Сеть прихватим, а если не брать... А может, сеть не нужна? Нет, нет, сразу на остров... На песок упаду, где ты лежала... И засну... Как бы ни было тебе одной скучно, не

буди меня, Текла! Да и чего скучать тебе? Ведь я же буду с тобой! И посплю... Если захочешь что сказать мне — говори! Я услышу. Ты же слышишь меня вон откуда... А уж рядом с тобой я услышу тебя. Разве может быть так, чтобы я не услышал тебя?

А если к полудню станет жарко, очень жарко, ты наломай ивы, Текла, и сделай из веток либо зонтик, либо веер, лишь бы тень... Дай мне только поспать... Я посплю... Но, конечно, не здесь. Здесь я глаз не сомкну, потому что мне надо к тебе торопиться, и, когда я дойду... конца нет дороге — до тебя дойду, Текла, я посплю в наших ивах, возле нашей реки. К голубой реке повернусь, прямо к солнцу, — в твоих глазах было солнце. Я открою глаза, погляжу и опять спать. Сквозь веки все вокруг буду видеть, тебя буду видеть, тебя слушать и спать...»

Поток спустился в долину, ушел в плавни или, неведомо на что натолкнувшись, стал запрудой.

Все молчали, будто рты застопорились илом. Справа молчал Цинцадзе, слева молчали Ношреван с Автандилом, впереди светловолосый русский парень, рядом с ним черный, сухопарый чечен, за ними азербайджанец с изъеденным оспой лицом и огненно-рыжий русский, украинец и меднолицый тучный туркмен.

Дорога оборвалась, поток разломился и ударился в крепкий, как стена, настоящий на мочу и навозе запах, который, смешавшись с запахом соленого пота и пыли, тут же начал истаявать в предрассветной прохладе, покалывающей, будто птичьими лапками.

VII

Колонна раскинулась лагерем во дворе бывшего конезавода.

Два огромных, сооруженных на совесть строения, где прежде были конюшни, — с распахнутыми сейчас настежь дверями, склады ячменя и овса, дощатые навесы, в стороне от которых — небольшой, ладненький и аккуратно побеленный домишко, где, наверное, обитал прежде начальник этого хозяйства со всем своим штатом, сейчас заняли новобранцы, которых пригнали сюда, чтобы обучать, как под пулями и снарядами запрягать тягловую силу в повозки, пушки и сани.

Вместо книги и мотыги им дадут в руки лопату с

укороченным черенком и будут учить рыть окопы и воевать. Воевать тем же заступом и лопатой, которые существуют от века, чтобы выращивать на радость людям хлеб, плоды п виноград. Вместо ручки с пером и топора они возьмут в руки винтовку и простятся с вольной одеждой. Вместо брюк и белых рубах, за которыми с таким тщаньем следилось, натянут на тело гимнастерки цвета сохлой земли и штаны цвета хаки. На один манер стриженные, они станут все как ежи, и шинели, в которые их завернут, будут все как одна. Шинель станет отныне пристанищем, где витает дух мамы и теплится нежность любимой. Шинель в стужу согреет и от зноя спасет. А еще хорошо полой этой шинели вытирать с лица слезы и кровь.

Теперь не тянуться им ввысь, стараясь быть ростом повыше, и не красоваться на сельских проселках и асфальте больших городов — надо сжаться в кулак, чтобы в землю удобней вгрызаться. Вместо девичьих глаз и бездонных глаз близкого друга они будут смотреть в черный зрак наведенного в лоб автомата. Раньше ромашку боялись они затоптать, а теперь они будут ступать по телам и даже во сне будет смерть перед ними... Лишь бы слезы не застили взор — от слез хуже видишь и легко промахнуться.

Как ни кидай, жизнь такова. Только глянул на свет — и опять смежаются веки. А вдруг так и будет всегда: закрыты глаза — не разленишь... ни сейчас, ни когда-то потом?

Просторное хозяйство конезавода раскинулось на речном берегу, у подножья лесистого холма, с которого на заводской двор сбегали березы и сосны, чтобы породистым лошадям было где схорониться от солнца и зноя; из тонких стволов, тоже березовых и сосновых, крепившихся к сваям, сооружен был забор, ограждавший загон. Вдоль забора густели заросли высокой и горькой травы, куда не забредали ни скотина, ни лошади, все лето копилась и гноилась в них сырость, прибежище разных гадов и комарья. Двор испещрен был глубокими следами округлых копыт породистого поголовья, а горы навоза остались надежным свидетельством отменного ухода за ним.

На том берегу реки, задумчиво и неторопливо несущей свои воды, расположилось село с полусотней белеющих хат под плотными камышовыми крышами в зеленеющем

мхе и повисшим, как огромный знак восклицания, синим дымком над трубой; вокруг хат — вишневые и яблоневые сады, у вишен и яблонь стволы тоже побелены до середины, а за садами — во все края степь.

Уже завезли сырой, свежепиленый тес, но нары для новобранцев не были сбиты, и превратить конюшню в казармы еще не успели.

Начиналось русское утро, и солнце опять пускалось в свой беспредельный, как все русское, бег.

Комполка майор Боженко вошел в кабинет бывшего директора завода и, подойдя к окошку с выбитыми стеклами, присел на край стола, как садится на спину спокойной, объезженной, вольно разгуливающей лошади коных, бочком, свесив ноги.

— Нет, брат, этого быть не может! — крикнул он кому-то, кого не было ни за стеной этой комнаты, ни во всем огромном дворе. — Он что, в эту чертову карту даже носа не сунул? — И, сорвав через голову полевую сумку, швырнул ее на стол. За сумкой полетела и плюхнулась на пол, где пыль мешалась с навозом, волгая от пота фуражка. — Им же пальцем ткнули — отсюда идем и досюда. Ясно, как дважды два. А чем он меня встретил? — и Боженко крутанулся на столе, как лошадь, которую огрели кнутом и она сейчас лягнет. — Конюшня! Была конюшня — конюшня и есть! Ее и конюшней сейчас не назвать.

На выбеленной стене чернел кубик телефонного аппарата. Соскользнув со стола, он рванул с рычага трубку и завертел ручку с таким остервенением, что включилась линия, телефонистка на том конце просто оглохла б.

— И связь у тебя никуда, братец ты мой! — громко попрекнул он кого-то, кого и не думал здесь обнаружить, и в этом «братец ты мой» проступала такая глухая злоба, что не боясь он быть услышанным, он бы сквозь редкие зубы выпустил такую крепкую очередь, в которой бы чувства его обрели наконец выраженье.

Распахнувшаяся дверь с грохотом ударилась о стену и тут же захлопнулась.

— Комбата! — успел приказать он, словно комбат был где-то тут, во дворе, и, вернувшись, снова уселся на стол, закинув ногу на ногу.

В дверях вырос комвзвода младший лейтенант Вицо-

куров, безусый юнец с выкаченными глазами, старавшийся держаться молодцом, что у него решительно не получалось.

— Товарищ...

— Где он? — оборвал его командир, которому было сейчас не до устава.

— Пантелей Прокофьевич на реке! — доложил Винокуров, поправив съехавшую на глаза пилотку.

— Он что, реку вымеривает?

— Пока все спят, ногу в воде растирает, после будет неловко.

— А ты почему не спишь?

— Я спал... — смутился Винокуров, объясняя тем самым, почему не смог явиться по форме.

— Ступай, братец, ступай! — на этот раз «братец» прозвучало совсем по-другому.

— Есть идти! — радостно произнес комвзвода, но не сделал «кругом» а, чуть пригнувшись, вошел наконец в комнату, поднял с полу фуражку и отряхнул ее, будто сухую, но мокрая от пота, вываливавшаяся в пыли и в навозе фуражка была безнадежно грязна.

— Брось ее! — Боженко вытащил из сумки ворох бумаг и, разметав их по столу, скинул на пол лежащую с краю фуражку. — Пиши и читай, читай и пиши, — проговорил он с выражением весьма недвусмысленным, — вот и все дело.

Винокуров в дверях обернулся, опять подобрал с полу фуражку, но не решился предложить командиру вымыть ее в реке.

— Кирилл Степанович! Комбата позвать?

— Оставь его, братец, в покое, у него своих дел невпроворот! Вернется, не навек же он там...

Стирать фуражку не велено и на стол не положишь, стол был завален бумагами, картой, да еще сумка валялась, а на краю Боженко сидит — Винокуров без всякого смысла повертел фуражку в руках, искал глазами гвоздь на стене, не нашел, осторожно нацепил ее на рычаг телефона и, едва волоча свинцово-тяжелые ноги, вышел из комнаты, стараясь не произвести шума.

— Ты ж у меня всю душу вымотал, что ж я, куда захотел, туда и погнал их... ладно я... встал, отряхнулся и при себе дальше, а с ними что делать прикажешь? — опять завелся майор, словно тот, к кому он сейчас обращался, стоя с ним рядом, тоже глянул в разбитое окно, на усе-

явших двор, вповалку спящих на земле новобранцев, и дар речи на мгновение оставил майора: новобранцы, словно их передушили газом, каждый заснул на том самом месте, где застигла его команда «вольно»!

— Мне что, прикажешь их совсем умотать! Чего ты их гнал, братец ты мой? На блины к теще? — сейчас этим «братец ты мой», едва пролезшим сквозь редкие зубы, неведомый собеседник припечатывался весьма крепко. — А в ребятах этих — спасенье страны. Их кровью война захлебнется, да и мы с тобой тоже... Погоди, погоди! — остановил он словоохотливого своего собеседника, ибо сквозь грязный осколок стекла, торчавший в раме, ему показалось, что один из ребят не спит, и, испугавшись, не стряслось бы с малым похуже чего, чем просто измотанность и бессонница, сунул голову между остро торчащих осколков стекла.

Чернявый парнишка, — видно, еще и бриться не пробовал — утоптал возле забора крапиву, репей и сурепку и, свесившись левой рукой через перекладину, прибитую к двум столбам, пядях в двух от земли, положил на нее толстую книжку, а на книжку — листок, вырванный из школьной тетрадки.

— Письмо, браток, пишешь? Вот это, я понимаю, любовь, — тихо проговорил Боженко, и по лицу его хоть и вымученная, но скользнула улыбка. — Я мешать бы тебе не стал, но только нельзя. Травы здесь дурнопьяны, не вышло б худого чего, браток.

Винокур... — обернулся он к дверям и зажал рот рукой: — Надо ж, заснул... Вот и приказывай им... поди узнай, когда что им приказывать...

Он сбежал по ступенькам крыльца, подошел к забору и стал над чернявым, который, перевесившись через перекладину и уронив голову прямо на книгу с тетрадным листком, крепко спал.

Майор поглядел по сторонам и, убедившись, что никто не видит его, подхватил парня под руки и, подтащив к дому, уложил прямо возле канавки, по краям которой трава была сплошь выщипана лопадьями и успела отрасти всего вершка на два; толстая книга свалилась прямо в сырые дурманные заросли высокой травы, а листок подхватило и унесло дуновением слабого ветерка.

Боженко опять огляделся, вытащил книгу из травы и хотел было махнуть через высокий забор, но решать, к лицу или нет командиру полка белкой прыгать через за-

бор, было ему уже не под силу, и он предпочел, дойдя до конца его, выйти через калитку, которая как была распахнута на самой заре, когда они подошли сюда, так и осталась болтаться. Пока он обошел забор и добрал до того места, куда должен был улететь тонкий листок, ветерок отнес листок дальше, за дорогу, на самый край поля, и он, упав на ромашки, раскачивался теперь прямо на их головках.

Майор поднял листок, но ничего не мог разобрать в буквах, овальных, как лепестки, словно кто-то, влюбившись без памяти, вырвал пучок ромашек и, гадая: любит — не любит, обрывал лепестки, рассыпая их по листу, и лишь кое-где эти взволнованные оборванные лепестки улеглись в строки.

Разобрать удалось только римскую цифру, означавшую месяц.

Войдя во двор, он опять огляделся исподтишка, раскрыл книгу, по которой тоже петляли овальные лепестки, вложил в книгу листок и положил ее возле чернявого.

— Спи, браток, отсыпайся, тебе долго здесь спать не придется...

VIII

Шум моторов и крик командира разбудил Бокерия, он потянулся так, что затрещали суставы, словно рядом с ним свалилась и не могла подняться разбитая кляча. Погладив теплую, стриженую макушку, он стряхнул с себя пыль и травяную труху, подобрал пилотку с земли, натянул ее на глаза, а вещмешок оставил возле Ношревана, свернувшегося калачиком. перевел взгляд на Цинцадзе, который, раскинув руки, лежал на спине, и позевывая огляделся: люди рассыпаны были по двору, словно вобла, мать бы сына родного тут не нашла, и кого-то здесь не хватало, но кого, он вспомнить не мог и, ковыляя, пошел к реке.

Колонна грузовиков остановилась перед тесовыми воротами, и командиры, поднимая с земли сонных новобранцев, разводили их в стороны, чтобы дать машинам проехать.

«Вроде б неплохо ходить в командирах, — Бокерия встряхнул головой, — но поглядеть, и они вчера побегали не хуже моего, а когда сюда притащились, всем до меня

хоть бы хны, валяйся себе на земле — и все дела. Может, и не надо в командиры отделения лезть, а то выйдет себе-то дороже».

Двери конюшни были открыты, и Автандил заглянул.
— Ну и длинная... — протянул он.

Его взгляд от растворенных, сбитых из штакетника дверей добежал до другого края конюшни, где двери были тоже распахнуты. Сквозняк ударил в него овсяной трухой, стало больно глазам, он подался назад, повернулся к реке, но гудение въезжавших во двор машин заставило его обернуться.

То ли у одной из трехтонок был сорван глушитель, то ли еще что стряслось с ней, но она так ревела, что два новобранца, не продрав глаз, с перепугу вскочили на ноги. Проскочив мимо конюшни, машина въехала в самый конец двора, там уже лес начинался, и остановилась возле огромного склада.

Кузов, крытый брезентом, задержал на себе взгляд Бокерия.

— Черт бы его побрал, — Автандилу показалось, что в глаза сыпанули мелких иголок, и он осторожно погладил пальцем нижние веки, но не выдержал и с силой протер оба глаза. — Ты погляди, девчонки...

В кузове, до самого верха набитом узлами с бельем, у заднего борта стояли девушки.

Когда машина остановилась и на землю посыпались девушки в своих платьях защитного цвета, туго перетянутых в талии ремнем, с карманами, топорщившимися на груди, и в пилотках, аккуратно сидящих на светлых волосах, стриженных коротко, по самую мочку уха, глазам Автандила сразу стало легко и прохладно, будто плеснули в них родниковой водой.

— Вот уж женщины тут совсем ни к чему, — проворчал он, скрываясь за углом конюшни и придирчиво оглядывая себя, словно девушек этих прислали только затем, чтобы проверить, как там поживает Бокерия.

Заметят еще, как он тут слоняется возле конюшни, и, позабыв про боль в ноге, он рванулся к реке.

— Санчасть, ясное дело... — бормотал он дорогой, чуть не вляпавшись развалившимся своим башмаком с торчащим гвоздем в кучу теплого навоза, — эх, где они, мои хромовые, — мечтал он, уже подбегая к реке.

Берег реки, не такой уж и широкой, взымался так круто, что, если сыркнуть к воде, обратно уже не за-

браться, да и ноги опять еле тащили его — надо было найти спуск полегче.

У края воды тянулась зеленая полоска травы, а за ней желтел песок, перемешанный с разноцветной галькой, — бережок шагов в пять.

Взгляд Автандила побежал вдоль реки и, не обнаружив пологой тропы, побежал дальше вверх по течению, и тут — хоть стой, хоть падай — он уперся в толпу женщин и ребятишек, человек сто, не меньше, с того берега они глядели прямо сюда. Детей, говоря откровенно, Автандил не заметил.

— А теперь куда деться? — совсем растерялся Автандил, опустившись на край откоса и свесив вниз ноги, — хорошо еще огляделся, а то бы наделал делов... Это ж надо, чтоб столько женщин! — он сам не знал, радоваться или нет. — Ну и что тут такого? Человек умыться пришел... Подумаешь, невидаль, женщины... Тоже не с неба спустились, — искать пологий спуск теперь было неловко. — Не великое дело по этой стенке вскарабкаться, — подбадривал он себя, — вон сколько выступов... люди на Эльбрус взбираются...

Он сел на корточки и как блоха скакнул вниз.

— Молодец, Бокерия, — похвалил он себя, уверенный, что на том берегу все пришли в восхищение. — Вот только гвоздь вколочу, и не то что женщины, ангелы с крылышками станут вокруг меня виться.

В прибрежной гальке Автандил нашарил плоский, как ступня, голыш и, ударив пяткой о землю, стащил с ноги башмак, с трудом втиснул в него голыш, нащупал им кончик гвоздя, перевернул башмак вверх подошвой и изо всей силы саданул по ней подвернувшимся под руку камнем.

— Доконал меня этот гвоздь!

— Это что же здесь делается? — возмутился Автандил, когда чищенный, мытый и очень довольный собой очутился среди ребят, валявшихся в пыли и навозе. — Они еще спят, стало быть, все тихо и мирно! — только тут он догадался, кого все это время ему не хватало.

Ношреван лежал, как прежде, свернувшись калачиком, щекой к земле, весь усыпанный муравьями, норывшими вползти ему в рот, когда он делал вдох, но передумывающими, когда делал выдох.

— Да помер никак! Вот бедолага! — Бокерия быстро перевернул Ношревана. — Эй, Ардадзе!

Испуганный Ношреван осоловело поглядел по сторонам и прикрыл лицо локтем.

— Что, немцы?! — его как громом ударило, когда, затарахтев мотором с сорванным глушителем, грузовик развернулся к складу задом, подставив кузов под разгрузку.

— Какие немцы! Девчат привезли! Спелые, как земляника...

До Ношревана дошло только про спелую землянику, он облизнул пересохшие губы, муравей, притаившийся над верхней губой, попал на язык, и бедняга, подпрыгнув, ногтями содрал с языка окаянную нечисть.

— Вы поглядите только, стоило мне о бабах слово сказать, он будто гончая вскинулся! — Бокерия глазам своим не поверил: этот тихоня Ардадзе, его любая — под каблучок... да он же помрет со стыда, если ветер у девки подол задерет...

— А-а-а! — с раскрытым от жгучей боли ртом Ношреван двинулся к Бокерия.

— А-а-а! — передразнил Автандил. — Ничего, молодой человек! — он хлопнул его по плечу, исторгнув облако пыли, и отскочил: едва обретя человеческий вид, испугался измазаться снова. — Это все муравьи...

— Муравьи? — Ардадзе еще шире разинул рот. Невозможно было поверить, чтоб муравьи кусались, как волки.

— Муравьи, муравьи! Они тут здоровущие, я у нас таких не видал. А чего удивляться? Сколько проехали, страна вон какая огромная, — уверенно объяснял Бокерия, порыскав опять глазами по сторонам, а где тот, что с тобой был?

— Мамука? — Ношреван мгновенно позабыл о муравьях.

— Куда он подевался? Он же промеж нас лежал?

— Лежал, точно, лежал...

— Может, Цинцадзе знает?

Цинцадзе по-прежнему лежал на спине, не шелохнувшись.

— Ладо! Ладо! — тормозил Ношреван, переполошенный исчезновением Мамуки.

Не разлепляя сомкнутых век, Цинцадзе тронул рукой густые усы, и бритый наголо и безусый Бокерия поко-

сился на девушек из санчасти: гибель мне от его усов, на кого этот усатый глаз положит — с той, считай, нам делать нечего.

— Мамука! Ладо, где Мамука? — чуть не плача, вопил Ношреван, не давая Цинцадзе глаз протереть.

Цинцадзе спокойно поднялся, оставив в траве и навозе вмятину от литых плеч.

— Где ему знать? И что баб тут нагнали полон двор, он ведать не ведает, — Бокерия глядел на них сверху вниз, давая понять, что над женщинами он командир, что сомнений он тут не допустит и что Амаглобели непременно надо найти, хотя, кто за него отвечает больше — Бокерия или Цинцадзе, — еще не известно.

Ношреван ползал среди спящих ребят, всех тормоша.

— Вот он где! — кричал Бокерия. — Каким чертом сюда его занесло?

И, перепрыгнув через канаву, пробежавшую перед аккуратной приземистой хаткой, Бокерия остановился над Мамукой, навзничь лежавшим на едва проклюнувшейся травке. Вслед за ним, подняв тучи пыли, подлетел Ношреван:

— Мамука!

— Ты, парень, подальше держись от меня, больно ты грязен, — Автандил оттеснил Ношревана.

— Мамука! Мамука! — радовался Ношреван, но Бокерия не подпускал его к другу.

— Вы поглядите, у него и книга за пазухой, — поразился Автандил, — если после вчерашнего он еще может читать, нам пора по домам, он один управится с немцем.

Бокерия не хотелось возвращаться туда, где в пыли и навозе валялись их вещмешки, а рядом с ними — Цинцадзе, и он присел возле Мамуки на пробивающуюся свежую травку.

С трудом поднявшись, Ладо отряхнул пыль со спины, нещадно хлестнув себя по лопаткам, и, едва таща ноги, двинулся к ним.

— Ты чего, Автандил, говоришь?

— Чего говорю?! — прикинулся дурачком Автандил и поглядел снизу вверх на Цинцадзе. — Я тут много чего говорил.

— Про женщин каких-то?

— Про женщин был разговор, ну и что?

— А где они у тебя? В конюшне?

— В конюшню я тебя загоню, а женщин — на склад, как золото буду хранить.

— Ты, главное, особо не кипятись. Помаленечку силы трать,— посоветовал Цинцадзе, и тут взгляд его упал на женские ноги, возникшие за колесами грузовика.— Погоди, он, похоже, не врет.

— Да у меня таких тут навалом,— с беззаботностью миллионера Автандил лег на бочок, извлек папироску и закурил.

— Ты что сказал? — не поверил своим ушам Цинцадзе.

— А, ничего...— и миллионер выпустил несколько колец дыма.

— Навалом? — растерялся Ладо, словно вор, который навострился стянуть кисет с золотом и обнаружил вдруг сундук с драгоценностями, но, быстро сообразив, что Автандил не дурак, чтоб такой клад выдавать, окинул взором весь двор от края до края.

За длинной конюшней не было видно ни реки, ни берега, где кучкой стояли женщины, и успокоенный, что клад схоронен надежно, затянувшись, Автандил протянул пачку папирос незадачливому похитителю и поднес спичку, всем своим видом являя, что он доволен собой, но утомился тащить и поддерживать друга.

— Значит, не скажешь? — совсем пал духом Ладо.

— Ну что я могу сказать, друг, да и как о таком говорить?

— Не скажешь, стало быть...— Цинцадзе пожевал губами, и возле самого кончика усов папироса предостерегающе вскинулась кверху.

— Не выйдет у тебя ничего, на пушечный выстрел тебя не подуют,— упорствовал Бокерия, однако вид густых усов, встопорщившихся вслед за вздернутой ввысь папироской, если и не заставил его почувствовать себя банкротом, то во всяком случае выбил из рук полмиллиона.

— Вот ты, значит, каков! — пораженный Цинцадзе остановил свой взгляд на Мамуке и Ношреване: один сидел, обхватив руками колени, а другой распластался по земле, словно медуза, выброшенная на берег, но оба решительно не понимали, чьи сокровища делят их покровители.

— За меня гроша не дашь, если рядом нет бабы,— признался Бокерия таким тоном, будто ну просто невмо-

готу ему было толковать об этом: у всех — руки пустые, копеечку клянчат, а ты вытащил из кармана золотой. И, страхнув пепел, он помусолил свой золотой, чтобы не подумали, будто он краденый. — Да, гроша ломаного не дашь.

— Это и так понятно, — подтвердил Цинцадзе.

— Как так понятно? — обиделся Бокерия.

— В вагоне еще туда-сюда, а как на дорогу стали, я понял сразу.

— Вот ты шуточками шутишь, а ведь все так и есть, — Бокерия дул на кончик своей папиросы, уже сам не зная, шутит Цинцадзе или, правда, заметил за ним что-то такое... — Со мной тогда не знаю что может случиться...

— Это я знаю, — спокойно заметил Цинцадзе и опустился на корточки.

— Откуда, интересно, ты знаешь?

— А что у меня, глаз нет?

— Ну и что?

— А то, что вижу, ноги тебя совсем не несут, гвоздь впился, в суставах обмяк, и сам — как мешок...

— Все верно! — согласился Автандил, а Ладо ждал, что Автандил от обиды взвьется. — Так все и есть! В ногах — тяжесть, поясницу ломит, грудь рвет от кашля, да еще чихать примусь — без продыху, штаны сваливаются, на ботинках подошва мигом сгорает, чего говорю — сам не пойму. Все беды на мою голову. А бабу увижу — всем бедам конец.

— А гвоздь куда подевал? — обеспокоился Цинцадзе.

— Шляпку я ему размозжил... — И Автандил самодовольно повел ботинком перед носом Ладо.

Ношрewan рассмеялся. Мамука извлек из книги листок и принялся складывать в треугольник.

Весь в пыли к ним подполз рыжий парень, — проснувшись, тоже захотелось на травку — и начал отряхиваться. За ним подполз второй, красный, словно разгоревшаяся лучина. Бокерия придвинулся поближе к канаве, провел по краю рукой — не измараться б — и откинулся на спину.

— Тут дело раз было, приглянулась мне девчонка одна, деревня ее с нашей рядом, — повел Автандил, горестно покачав головой.

— Изменила? — посочувствовал Цинцадзе.

— Что? — встрепенулся Мамука.

— Да нет, — успокоил его Ношрewan, словно Автандил по секрету уже поведал ему эту историю.

— Не в измене тут дело... — отозвался Бокерия, продолжая горестно качать головой.

— Я же сказал тебе! — и Ношреван — спина к спине — прижался к Мамуке, но туманное это объяснение не внесло в душу Мамуки покоя, и листок, свернутый пока с одного угла, так и замер у него в руках.

— Люблю ее, ребята, места не нахожу, чувствую, человеком стал! — доверчиво повествовал Автандил, сидя на скрещенных ногах и поводя руками. — А она-то сверкает, как в тумане звезда.

— Позаботился о тебе господь! — ободрил друга Цинцадзе.

Мамука с Ношреваном улыбнулись.

Эта улыбка на лицах людей, болтающих на чужом языке у сточной канавки возле белой хатенки, перебежала к рябому азербайджанцу. Боясь помешать, он тоже присел на скрещенных ногах невдале и рядышком положил свой вещмешок.

— Давай, давай! — улыбнулся он Бокерия.

— Давай! — кивнул ему Автандил, признав в нем того, кто всю ночь напролет пинал его в бок. — У меня ж азиатские сапоги были — кожа тонюсенькая, без крахмала не натянешь, на улицу выйдешь — скрипят, собаки от злости на заборы кидаются, а чуб у меня был — дроздов не отгонишь...

— А дрозды почему? — доверчиво удивился Ношреван.

— Дрозды-то при чем? — Мамука тоже не понял, Ношреван — ладно, он городской, но я-то на своем веку этих дроздов навидался...

— Пусть себе чешет! — заступился Ладо.

Рябой тоже глядел на них, сильно задумавшись, словно и он в толк взять не мог, при чем тут дрозды.

— У дроздов, мой дорогой, своя забота, им гнездовить, вот и высматривают понадежней местечко, — Автандил с ходу отбрил Цинцадзе вместе с его усами.

По лицам ребят опять пробежала улыбка, и рябой улыбнулся.

— Хочешь не хочешь, а мы с нею вконец извелись.

— А сй что? — спросил Мамука.

— А ей ничего! — успокоил его Ношреван, словно и об этом ему рассказали.

— Вот так и шло, я к ней не могу шагу сделать, а она ко мне.

— Это что же такое стряслось? — растерялся Цинцадзе.

— Да то стряслось, что сапоги окаянные, что тебе ночью, что днем...

— Все ясно, — хлопнул себя Ладо по лбу. — Скрипу от них на всю округу, да еще дрозды вокруг тебя всей стаей хлопочут.

На Ношревана от смеха икота напала, смех душил рыжего, он только и мог выдать свое «давай, давай».

— Там она полыхает любовью, а здесь от меня один пепел остался.

— Надо было в те азиатские сапоги вколотить гвоздей покрупней, — нашел выход Цинцадзе.

— А с дроздами как? — пискнул сквозь смех Ношреван.

— А на дроздов... Бритву бы поострей! — тут же решил Ладо. — И обрить, как сейчас, — наголо.

На смех подползли еще ребята, устраиваясь поближе.

— Ты же мужчина! — напомнил Цинцадзе.

— Конечно, мужчина! — Бокерия совсем вошел в роль, отчаянно жестикулируя: боялся, без грузинского новые слушатели не поймут. — Я — мужчина, и честь моя всегда... со мной... — Он осекся, поняв, что его не туда понесло, и, сорвав с головы пилотку, бросил оземь. — Мне тогда никаких шапок было не надо, на кой мне черт шапка, когда на голове волос копница, упряжка волов прокормилась бы зиму.

Перед Мамукой вдруг возник каштанового цвета вол, — на зиму кукурузной соломы ему надо было связок полтора, не меньше, потом другой, такой же вол, потом все триста связок в одной копне сразу и, наконец, вся копна на голове у Бокерия, — и Мамука расхохотался, будто ребенок, позабывший, что в доме покойник.

— Погубят тебя шевелюра и сапоги, — предрек Цинцадзе.

— Тебе шуточки, а ведь так все и было.

— А я о чем говорю? — посочувствовал Ладо.

— Что ты тут сделаешь — мне к ней не сунуться, ей ко мне тоже нельзя — люди кругом. Ведь не бросится ж она мне на шею при всех... Девушка все-таки, да какая!

— И тебе от нее никуда?..

— А куда ж мне податься, чужак человек?

— И не подашься... Тебе от нее — никуда: гвоздочки клюют что в башку, что в ноги.

Ношреван — снова икать...

Бокерия так вошел в роль, что мимо ушей пропустил и башку, и гвозди.

— Не поверишь, но девушка такая, солнце увидит ее — и дальше не катится. Что ты тут сделаешь... Хоть головой в омут кидайся. За день я раза три к ним в деревню смотаюсь — туда и назад, туда и назад.

— Давай, давай! — опять подхлестнул рябой, зовя всех, кто еще валялся в пыли, ползти к ним и слушать.

— Ты б на собак поглядел. Будто им шашлык из одной вырезки бросили — так они на заборы свои кидались. — И, кивнув на забор, Бокерия прорычал злобным рыком, дабы всем стало ясно, как рвались и рычали собаки.

— А дрозды? — сквозь икоту едва вымолвил Ношреван.

— Дрозды в тот год без гнезд остались... на волосы мои понадеялись...

— Ладно, война началась, а то бы во всех лесах окрест перевелся бы дрозд, — с облегчением проговорил Цинцадзе.

— Не было б счастья, да несчастью спасибо, — взгрустнулось Мамуке.

— Ну, а девчонка? — спохватился опять Цинцадзе.

— Девчонка — что? Как свечка истаяла, не ела, не пила.

— Вот беда! — у Мамуки екнуло сердце.

— А куда ей было деваться от такой жизни несладкой? — в голосе Автандила были слезы.

— Не ее вина, что поделаешь... — не обнаружил выхода и Цинцадзе.

— Замуж вышла...

— Замуж? — опешил Мамука.

— Нет, нет! — воскликнул Ношреван, словно ему все рассказано было совсем по-другому.

— Ой, капой-оглы, сучий сын! — горестно вздохнул рыжий и оглянулся на всех, словно винясь, что позвал их сюда.

Улыбка, пробежавшая по разноплеменным лицам сбившихся в кучку ребят, исчезла, и вслед за Мамукой все сникли.

Даже Цинцадзе нахмурился, а уж он, видит бог, держаться умел.

— Тебя, парень, как звать? — прозвенел чистый резкий голос, и в разбитое окно высунулось лицо майора.

— Меня? — растерялся Автандил, не поняв, что он тут натворил.

— Тебя, тебя!

— Бокерия, товарищ майор! — он даже сделал было попытку отдать честь, но спохватился, вспомнив, что пилотка опять валяется на земле, нагнулся за ней, натянул по самые уши и тогда только вытянулся перед майором.

— Ты, Бокерия, молодчага, — похвалил командир и скрылся в окне.

IX

— Сам Наследников к нам! — прогремел Боженко; трижды промазав, он нацепил наконец на рычаг телефонную трубку. — На кой черт мне этот Наследников. — Он заметался по комнатенке, тщательно выметенной, и от крика его и быстрых шагов комнатенка еще больше сжалась.

Комиссара Сапожникова, старшего лейтенанта Нерсеяна и капитана Хвастунова этот крик «Сам Наследников к нам!» смел с неструганой, тянувшейся вдоль стены лавки, от которой шел запах сырости, мешавшийся с запахом крысиного помета и сена.

Хвастунов позже всех поднял свое тяжелое тело, и, когда майор, метавшийся словно ястреб в клетке, врезался в переборку, он схватился за левый бок.

— Я гвоздей у них требую, а они мне шлют генерала. Гвозди мне нужны, гвозди, говорю, — твердил Боженко, стоя у висевшего на стене телефона, словно, кроме гвоздей, других забот не было и он больше ничего не просил.

— Гвоздей они нам, Кирилл Степаныч, прислали, — с напускной деловитостью проговорил Сапожников, тоном своим давая понять, что поскольку какие-никакие гвозди получены, то теперь самим надо крутиться.

— Ты и знамена у них просил? — опять прокричал комполка, на секунду остановившись перед Сапожниковым, чтобы тут же опять побежать. — На кой черт мне

пятидюймовые гвозди, куда я их вколочу? Ты погляди, я его в скамью всадил — пополам скамеечка. А это что? Сосна. А в березу вбей, так она и вовсе — в щепки. Такого гвоздя здорового я в жизни не видел. — И, схватив со стола горсть гвоздей, он поднес под нос каждому: — Вы поглядите, такой длинный гвоздь хоть один из вас видел?

— Кто эти гвозди делал, думал план перевыполнить, — с сильным кавказским акцентом произнес Нерсесян, говоривший, однако, по-русски без единой ошибки. — Один гвоздь перетянет десяток обычных гвоздей, — съязвил он, поясняя.

— А мне как раз этот десяток и надобен, — и майор сунул злосчастный гвоздь под горбатый нос Нерсесяна. — Сам видишь ты, едет! — отвернулся он.

— А знамена?.. — Сапожников воспользовался минутной заминкой майора.

— Знамена, плакаты, уголок красный...

— Нам все надо, — Боженко швырнул гвоздь на стол, — но если... — он опять потянулся к гвоздю, чтобы сунуть его политруку, под крючковатый нос, который больше пристал бы Нерсесяну. — Если этот гвоздочек всадить в древко знамени, разлетится древко в мелкую щепочку.

— Ничего, товарищ майор, мы его сбоку вгоним и вокруг древка загнем, — прищурившись, успокоил командира Сапожников, давая понять, что и в мирное время выход был, а сейчас и подавно найдется.

— Вокруг древка загнешь? — не успокаивался Боженко. — А если верхние нары на нижние рухнут, досточки-то, видел, с бумажный листок толщиной, а на эти гвоздочки глянь... ветерок набежи — всю эту кухню, как карточный домик, в реку и сдует.

Как ни кипятился майор, Хвастунову невоготу было больше тянуться перед ним, ибо прострел в левом боку совсем его доконал, и он, подтащив скамью обратно к стене, опустился на нее, надеясь пересидеть, пока прибудет начальство.

— Можно с такими гвоздями что-нибудь строить? Это ж не гвоздь, а шампур. — И, сжимая в пальцах плоскую шляпку гвоздя, Нерсесян поднял его вверх острием, предлагая всем убедиться в своей правоте.

— Ладно, гвозди... а оружие, порох, обмундирование и...

— Разве ж дело в одних гвоздях? — оборвал Сапожников скрючившийся Хвастунов.

— Все, что есть лучшего, отправляют на фронт, товарищ Хвастунов.

— И гвозди тоже? — прогремел Боженко.

— И гвозди, и сапоги, и пушки.

— Вот когда мы, Сапожников, наступать с тобой будем, тогда нам и гвозди понадобятся, и пила, и топор, чтобы мост восстанавливать, который немец порушил и сжег, но сейчас, когда мы за собой все сжигаем и рушим и бежим сломя голову, ты этот гвоздь можешь в лоб себе вбить.

— Вот для этого он как раз и годится, — опять связвил Нерсисян, сунув гвоздь за ухо, как карандаш, и попытавшись измерить им расстояние ото лба до затылка.

— Пора, однако, и за дела! — прокричал, поднимаясь с лавки, Хвастунов, которому не галошировать сейчас, как майору Боженко, а думать надо было, как до дверей дотащиться.

— Да, пора за дела, — и майор ссыпал гвозди в угол за лавку. — Собрать комсостав на пятиминутку. Ты и Сапожников соберите плотников, пусть не сидят без дела, и ребятам своим работу задай. Тот солдат, кто при худых козырях кампанию выиграет. А тебе, капитан, с твоей поясницей, может, в санчасть податься?

— Э, нет-нет! — отмахнулся Хвастунов. — Я в ту сторону и глядеть не могу, не то что идти. В четырех стенках запрут — и дверь на замок.

— Как мы их устроили, так они нас и лечат, — Нерсисян перевел взгляд с Боженко на скособочившегося капитана, и между его густыми сдвинутыми бровями возник просвет.

— У них и повар есть... — вспомнил Боженко. — Может, они думают, что у нас тут курорт с рестораном? Покажите им, где материал лежит, раз сами не знают!

— А насчет гвоздей — к Сапожникову, товарищ майор? — с нарочитой серьезностью спросил Нерсисян, но улынулся на это только Сапожников.

— К Сапожникову? — не понял майор, думая уже о другом.

— Есть, товарищ майор! — старший лейтенант смутился, сам удивляясь неуместности своей шутки.

— Зачем к Сапожникову, пусть уж прямо к комдиву идет! — процедил с раздражением комполка.

...Эмка тряслась по дороге в густой горячей пыли, волоча за собой розовый на солнце шлейф и походя на воробья с павлиньим хвостом.

Сидя рядом с шофером у опущенного стекла, Наследников полной грудью вдыхал раскаленный воздух.

Его всегда влекло ближе к центру, к Москве, а воевать и служить приходилось вдали от столицы, и сейчас, когда после финской кампании он был переброшен на юг, машина мчала его еще дальше в южном направлении. Правда, от Москвы Наследникова отделяло сейчас расстояние такое же, что и прежде, поскольку к вечеру ему предстояло вернуться в штаб, однако даже и на один этот день он предпочел бы мчаться к Москве, а не прочь от нее.

Кроме тех лет, что он провел в академии, в Москве ему жить не пришлось. Но с самой гражданской — он служил в коннице — и по сей день он мечтал жить в столице.

А жизнь в академии и жизнью не назовешь. После седла, клинка и винтовки — тетради, книжки и бесконечные лекции, на которых не шелохнись. Куда как веселей просыпаться в седле от крика противника, летящего на тебя с поднятой шашкой, но с терпением, истинно солдатским, он тащил ярмо этой жизни, уповая на то, что дослужится до комдива и оседет в новой столице. Со временем отыскали б ему в наркомате местечко, дали б дачку где-нибудь под Москвой, а может, усадьбу кого-то из бывших, и рядом гнездились бы такие ж, как он, прославленные военачальники с красавицами дочерьми, но все они, кроме Фомы Фомича Наследникова, были б уже старики, и лишь он один, стройный и бравый, ходил бы среди них всех моложе и всех именитей.

После академии, на выпуске которой присутствовал сам Сталин, Наследникова забросили от Москвы еще дальше, в Сибирь, чуть не на Дальний Восток, и ему с трудом удалось перебраться поближе к Уралу.

Он слал в наркомат рапорт за рапортом, готовый служить в должности комдива где угодно, только не в Сибири, — ведь не напишешь, что рвешься в Москву, — однако не он один мечтал о столице и рвался к ней.

Когда началась финская, он в тот же день молниво заявил с просьбой послать на фронт. «Война генералу то же, что пахарю поле, — размышлял он. — На войне придет имя и слава, и, когда я вернусь в Москву, старики

примут меня как своего и будут носить на руках». Финляндия, казалось ему, распахнет перед ним московские двери, но после финской Наследникову оставалось только скромно свидетельствовать: с финнами он воевал.

В это время он был вызван в Москву на совещание с высшим командованием, где увидал Ворошилова, Тимошенко и самого Сталина, который в кителе, в сапогах и с неразлучной своею трубкой расхаживал за спиной президиума, и, когда он вынимал изо рта трубку, взоры всего зала обращались к вождю. Тогда у Наследникова и тех, кто добыл победу в финской, спросили, в чем нуждается армия и что требуется для того, чтобы наши вооруженные силы оказались на уровне нынешней техники и военного искусства.

Теперь, после финской кампании, Наследникова перевели на юг, опять далеко от Москвы, и снова надо было годы служить, чтобы восстановить репутацию и опять к столице торить путь, и хотя он по-прежнему считал себя молодым, но уже оседал и тучнел, и тянуло порой плюнуть на все свои планы.

А тут снова война, и Фома Фомич возвращается к жизни. Тогда, на совещании у наркома обороны, из них повытряхивали самоуверенности и неповоротливости, и сейчас он понимал: от них вдвойне требуется гибкость и дальновидность, особенно во всем, что касается формирования и обучения частей, потому что в войне против столь мощного врага Москва нуждалась в новых и новых пополнениях. У командования сто глаз и ушей, и сегодня, в неразберихе первых недель отступления, полная боевая готовность требовалась не только от армии, дивизии, корпуса — на счету был каждый боец.

Ему следовало спешить, удвоить энергию, чтобы в той круговерти, в которую втянута была сейчас вся страна, его таланты стратега и тактика, его дальновидность смогли наконец проявиться в истинном свете.

С первых дней войны Наследников крутился там, где формировались только что отмобилизованные полки, подгоняя и без того проводившееся наскоро обучение. Он не допекал командование нытьем, жалобами и просьбами и сам терпеть не мог командиров, которым вечно чего-то недостает и они только и знают, что просить и просить.

Боец есть боец, и Фома Фомич был бойцом. Не генералом же он родился.

В отличие от его адъютанта излишняя полнота не мешала комдиву, когда он стоял перед строем. В эту минуту он был тем самым конармейцем, который мог спать в седле и осаживать могучего норовистого жеребца, не касаясь стремени ногой.

Наследников таким молодцом прошелся перед повзводно выстроившимся во дворе конезавода, неопытно смотрящимся полком, что комбат Хвастунов, позабыв про боль в пояснице, вытянулся перед ним, как не вытягивался, когда сам был новобранцем.

Родной запах конюшни и широкий двор, спускающийся к реке, которая, глухо рокоча и никому не мешая, отсекала от леса самый край, обратили мысли Наследникова к тому, что будь все это где-нибудь в Подмосковье, лучшего места для житья прославленному военачальнику и не сыскать, а там дальше, вниз по течению, могли бы расселиться другие военачальники, уже давно удалившиеся от дел. Воображение увлекло Фому Фомича так далеко, что на секунду он даже остановился и тем самым, не оборачиваясь, дал Боженко почувствовать, что ему позволено догнать начальство и стать рядом с ним.

— Вам что, не нравится этот пейзаж? — спросил генерал, несколько задетый тем, что Боженко до сих пор его не догнал.

— Пейзаж?! — переспросил майор, которому ни разу в голову не приходило, хорош тут пейзаж или нет.

— Так чем же не по душе вам здешние места?

— Здешние места? — словно голодный ястреб, майор мигом окинул взором все, что могло попасть в поле зрения. — ...Местность ничего, не плохая, — с несвойственной ему интонацией, конфузясь словно женщина, стучащая в чужое окно, проговорил майор.

— Отменные места, товарищ майор, отменные, — и комдив опять огляделся кругом.

— Да, неплохие... — прежний голос вернулся к Боженко, и он пропустил начальство вперед шага на три.

— Должен, однако, заметить следующее, — Наследников перевел разговор на другое.

Замечания здесь заслуживало решительно все, на что ни падал глаз, и все в создавшейся ситуации могло быть расцепено как неприемлемое и недопустимое. Но получил

замечание только толстяк Глебов, у него в отделении у двух бойцов размотались обмотки, а у одного даже волоклись по земле. Правда, сказано было при этом, что не следует бойца только жучить, он, боец, нуждается и в поощрении. Хоть и нелегко было разобрать, кого считать лучшим, а кого — худшим, однако наметанный глаз даже в подобной ситуации различал тонкие оттенки, недоступные многим из командиров, метящим в генералы, и даже если б этих оттенков и не было вовсе, генерал все равно нашел бы за что похвалить, ибо в одобрении и поощрении боец нуждается не меньше, чем в строгости. За что он отмечен, значения не имеет. Главное, чтоб рядом стоящий боец осознал, что и его могут отметить и поощрить, если он будет нести службу исправно.

И нашелся такой для других скрытый повод: отделение, которое своим вниманием отметил Наследников, уже одним этим заслужило того, чтоб считаться примерным. У двенадцати красноармейцев обмотки накручены были как надо, и командир отделения, стоявший перед генералом навтыжку, как заправский вояка, умудрился даже надраить разбитые ботинки черной ваксой.

Генерал опять остановился, не оборачиваясь, и опять Боженко поравнялся с ним.

— Даже в подобных обстоятельствах командир отделения... — начал генерал.

— Бокерия! — доложил майор, выяснивший как звать этого бойца еще два дня назад, когда высунулся в разбитое окно.

— Бокерия, товарищ генерал! — отдав честь, поправил майора Автандил.

— И все-таки Бокерия! — перед подчиненными Наследников взял сторону комполка, чем дал почувствовать «бокерияподобным», что комполка есть комполка, раз он таковым назначен, и, если тебя называли Бокерией, Бокерией тебе и быть.

— И все же я всегда был Бокерией! — не сдавался Автандил, словно говоря: хоть ты комдив, но над своим именем я сам хозяин и маршал.

— Ты молодец, Бокерия — Бокерия! — похвалил его Наследников, не желая обижать ни командира, ни бойца, и двинулся дальше.

За сегодняшний день генерал должен был, раз уж он завернул сюда, своими глазами увидеть все полки и батальоны, которые были разбросаны по школам, конюшням

и прямо в поле, чтобы рапортовать о них командованию округа.

Мамуке с Ношреваном, которые совсем пали духом, даже в голову не приходило, зачем это их отделенному понадобилось собственноручно обмотать им ноги обмотками, у которых где конец, где начало, недотепам этим было совсем невдомек.

— Ай да Бокерия! — улыбнулся Автандил в сторону усов Цинцадзе.

— Быть тебе у него в адъютантах, а там до командующего рукой подать... — предрек Цинцадзе, когда тучный наследниковский адъютант проследовал мимо них.

— А вам куда? — обиделся Бокерия.

— А нам помирать, — не стал таиться Цинцадзе.

Х

О лучшем и мечтать было нечего, так все отлично устроилось: в Мамуке вдруг проснулся поразительный дар — винтовку ль держал он в руках или лопату, обжигались ли пальцы о горячий котелок или натягивали противогаз, ниточка мысли не прерывалась, и пусть руки и ноги его исполняли приказ, он все равно думал свое, а уже после, когда шел по долгой дороге, или сидел в окопе, или растягивался на земле — не имело значения, это день или ночь, — он записывал то, о чем думал, что прямо сейчас можно было послать Текле или после ей прочитать, когда он вернется, или послать отцу с матерью в Гулдози, или в Кутаиси Леону, или Ватути с Бакури в Тбилиси, или даже два раза тетке Ивлити, не ждя и не требуя, чтоб был ответ.

Он писал, что ему хорошо, и ребята отличные, в обиду его не дадут, и что скоро все мы опять будем вместе, а пока рядом с ним Ношреван Ардадзе, его тбилисский друг.

Кроме Теклы, он всем писал кратко и сухо — даже отцу, а ей нес нескончаемую окоlesiцу про все, что видел и чувствовал, даже о Ношреване он не мог написать толково и внятно, потому что невозможно было понять, всегда Ношреван был такой или только сейчас перестал быть медузой, а может быть, в этих тошнотворно одинаковых буднях сам Мамука утратил способность вылуцивать суть. У Ардадзе был запас белой чистой бумаги, и он где

ни попадая утыкается носом в какую-то рукопись, хотя за день, бывает, не прочтет и страницы, потому что от усталости каменеют мозги и все тело. Ночами он думает и, как привязанный, всюду тащится за Мамукой и говорит, говорит. А смех у него все такой же, будто икает, но все равно он странно и глухо заперт в себе, в смутном каком-то, бесформенном мире. Поначалу он то и дело брал Мамуку за руку, собираясь поведать такое, что человек человеку не открывал никогда, но сейчас и об этом он совсем позабыл.

До сих пор ни Амаглобели, ни Ардадзе не держали в руках винтовки. На учениях Бокерия иногда совал им свою, вполне сносную винтовку либо Цинцадзе отдавал совсем старенькое ружьецо, — приклад его в любой момент мог отвалиться от ствола, поскольку прикручен был проволокой, и в любую минуту мог оборваться измочаленный ремень, державшийся на кольцах ружья посредством двух узелков, и его приходилось таскать на плече как мотыгу, чего ни один командир не желал допускать у себя в отделении.

— Беда с этими недоносками, — сокрушался Бокерия, когда лупоглазый комвзвода Винокуров или долговязый комроты Перцов выговаривали ему, что у Мамуки с Ношрваном получился окоп не той глубины и не той ширины, что их пули не оставили следов на мишени — ни самой малой царапины. — Не могу я им в башку вколотить, что война, что со всех сторон немец прет, — для Автандила и Германия, и Гитлер, и все немцы означались одним словом — немец. Винтовка сейчас для тебя все — и сестренка родная, и единственный друг, а они знай свое: один на ходу письма строчит, а другого от книжки не оторвешь — где это видано разводить писанину в окопах. Не сносить вам головы, достанет вас немец, помяните мое слово.

— Почему? — с серьезным видом спрашивали Мамука с Ношрваном, внимательно глядя в лицо своего командира или в лицо его верного друга.

— Почему? — и без того длинная физиономия Бокерия вытягивалась, как лошадиная морда. — Ты слышишь, Цинцадзе, они еще спрашивают почему...

— Слышу... — отзывается Цинцадзе, вскинув руку к виску, но тут же роняя. — Слышу, товарищ командир!

Автандил пропускает мимо ушей незаметную для постороннего слуха издевку.

- А ну-ка, разъясни им...
- Что разъяснить, товарищ командир?
- Это «почему» им разъясни.
- Так что вам неясно, товарищи бойцы? — берется

Ладо.

— Почему война?! — вслед за Мамукой повторяет Ардадзе, жалкий, как стриженный ягненок, которому не допереть самому, отчего война началась.

— Ты немца спроси! — перебивает Бокерия Цинцадзе.

— А где его спросишь? — теряется Мамука, а Ношрван, словно голенький ягненок, крутит своей головой во все стороны, будто немец и правда где-то тут рядышком и спросить его не стоит труда: дескать, мы тут, а ты там — и зачем нам друг у друга воду мутить?

— Покажи им немца, товарищ командир! — решает Цинцадзе. — Они сами с ним разберутся.

— Как я им немца покажу? Он и так полстраны отхватил. Не хватает еще, чтоб он сюда заявился.

— Иначе они не поверят.

— Чему не поверят? — повышает голос Автандил.

— Не поверят, и все... Они себе читают, пишут, учатся, трудятся. У кого есть право такое — мешать им делать то, что они хотят, товарищ командир? — с простодушной миной спросил Ладо, но было в его вопросе и что-то серьезное.

— Ах ты господи! И этот с ума спятил! Вам что, не понятно, что немец вконец осатанел?

— А с чего ему сатанеть? — казалось, Мамука был уверен, что вопрос его правомерен.

— И правда, чего сатанеть? — Ладо подлил масла в огонь.

— Не на меня ж он окрысился? — Автандил сообразил наконец, что незачем тут воду в ступе толочь. — Ты, видно, тоже тронулся малость, — и он погладил усики, отпущенные две недели назад назло Цинцадзе. — Давайте ройте окоп поглубже, а то пустит вам немец пулю в башку, набитую этими дурацкими «почему», тогда и сообразите что тут к чему.

— Эй, Бердиев! — Автандил кликнул туркмена, который, стоя по пояс в окопе, так проворно выбрасывал землю, словно противник и впрямь был уже рядом и надо было успеть скорей схорониться. — Объясни-ка этим друзьям, чего от нас немцу надо...

Нариман Бердиев ничего не понял из того, что сказал

ему командир, но решил, что Бокерия шутит и спросил о чем-то таком, от чего всё должны рассмеяться, его чу-гунно-темное лицо просветлело, перламутром сверкнули крепкие зубы — «чем моему ответу смеяться, лучше я посмеюсь вместе с вами над вашим вопросом», — и, схватившись за кургузый черенок саперной лопаты, он вместе с ослепительной своей улыбкой скрылся в окопе.

...А Мамука писал и писал Текле. Писал и искал ответа на то, о чем вопрошали себя Цинцадзе с Бокерия, Ношреван, москвич Кудрявцев и комвзвода Винокуров, бойцы Бердиев, Вишневский и Хаджиларов, майор Боженко и молодые поэты в Тбилиси, учитель Парна Амаглобели и колхозник Ладо Липартелиани...

Этот мальчик, без греха и вины, мог прикидывать так и сяк, допустить мог любую случайность и любой парадокс, чтобы эту явь оправдать, — все равно он не понимал, с чего это вдруг появится парень, такой же, как он, и в лоб ему выпустит пулю.

Объяснения не находилось, и куда было легче решить, что вокруг всего этого попросту нет.

«Как так нет?»

Нет, конечно, все это есть, вроде бы все существует, но будто в мареве, в мираже... хаос какой-то, его ни пощупать нельзя, ни познать... А может быть, это болезнь?.. Эпидемия, мор, охватившие всех. Жара нет, но в бреду все и чудится всем, будто близится кто-то и сжигает хлеба. Как же так — сеять хлеб, чтобы после спалить? И зачем было дом воздвигать, украшать затейливой вязью, перекидывать дивные арки, камень брать попрочней и надежней, если этот дом суждено уничтожить? Взял человек ружье и пустил себе пулю в лоб...

Нет, не себе в лоб — а врагу... Человеку казалось, что он бьет по врагу. «По врагу, слышишь, Текла, по врагу, — писал он, стараясь внушить и ей, и себе, что все это, хочешь не хочешь, только так и можно понять. — А поди пойми, когда нет у тебя к врагу ненависти.

У тебя ее нет, у меня ее нет, а у него она есть, и откуда — не знаем.

Ладно, на минутку допустим: он пошел другого убить, но тот другой тоже навстречу идет убивать, значит, мы поубиваем друг друга. Выходит, кто пошел другого убить, идет убивать самого себя. Это можно истолковать как акт самоубийства. Но если ты самоубийца, зачем тебе мучиться и тратить столько усилий, раз ты однажды решил, что

твоя жизнь тебе ни к чему, что, как ни кидай, ты в этом бренном мире лишь гость и неизбежно исчезнешь, и зачем тогда, не зная покоя ни ночью, ни днем, заставлять себя делать оружие, как можно лучше и больше, — будто старого мало, чтобы отправить тебя на тот свет. Зачем сквозь этот крошечный ад и кровь тащиться через границы, роя окопы, валяясь на голой земле, покрывая по сорока километров за сутки, чтобы тебе оторвало ногу или челюсть свернуло, чтобы снаряд разнес тебя на куски или чтоб ты захлебнулся в воде или еще как-нибудь свел с жизнью счеты.

Опять концы с концами не сходятся.

Текла, неужели нельзя, чтобы этого не было? В сто раз проще поверить, что все это нам только кажется. Допустим, налетел мор на людей, валит всех без разбора — и тебе начинает мерещиться то, чего на свете не было, нет и не будет.

Есть такая болезнь — днем человек отчетливо видит все цвета, а в темноте их не различает. Другие-то видят, а для него тьма сплошная. У нас в полку есть такой очень начитанный малый, Сашка Кузнецов, он в штабе писарем. Не то что ночной караул, он ночью по нужде во двор выйти не может. Это, конечно, болезнь пустяковая, если сравнить с тем, о чем мы с тобой говорим, но все-таки это болезнь, и она хоть редко, но встречается. А если болезнь без разбору косит тысячи людей, массу, всех...

Помнишь, мы с тобой в цирк ходили, иллюзионист выступал? С тех пор как мы вместе, мы были в цирке раза четыре. Но разве всегда мы были вместе? Я даже не вспомню себя без тебя... Помнишь, очень красивую женщину сажают в сундук, а он кинжалами в нее, не один кинжал, и не два (здесь, говорят, башку продырявить одной пули хватит, одного удара сабли), он в нее не меньше дюжины кинжалов всадил и еще каких-то длиннющих сабель и шпаг. Минута проходит, и она появляется цела, невредима, прекрасна. Помнишь, такой красивый сундук, расписной...

Тек... Знаешь, Сашка Кузнецов мне сегодня сказал... Он говорит (у него и дед — врач, и отец), что его, Сашкина, болезнь — это куриная слепота. И видения всякие — тоже болезнь, как чума, как холера, ничего в ней необычного нет, эпидемия, и все, бывает даже эпидемия смеха. Засмеется человек, а перестать не может, причин для сме-

ха нет никаких, а за ним другой начинает смеяться, потом третий, четвертый, десятый, сотый, двухсотый, и все без причины, а спроси, отчего смех, — не скажут. Смеются оттого, что — эпидемия, ты его хоть бей, по щекам хлещи, по голове — он все равно будет до коллик смеяться, покатываться, помирать.

Ты же знаешь, в пустыне всему каравану привидеться может вода и оазис...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Полковник Петренко уже занес руку, чтобы подмахнуть несколько наспех исписанных листков, и тут ему вспомнилось, как отец его Афанасий Кондратьевич без устали втолковывал сыну с самых ранних лет: на скорую руку важных дел не решай, особенно если дела потом не исправить.

Мальчишкой Василий Афанасьевич был великий мастак попадать камнем в цель.

Если у яблони на макушке оставалась упрямо и манко висеть парочка цепких краснощеких яблок, то с третьего или четвертого раза он их непременно сбивал. Глаз был у Васи наметанный, и стоило попасть точно в цель, камень вместе с яблоком падал под дерево, но, если промазать, куда угодит камень — поди угадай, яблоко, дразня, болталось себе на макушке, а у соседа звенели и сыпались стекла. Вины тут Васиной не было, он и не думал обидеть соседа, тем более бить ему стекла, но Афанасий Кондратьевич надирал сыну уши, чтобы урок был усвоен надежно.

— В другой раз, Василий Афанасьевич, — приговаривал он, — лучше гляди, куда камень может упасть, и не считай, что куда метил, туда и попал, скорее рассчитывай, что промажешь.

«Потише, Василий Афанасьевич, потише», — полковник отложил ручку и потер ухо, будто отец только сейчас надрал его.

Наспех составленного донесения о дезертирстве Леона Парнаозовича Амаглобели, его душевной болезни или того и другого разом Петренко толком не понял и потому не знал, передавать ли дело в трибунал, поскольку сбежав-

ший задержан был тут же на станции, или отправить его в психбольницу как душевнобольного. Не выдвигая других причин, обвиняемый причиной своего бегства называл гибель жены и ребенка, а также количество и интенсивность созревания в июне, июле и августе какого-то тута, который обрезан был и уже годен в эксплуатацию.

«Потише, Василий Афанасьевич, потише!» — опять одернул себя полковник и потер на сей раз не только ухо, но и глаза, красные от недосыпа, и попытался опять прочитать все дело насквозь, и опять он понял не больше, чем после первого беглого чтения, когда вместо яблока едва не угодил соседу в окно, но взять самописку и подписать рука у него не поднялась.

«Боец этот — грузин, хотя на незнание русского не ссылается. По закону же обвиняемый должен быть допрошен на родном языке. Кроме того, надо найти свидетеля, который бы имел представление о том, сколько у тutowника листьев, когда он готов к эксплуатации или вступает в вегетационный период... или что-то еще в этом роде... Может, за яблоней — окошко соседа?»

Тыльной стороной кисти полковник отодвинул дело.

Грузины в части нашлись, но такого, чтобы мог переводить с русского, не обнаружилось. Был, правда, один лейтенант, по фамилии Табагари, говорили, что он грузин, и штаб подтвердил это, но он был в командировке, пополнение, наверное, сопровождал, ждать его времени не было. Отыскали еще одного, но тот оказался тоже Амаглобели, то ли однофамилец, то ли родственник, и брать его в переводчики полковник возможным не счел.

Леона, давно не бритого и без ремня, двое вооруженных конвоиров загнали в угол полуторки между боковым и передним бортом, и после двухчасовой дорожной тряски он был доставлен из своей части в другой полк. Его ввели в избу, походившую скорей на амбар, и он очутился перед столом, грубо сколоченным из досок, за которым, утопая в глубоком старинном кресле, сидел, тщетно борясь со сном, начальник особого отдела Чхенкели.

Это роскошное мягкое кресло, бог знает где раздобытое, служило Чхенкели также постелью. Чем валяться на жестких нарах, он предпочитал спать, если время выкраивалось, прямо тут за столом, у телефона. Сам он не выдался ростом, а кресло было низкое и с откинутой спинкой, поэтому, когда за столом надо было работать, приходилось либо вставать, либо если садиться, то сперва

положив на ручки кресла доску, прислоненную к стенке справа. Получалось, что сидишь высоко и глядишь на бумагу сверху, но ноги болтались, и потому Чхенкели пользовался доской, когда был в амбаре один.

Сейчас на этом возвышавшемся перед Чхенкели столе лежало дело подозреваемого в дезертирстве красноармейца из соседней воинской части, которого он должен был допросить на родном языке. Подозревался красноармеец и в том, что был душевнобольным, ибо постоянно бредил о длине, ширине и процентном приросте тутового листа, когда обрезанный тутовник готов к эксплуатации, и о том, что даже на время войны и с точки зрения ее, войны, нужд невозможно все это бросить, не говоря уже о многих других сторонах дела.

Чхенкели был болен, и не начнись война, он бы демобилизовался. Теперь допрос этого помешавшегося дезертира и определение наказания, о чем просил его полковник, поскольку решалась судьба человека и полковник боялся дров наломать, способны были доконать Чхенкели, которого язва желудка вконец извела.

— Здравствуйте! — сказал по-грузински Леон и, выдвинув из-под стола табуретку, сел на нее, всем своим видом являя обиду.

Чхенкели не стал отвечать.

Поначалу он хотел отпустить конвоиров, но, когда возмущенный Леон без разрешения плюхнулся на табуретку, он передумал, решив, что малый этот может и в голову запустить чем попало.

— Так в чем дело, товарищ?

— Меня зовут Леон... — пришел на помощь ему подконвойный.

Словно не слыша этого, начальник особого отдела, утопая по-прежнему в кресле, потянул к себе с другого края стола бумаги; так, стоя на цыпочках, тянется ребенок к тарелке с козинаки, задвинутой поглубже на полку, тронь один только кусочек — пропитанные медом козинаки, склеившись, разом падают на пол.

Не поднимаясь с кресла, Чхенкели собрал бумаги и, утомившись от этого еще больше, повторил:

— Так в чем же все-таки дело, товарищ Амаглобели?

— Отпустить меня н-н-надо...

— Куда?

«Не в себе явно...» — определил Чхенкели, и беда этого

здоровенного молодого парня на минуту заставила его позабыть про свою язву.

— Д-д-домой!

— Конечно, конечно! — быстро согласился Чхенкели, чтобы не раздражать больного и не рисковать.

— Я знаю, что говорю, — напускное миролюбие собеседника еще больше обозлило Леона и заставило Чхенкели вспомнить о собственном недуге.

— Что знаете? — отлегло у Чхенкели от сердца. Стало ясно, что, если дело так и дальше пойдет, можно будет быстро все кончить и повар успеет раздобыть где-нибудь ложку соды.

— Не м-м-могу...

— Чего не можешь?

«Конец мне», — Чхенкели слышал, что есть такие психи: часами будут говорить как нормальные, а потом такое вдруг выдадут, что все полетит к черту.

— М-м-мое пребывание там нужней...

— Это почему же твое пребывание там нужней, а мое и всех других нужней тут? — как можно серьезней спросил Чхенкели.

— Вы человек военный...

— Правильно, — обрадовался собеседник Леона, желая сказать, что ему-то как раз здесь трудней оставаться, чем Леону, и что, очень возможно, ему скоро будет куда хуже, чем Леону, но никому до этого дела нет, даже самой медкомиссии. — Все это было бы правильно, — согласился Чхенкели, — но только в мирное время.

— А в военное тем более, — не дал ему договорить Леон.

— Ты в своей жизни много работал? — Чхенкели решил, что малый этот привязчив, как язва, и лучше спросить его о чем поконкретней.

— Я и сейчас работаю.

— Сейчас вы на военной службе, — поправил его Чхенкели, как родитель, намеревающийся всыпать сыну, но пожелавший, чтоб отпрыск сперва понял, что другого выхода у отца нет.

— Я с-с-сначала за семью отвечаю, а за н-н-народ уж потом.

— Разве не народ, не страна у всех нас на первом месте?

— Н-н-народ начинается с моей семьи...

— Это понятно! — оборвал его начальник особого от-

дела, ибо возникала угроза, что если этот псих будет так и дальше тянуть, то он порешит его прежде язвы. — Перед семьей мы все в долгу, и у всех нас есть семья.

— У м-моей ж-ж-жены... — язык отказывался повиноваться Леону, потому что надо было вслух сказать, что жена у него при смерти, что упала она со ступенек вагона, и выкидыш у нее, и что, может быть, ее уже и в живых нет, раз уж доктор Дарасели безнадежно покачал головой, и что в военкомат Леон пошел только затем, чтоб обо всем этом сказать, а не на фронт отправляться.

Его надо было немедленно отпустить, еще несколько дней — и станет ясно, обошлось с женой или нет... Какое там обошлось... Разум мутился от накатившей беды, и было мучительно говорить о выкидыше и жене с чужими людьми, в самый разгар войны, говорить с командирами, которых самих рвут на части, язык от этого совсем костенел, и Леона в нетерпении прерывали, как вот сейчас:

— Семья это прежде всего жена...

— Д-д-дай мне сказать... — хоть бы этот послушал, вник в беду и не думал, что он с ума спятил или стал изменником родины.

— Товарищ Амаглобели!

— Д-д-дай мне сказать! — приподнялся с табуретки Леон, конвоиры сделали к нему шаг, а язва шепнула Чхенкели, что ведь и по нему не скажешь, что болен, только бледность в лице.

— Говорите, говорите, я молчу, — Чхенкели поглядел прямо в глаза подконвойному.

— Они... — Леон кивнул на конвоиров, — отп-п-пусти-те их, н-н-не сбегу...

— Так они ж по-грузински не знают...

— Н-не могу при ч-ч-чужих о жене... О жецском... Даже если хвалишь жену...

— Что?! — обомлел Чхенкели. «Может, этот чокнутый поумней нас с полковником?»

Начальник особого отдела сделал конвоирам знак покинуть помещение.

— А-а-а! — вырвалось у Чхенкели, когда Леон кончил рассказывать и он уже выбрался было из кресла, но тут воспоминание о тутовнике, который был привит и готов к эксплуатации, о чем он вычитал в деле, опять омрачило его настроение и опять о себе напомнила язва.

— В опытном хозяйстве я работаю главным агрономом, — в самое время и очень толково заговорил снова

Леон, а поскольку наконец-то нашлось кому его выслушать, он даже заикаться стал меньше, по крайней мере, косноязычие его не так утомляло слушателя.

И очень подробно, переводя на рубли, он подсчитал, во что обходилось государству это хозяйство и зачем нужно было выбрасывать столько денег и так расходовать рабочую силу, когда хозяйство не давало еще готовой продукции или чего-то еще, что стоит денег. И очень доходчиво растолковал, сколько всего должно было дать в конце концов это хозяйство.

— Все понятно, — сказал Чхенкели и обхватил своими ладошками руку Леона. — Да у тебя, друг, ума палата. Это не тебе волноваться надо, а мне, язва меня замучила... От тебя не буду скрывать, — он оглянулся на дверь, хотя знал, что конвой с радостью убрался во двор и дымил там напропалую; — замучил меня геморрой...

— От геморроя — майский мед с виноградной косточкой первое средство, а от язвы мед акации.

— Милый ты мой, как тебя звать, говоришь? Меня тогда язва схватила, я забыл.

— Л-л-леон.

— Так вот, друг мой Леон... какой там мед сейчас, я б не то что от майского, от июльского б не отказался.

— Т-т-так ведь так тоже нельзя... На тебе ж лица нет.

— А тебе разве тут место? Однако сам видишь, как все получается. Покоя нам кровосос этот не даст, и не жди. Ты сам мозгами раскинь: в твой дом, представь, ворвался бандит, ты же не скажешь ему, у меня жена помирает, да еще шелк позарез нужен, тутовый лист у меня вон какой вымахает, и еще мне язву надо лечить — приходи лучше после. Бандит как раз и появится, когда тебе больше всего нехстати.

— Т-т-так, значит?.. Но ведь и он человек?

— Человек?! Был бы он человеком, к нам бы не sunulся, ни сейчас, ни после, когда ты родишь еще пятерых сыновей и тутовый лист у тебя не на одну, а на две пяди вымахает. Жил бы этот немец сам по себе и мы тоже сами по себе — и все дело.

— Вот это п-п-путем!

— Какой уж там путь... Сам знаешь, Белоруссию и Молдавию он уже взял, пол-Украины отхватил, Прибалтику... А теперь к Москве и Ленинграду рвется, а дальше — на Кавказ метит и, если нам не стоять насмерть, он и жену твою, и ребенка...

— К-к-какой ребенок?

— Ты же совсем молодой, дорогой! Если жена твоя волюнить не станет, ты имена своих детишек путать будешь. Мой отец путал. А чего удивляться, когда нас, братьев и сестер, — одиннадцать душ было? Так что дойди до нас немчура — он тутовник твой с корнем выдерет из земли.

— Ч-ч-чего же, мне тут сидеть и отстреливаться?

— А что прикажешь делать? Мне сейчас надо в больнице лежать, и еще не известно, останусь жив или нет. Эта чертова язва как схватит, хоть на стены кидайся.

— Я н-н-насчет меда отцу напишу... — простодушно посочувствовал Леон.

— Не надо, Леон, — едва нашлось кому пожалеть, как присмирившая язва тут же взыграла. — Скоро о черном хлебе будем мечтать.

Скорчившись от боли, но продолжая стоять, Чхенкели набросал на листке несколько слов и отдал его конвоирам.

— Я еще им позвоню, — он, как с родным, простился с Леоном.

— Оставили б м-м-меня у себя, — проканючил Леон.

— Это уже значения не имеет, — утешил его Чхенкели и, взяв под локоток, проводил до дверей. — Там тоже люди сидят, и кто направил тебя ко мне, побольше моего тебе добра хочет.

11

Уже смеркалось, когда рота, едва волоча от усталости ноги, приближалась с учений к лагерю.

— Запевай! — не приказал, а смиренно попросил младший лейтенант Семичастный, понимая, что ни ему самому, ни всем этим ребятам сейчас не до песен, но уж лучше петь, чем вокруг лагеря бегать.

— Дело, видать, совсем никуда, если еще петь заставляют, — процедил сквозь зубы Бесо.

— Развлекься не худо, — проговорил Бакури.

— Я весь вышел, — скрипнул зубами Кинцурашвили, — а ты еще дышишь, смотрю. А этому еще песни подай.

— Забавно смотреть: шагу сделать не можешь, а бежишь во весь дух. Головой о стенку готов биться — а ты песни горланишь.

— Помолчал бы, вас, образованных, не поймешь...

— Правда, давайте споем! — послышной проговорил Семичастный, не зная, что думать, раз все молчат.

Бакури откашлялся и затынул... Ребята поежились — до лагеря было еще далеко, зачем это все...

«Ничего, — взбодрил себя Бакури, — подтянете. Не ко времени я б не завел. Значит, так было надо. Вас спросить, так не окопы вам рыть, не гранаты метать, не штыком колоть, не прикладом бить надо, а сидеть бы на тракторе, листочки с лозы состригать и самокаты ребятишкам чинить, но другое, видно, время пришло...»

— Не отставать! — подстегнул лейтенант, когда Амаглобели, не дожидаясь, чтоб взвод поддержал, вырвался вперед, как незадачливый дружка на свадьбе, затаивший не вовремя «Мравалжамиер».

«Что-то мне надо было этому Амаглобели сказать», — никак не мог вспомнить Семичастный.

— Черт бы вас всех побрал! — и отделенный Иванов заставил себя подстроиться к Бакури.

— Визгин! — Семичастному хотелось пройти к голове колонны, где он думал найти Визгина, но уставшие ноги не слушались, и он решил догнать голосом, крикнув громче, и смущения своего ему стало стыдно, ведь не ради своего удовольствия он заставлял их петь.

Визгину деваться было некуда — не отмолчишься, — он подхватил резко и высоко. В разных концах колонны подтянули громче и выше, и в расположение полка рота вступила с песней.

Только когда при входе в лагерь Семичастный заметил двух девушек в ловко сидящих гимнастерках, он вспомнил, что об одной из них — с копной каштановых волос — он и собирался сказать Бакури...

— Рота, стой! — приказал младший лейтенант уже смелее, так как после этой команды и всего, что за ней бы последовало, на душе б у него полегчало. — Вольно! Р-р-разойдись!

Бакури с Бесо уже потащились к казарме, но тут на пути у них вырос Семичастный.

Анатолий Епифанович Семичастный, окончивший первый курс Одесского военного училища, был из командиров, испеченных на скорую руку, и его скорее можно было убедить в том, что это он развязал войну, чем в том, что он действительно командир. Стоило ему довести роту до казармы и освободиться от своих командирских обязан-

ностей, к которым он, пройди еще два года, так бы и не привык, как он начинал разговаривать с бойцами так, словно командирами были они, а он подчиненным.

— Бакури Парнаозович, ты меня, пожалуйста, извини...

— Что случилось, Толя? — смутился Бакури, почувствовав, что роль запевалы может дорого ему обойтись и навлечь новые неприятности.

Бесо, словно младшего брата, хлопнул Семичастного по плечу и улыбнулся. Этот сумрачный, молчаливый парень улыбался одному только лейтенанту, скорее всего оттого, что не мог по-русски сказать, как благодарен ему за простое и доброе сердце. Лейтенант зажмурился, радуясь, что такой взрослый и сильный человек, как Бесо, не сердится, что он, Семичастный, им командует, и, совсем не зная по-русски, так хорошо понимает его.

— Что, Толя? — Бакури почувствовал слабость в коленях.

— Вчера в штабе... случайно, конечно, меня туда по разным нашим делам вызывали... я вашу землячку встретил... грузинку одну...

— Какую? — встрепенулся Бакури, испугавшись, что судьба опять выгоняет на сцену еще одну, по роли положенную, партнершу.

— Да фамилию я не спросил, неудобно было...

— Она что, знает меня?

— Да вряд ли... Нет, нет, не знает...

— А чего ей от меня надо? У меня с девицами никаких дел нет.

— Там, в штабе, видишь ли ты, искали вчера грузина, который бы русский знал, — кого-то из ваших допросить надо было, меня тоже спросили, я тебя и назвал. А потом, не знаю, как там у них обернулось, полковник сказал — не надо тебя.

— Ну, слава богу, — облегченно выдохнул Бакури. — Девицу, что ли, надо было допрашивать? По-русски не понимает?

— Да я не о том... Это все позавчера было.

— Так ты мне про что толкуешь, что вчера было или позавчера?

— Переводчика разыскивали позавчера. А вчера в штабе вспомнили про санбат и туда обратились. Привели медсестру, а полковник, оказывается, грузина того уже в другую часть отправил или еще не знаю куда, девушку

эту, стало быть, вызывали зря, а ей интересно — зачем звали, она и спросила про грузина, а там мелюзга штабная мельтешит, никто ничего не знает, что за грузин, чего натворил. Полковника же не спросишь. А фамилию сказали. На твою похожа, я и скажи, что у нас в роте грузин есть с такой же фамилией и русский знает, да и вообще...

— Ладно, Толя! — прервал его Бакури, надеясь до ужина успеть прилечь и черкнуть пару строчек в Гелгети Каплану Гасвиани насчет его вороного. Старик, наверное, места себе не находит, о коне с каких пор вестей нет. — Значит, я там ни к чему оказался?

-- Нет, нет, ни к чему...

— Пошли, Бесо!

— Но, понимаешь, Бакури, эта девушка меня после спрашивает, вы, говорит, хоть скажите, кто он, этот земляк мой...

— Делать ей нечего — вот и спросила.

— Она, знаешь, в Москве учится, в мединституте. Славная такая...

— Тебе все девушки славными кажутся.

— Так ведь она там, у входа, стоит, — Семичастный глазам своим не поверил, когда Бакури направился прямо к казармам.

— Где? — остановился Бакури, однако не оборачиваясь.

— Да вон там, — Семичастный показал рукой, адресуясь к Бесо, который все-таки обернулся. — Ты извини, Бакури, не сказал тебе сразу, совсем позабыл... сам видишь, не ладится все у меня.

— И что им от меня надо? — неизвестно кого спросил Бакури.

— Давай вместе подойдем, я тебя с ней познакомлю. Неудобно все-таки, девушка очень славная... Ты не думай, она не какая-нибудь такая, очень славная девушка. И другая с ней, ту я не знаю. В штабе она одна была, а это подруга, наверное...

— Надо-то ей чего? — дознавался Бесо, удивляясь, что нашлась такая девчонка, которая может заставить Бакури вернуться.

— Да я сам не знаю.

— Может, они тебя знают? — усомнился Бесо. — А не хозяин ли вороного тут оказался, земляк моей матери?

— Из Гелгети? Ему сюда не добраться... А эти из соседней части, видно, хотят познакомиться, раз тут грузин объявился.

— Ну, тогда пошли к ним.

— А чего идти?

— Поговорим хоть...

— Девушка, значит...

— Да на кой черт она тебе?..

— Да мне ни к чему и тебе ни к чему, а кому-то все это понадобилось.

Когда стали знакомиться со второй девушкой, совсем светленькой, которую и Семичастный не знал, лейтенант засмутился. Не найдись она, неизвестно, долго ль длилась бы эта неловкость.

— Валя Жижина! — протянула она руку Бесо, он и годами казался старше, и держался поуверенней, да и стоял прямо против нее.

Бесо убрал руки за спину, поскольку по-русски не понимал, и рука девушки обиженно повисла в воздухе. Вряд ли поняла Валя, почему Бесо спрятал руки, — ведь, чтоб протянуть для знакомства руку, разве обязательно язык знать?

Но Бакури, стоя в середине, руку Вали пожал, забавляясь всей этой сценой, недурно разыгранной.

— Бакури Амаглобели.

— Так это вы... Значит, Амаглобели, а не Амаглебели, — по-грузински сказала девушка с каштановыми волосами, держа под мышкой пилотку, словно сумочку.

— Да, это я, — пожал поникшими плечами Бакури. «Я думал, что на сегодня с выполнением долга покончено... и зачем я кому-то понадобился?» — Познакомьтесь, это Бесо, — спохватился он, обращаясь к блондинке... — Виссарион Эстатьевич Кинцурашвили. Извините его, он не сразу вас понял.

— А-а! — брови девушки дернулись кверху. — Виссарион, знакомое имя...

— Он по-русски ни слова.

— Бывает, ничего не поделаешь, — и она опять протянула ему руку.

Бесо поглядел на Бакури так, словно ему собирались отрубить правую руку.

— Руку дай...

Бесо хотелось все свои промашки одним махом исправить, да и Жижина виду не подала, но все ясно слышали, как скрипнул зубами Бесо и хрустнули пальцы у девушки.

— Вот так Виссарион! — и Валя сунула пальцы под мышку.

— Ваш лейтенант вел себя так благородно, — краем губ цвета спелой клубники улыбнулась девушка с каштановыми волосами, и в словах ее звучала скорее искренняя признательность, чем та ирония, которую женщины допускают обычно в разговоре с застенчивыми мужчинами, особенно если это молодые командиры.

«Поди угадай, что там у ней на уме, — сказал себе Бакури, не углядев в глазах этой девушки, ни в улыбке ее того надоевшего кокетства, с каким обычно начинают заигрывать. — Или это вторая Гугута?»

— Знакомьтесь, — когда боль в пальцах стихла, Жижина снова оборвала затянувшуюся неловкость. — Ваша землячка, — лукаво улыбнулась она. — Тамара Мирианашвили, старшая медсестра нашего медсанбата. А я фельдшер, не старший и не младший.

— Тамара Мирианашвили... — задумчиво повторил Бакури, словно имя это он уже где-то слышал или прочел. — Мой вопрос, может быть, покажется странным, но какой судьбой вас сюда занесло?

— Сама не знаю. Как всех, так и меня, — улыбнулась Тамара своей резко очерченной улыбкой, казалось, так улыбаться могла только она. — Да... как всех...

— Как всех? И как Валю? Валя, а как ваше отчество?

— Христофоровна... Валентина Христофоровна, — повторила она, раз уж познакомились так церемонно.

— ...Как Валентину Христофоровну, как Бесо... то есть как Виссариона Эстатьевича, — поглядел на Жижину Бакури, — как Семичастного, как меня, да и как всех нас, правда?

— Виссариона Евстафьевича? — переспросила Валя больше из вежливости, потому что на этого парня ребята не обращали внимания, а единственное, что Бесо мог понять из разговора, так одно свое имя.

Смущенно, что так не вязалось с ним, Бесо клацнул зубами, и руки его, тяжелые, как орудийный снаряд, взмокли от пота.

— Что ж, мы так и будем стоять? — спросила Валя, всей душой жалея Бесо.

— В дом пригласить мы вас не можем, прибраться не успели, — пошутил Бакури, внимательно вслушиваясь в звучание собственных слов и еще сомневаясь, ту ли роль он взял на себя и так ли ее ведет.

— Тут вина не только хозяев, гостю тоже не вредно подумать, когда удобней прийти, — приняла на себя часть хозяйской вины Тамара, и у Бакури мелькнула мысль, а что, если эта встреча для нее не случайна?

— Бесо, а что, если нам чури открыть? — повернулся Бакури к Бесо и, чтоб Вале было понятно, перевел свой вопрос на русский и объяснил, что речь идет о вине.

— Это было б прекрасно! — засмеялась Валя и накрутила на палец кончик коротко стриженных волос.

Бесо мотнул головой и стиснул зубы.

— Может, проводим немного наших почтенных гостей? — спросил Бакури у Кинцурашвили, который не мог найти места своим ручищам, словно в этот вечер впервые почувствовал, что у него кувалды вместо рук.

— Где вы учились? — спросила Тамара.

— На философском, в университете, — ответил Бакури и подумал, что так отвечать ему надо по роли, а не отвечать ей у него права нет.

— Это было моей мечтой, — Тамара так сокрушенно покачала головой, что даже он, который вызвал ее на это признание, должен был ей поверить. — Я вообще хотела на гуманитарный...

— А попали на медицинский?

— Дома у нас все неладно как-то сложилось — мама с отцом настаивали, а уж потом мне и самой захотелось...

«Это все, чтоб мою роль покруче замесить... но ведь тот, кому это так интересно, сам все заранее знает...»

— Был же Чехов врачом.

— Ой, Бакури, вы уж слишком высоко залетели.

А Вале было жалко этого огромного, неповоротливого Виссариона, который, видно, и на своем-то языке не сразу понимал, что ему говорят, и все время молчал, словно ему язык вырвали, лишь поводя воловьими своими глазами. Чтоб облегчить его участь, она вытащила из кармана гимнастерки фотографии и, шагая с ним рядом, старалась завязать разговор:

— Это моя мама.

Бесо кивнул — это ваша мама, понятно.

— А это папа.

— Ага, ваш отец, — произнес Бесо и оглянулся испу-

ганно, наверное, когда он впервые «мама» сказал, он не был так удивлен.

— Вот брат.

— Ваш брат, — опять произнес Бесо и поглядел на Валю, недоумевая, как это она умудряется так обращаться с ним. — У меня пять братьев, — пять растопыренных пальцев он поднес к самому носу девушки так, что чуть не ткнул в голубые ее глаза.

— Пять братьев у вас? — переспросила Валя Жижина, не давая ему почувствовать, что, даже если бы он не тыкал ей в глаза пальцами, она все равно бы поняла.

— Пять, — по-русски повторил Бесо и указательным пальцем чуть не коснулся пышной груди собеседницы. — И одна сестра, вроде тебя, — вот что означал этот жест.

— Одна сестра, — быстро, как бес, сообразила Валя и показала на фотографии двух своих сестренок.

Бесо, молчавший со дня призыва, не мог сейчас надиться своей болтливости, и одеревеневшие его руки, которые были как чужие, теперь опять стали свои.

И Бакури не был теперь так отрешен, как все эти дни. «Ладно, — думал он, — пусть я только роль исполняю, но хоть роль человечья. И уж лучше гнуться, чем ломаться», — сам с собой решил он.

— Конечно, Тамара, Чехов это только один светлый случай. Но глаз наш, из какой бы дали он ни глядел, все равно тянется к свету.

Тамара искоса поглядела на две тоненькие морщинки, бороздившие лоб Бакури.

— Вы не подумайте, я не хочу спорить с вами, но мне кажется, света и тьмы, как ночи и дня, в мире поровну.

— Что я думаю, вам ни к чему знать, — уклонился Бакури и заглянул в роль — что там сказано по этому случаю?

— Почему же?

— Потому что мой ответ будет несколько односторонен и, наверное, пристрастен.

— К тьме? — улыбнулась девушка с таким выражением, будто в такой момент только она способна улыбнуться.

«Как же ты догадалась?» — чуть было не откликнулся он радостно, но спохватился, боясь показаться слишком банальным, будто играл в бездарной пьеске, и опять заглянул в роль.

— В нашем возрасте столько не думают, — сказала девушка, без восхищения, однако.

«Или она хорошо знает роль, или суфлер удачный попался», — ее ответ был приятен Бакури.

— Вы, наверное, с третьего курса? — спросил он, давая понять, что оба они слишком молоды и с ней можно говорить о возрасте.

— Ну, допустим...

«Видно, не то я прочел...»

— Бывают взрослые дети.

— Их не счесть, — подсказал Тамаре на ухо суфлер.

— И старые дети бывают, — Бакури дочитал до конца свою реплику — совсем она ему не понравилась — и, рассердясь на себя, перелистал несколько страниц кряду. — А вам не кажется иногда, что вы повторяете то, что однажды уже кто-то сказал, или на что-то глядите впервые, а кажется, это уже знакомо?

Тамара, однако, осталась на том месте, что Бакури пропустил, и оттуда смотрела на Бакури, пытаясь понять, обогнал он ее или это только обычный прием, когда хотят познакомиться.

— А вы и о том уже думали, что я только-только почувствовала.

— Тамара Георгиевна! Тамара Георгиевна! Куда вы? — окликнула Валя Жижина.

Тамара остановилась и, рассердясь на себя, оглянулась.

«Она шла по маршруту, который уже отменен», — чуть заметно улыбнулся Бакури.

— Вам лучше знать, а может, и не нужно все это знать, но, однако... я очень благодарна вашему конфузливому лейтенанту... — старательно скрывая волнение, произнесла она, когда они стали прощаться.

— Я передам ему это, — кивнул Бакури, не ставши, однако, спрашивать, будет ли у игры продолжение.

— Можете представить, мы вот здесь и живем — кокетливо пожаловалась Валя, когда они подошли к двум покосившимся баракам, прижавшимся друг к другу посреди голой степи, и, перехватив левой рукой протянутую пятерню Бесо, осторожно вложила в нее свою ладошку. Это было сделано с такой озорной улыбкой и так просто, что не только Бесо, но и Бакури от души улыбнулся.

— До свидания! — произнес Бесо свое первое русское слово и даже не удивился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

— Похоже, что-то стряслось! Сейчас разузнаем! — Бокерия хлопнул себя по бритому лбу и кинулся было бежать между нар, тянувшихся в два этажа вдоль бывшей конюшни. То, что среди ночи вызывали командиров и слышался шум заводимых моторов, показалось ему дурным знаком.

— А этот чего с места сорвался? Вообразил, что и вправду он командир? — чиркнув двумя спичками, Цинцадзе поглядел снизу вверх на Мамуку с Ношреваном, которые, свесившись с верхних сколоченных из трех досок нар, пялились на Бокерия.

— Может, все к черту летит, а я узнать не моги? — оправдывался Автандил, желая показать, что свое командирство не ставит ни в грош.

— Учебная тревога, наверное... — бросив на пол спички, обжигавшие пальцы, Ладо положил голову на вещмешок, засунутый под шинель.

— Нет, это не тревога.

— Может, немцы до нас добрались? — буркнул сонно Цинцадзе и тут же уснул, измотанный учением, длившимся весь этот день.

В темноте оба друга во все глаза пялились на него, однако не то что двинуться с места — глазом моргнуть никто из них не посмел.

Не подпоясавшись, шлепая незашнурованными башмаками, что напугало Мамуку больше, чем вызов среди ночи командиров отделений, Бокерия направился к выходу.

— Ну что я говорил... — он быстро вернулся, по-прежнему шлепая незашнурованными башмаками.

— Что случилось? — Ношреван попытался пригнать, но даже рукой не мог шевельнуть.

— Не спрашивать ни о чем! — строго предупредил командир, прямо в ботинках влезая на нары. — Собрать личные вещи, — словно холодный камень швырнул он.

Ничего не соображая, Мамука выхватил засунутые под вещмешок и противогаз письма к Текле и, уткнувшись носом в нары, прижал их к груди.

— Что случилось? — тоже с верхних нар спросил Лева Вишневецкий.

— Тебе тоже вещи собрать и приготовиться! — швырнул Автадил камнем в Леву.

— Завтра?

— Не завтра, а нынче ночью, и куда отправляют, никому не известно.

— Вот уж некстати, — упорствовал явно недовольный Лева Вишневецкий.

— Я с ума от него спячу, — объявил Бокерия, но тут снова проснулся Цинцадзе:

— Пятиться больше некуда.

— погоди, Ладо, скоро и ты камнем будешь по лбу колотить, — успокоил его командир отделения. Стоя на коленях и позвякивая котелком, фляжкой и ложкой, он в полной тьме набивал вещмешок.

— Что там? Тревога? — пробормотал с нар напротив чеченец. После того как два дня назад на учениях они валялись в грязи под проливным дождем, у него к вечеру поднималась температура и он заходил в кашле. — Худо мне, не смогу я подняться.

— А ну, живо манатки собрать!

— Горю весь... — зашелся в кашле чеченец.

— Жар твой останется тут.

— Знает начальство, кого выдвигать... — обозлился Цинцадзе на полуночный лай командира, но тут завыли сигналы тревоги, и Ладо обрушил свой гнев на них.

Колонны грузовиков, набитых невыспавшимися и обесилевшими бойцами, двинулись маршем, и Мамука неотрывно глядел сейчас на конюшню, превращенную в казарму, как, отъезжая из Тбилиси, глядел на вокзал, за которым оставался город, Текла и весь его мир.

— Наденька! Наташа! Люся! Прощайте... — Бокерия обернулся к реке и хлопнул по плечу Леву, чтоб не молчал и кричал вместе с ним.

Машина тронулась с места, и он как подкошенный свалился на доску, перекинутую поперек кузова от борта к борту.

Ладо сидел у противоположного борта, рядом с Мамукой, а по другую руку мелкой дрожью дрожал Ношреван, словно выгнали их из теплой постели не в летнюю ночь, а в лютую русскую стужу.

— Да, дали мы маху, — признался Бокерия, когда колонна набрала скорость и шуршание машин по немоще-

ной, но плотно накатанной дороге стало однообразным, — сильно ошиблись... Да и Ладо меня с толку сбил.

— Ну, а если б не сбил? — поинтересовался Цинцадзе.

— Нет, нехорошо получилось... я же сразу сказал тебе, — буркнул Вишневский.

— А что было делать? — позлорадствовал Ладо.

— Надо было смотаться к реке и на откосе выложить белой галькой «Прощайте!». А то утром выйдут, а в лагере ни души, как-то неловко вышло, ребята!

— Я же не сам мотанул: ноги в руки — и привет? — не позволил марать себя Цинцадзе.

— Получилось, конечно, нехорошо, но и я тут не виноват, — Вишневскому тоже не хотелось, чтобы его срамили.

— Может, к утру нас назад привезут, мне бы остаться... — волновался между приступами кашля чеченец, которого посадили к кабине спиной.

— Ты в шинель получше закутайся, — посоветовал отделенный, — если утром будет привал, я в санчасть тебя отведу.

— Хоть бы знать, куда едем... — обиженно пробасил сидевший против чеченца Юра Лёняков.

— Этого даже мне не сказали, — то ли всерьез, то ли в шутку сказал Автандил и обнял Вишневского за плечи. — Ах, Лева, каких девчонок мы потеряли.

«Каких же это девчонок они потеряли? — удивился Мамука. Ночная прохлада проникла за шиворот, и он застегнул гимнастерку на все пуговицы. Мамука все еще не пришел в себя и толком не знал, лежит ли он на дощатых нарах в конюшне или катит в кузове грузовика. — Сегодня же ночью напишу Текле, — улыбнулся он сам себе, — а как вернемся, расскажу сразу, каких мы девчонок потеряли сегодня, «до свиданья» сказать не успели. Узнает Текла, как эта бестия Бокерия умудрился с девчонками познакомиться, — со смеху помрет».

Целых два дня вертелся Автандил возле санчасти. Разговорился сперва с двумя перепуганными девчонками и еле вытянул, как их звать. Однако новоиспеченные фельдшерицы, до армии только и знавшие, видно, что дорогу от дома до медучилица, едва начинало смеркаться, с коннозаводского склада — ни шагу, словно на дворе их поджидал кровный враг, а не терзаемый страстью Бокерия, и тогда Автандил — куда денешься? — решил отпустить усы.

— Не лезут, хоть тресни,— жаловался он Цинцадзе, глядя в зеркало, и так решительно тер под носом, что, появившись там хоть какая растительность, он бы выдрал ее вместе с корнем,— пойдем со мной, девочки там такие, ночку с ней на камушке посидишь под луной — голыми руками Берлин возьмешь.

Цинцадзе недоверчиво покачал головой.

— Усы бы свои мне одолжил! — не отставал Бокерия.

— Боюсь, тебя носом ткнут в дерьмо лошадиное — усы перемажут.

— Это, может, ты привык ковыряться в лошадином дерьме и усы твои не растут без навоза, а меня не к навозу тянет, а к райским воротам.

— Усы мои, думаешь, вроде ключей, отпрут те ворота?

— Погоди радоваться, неделька-другая — и такие усищи попрут, не то что бабы, сам генерал позавидует.

— Тут ведь до нас конюшни были, поискал бы конского волоса — вот тебе и усы,— дал мудрый совет Цинцадзе.

Но даже великолепные черные усы Цинцадзе не могли отомкнуть те замки, на которые запиралась санчасть.

Тогда Бокерия переориентировался на машинисток и связисток, однако, вымотанный учениями и тщетной надеждой, что усы полезут на свет, командир отделения промазал опять. Причина тут крылась, может быть, в том, что Бокерия распылял силы и, зарыв золото в разных местах, метался с места на место и только под самый конец перенес весь огонь на тот берег реки, обрушив его на белеющую деревеньку.

Он выпускал снаряд за снарядом. Он свистел, кричал, размахивал руками, прыгал, бросал в воздух шапку, платок, фляжку, ложку и наконец-таки выманил из ладненьких мазанок трех девчат.

«Ты на том бережку, я на этом, а посередке бежит река-реченька», — подпевал Цинцадзе.

— Не то что реку — море ради женщины переплыву и ног не замочу! — И, поглядев на грубую свою обувь, Бокерия сиганул вниз с высокого обрыва, словно и впрямь обречен был кинуться в реку, и возле самой воды снова принялся прыгать и кувыркаться, призывая девчонок тоже спуститься к воде с высокого своего бережка, а не глазами сверху стрелять.

Девчонки подталкивали друг дружку и хихикали, не отваживаясь принять приглашение, но в конце концов он сманил их и они спустились к воде.

Ну, а дальше что? Ведь отсюда голоса не услышишь, да и не различишь их друг от дружки.

— Давайте и вы сюда! На подмогу! — звал он Цинцадзе и Ношревана с Мамукой.

Ладо счел, что лучшие люди гнутся, но не ломаются, Мамука был так поражен словами Бокерия, словно рядом с ним на этом обрыве сидела Текла, а Ношреван от смущения залился краской и отполз от края подальше. Цинцадзе, спустившись, стал рядом с Бокерия как знак восклицания, ожидая, когда Автандил приступит к знакомству, но Бокерия возвел сперва очи к небу, взывая о помощи, затем ткнул Цинцадзе в грудь так, что здорового этого малого чуть не скрючило, но, опасаясь, что на том берегу он понят не будет, Автандил, вытянув руку, выставил большой палец вверх, дабы была полная ясность: друг у него на большой.

А у Мамуки перед глазами опять была Текла, когда он приехал с нею в деревню и как на заре удрали они на рыбалку, но силы, которые, помогая Мамуке, вытолкнули Теклу из окна, Автандила не выручали. Девушки отчаянно махали руками, интересуясь, очевидно, не Цинцадзе, а кто таков сам Автандил и чего ему от них надо.

Бокерия метался по берегу, взлетая вверх по откосу и кубарем скатываясь опять, как только шею себе не свернул, но втолковать им, что он, Автандил, живьем пожираем любовным огнем, не мог.

— Меня Автандилом зовут, Авто, если ласково. Такого, как я, на всем свете не сыщете, — увещевал он их во всю глотку, поскольку с того берега цинцадзевских усов все равно было не разглядеть.

За этим занятием и застал их голубоглазый верзила Лева Вишнеvский, по пятам ходивший за Автандилом.

Вишнеvский был родом из Западной Белоруссии, и сейчас, когда на земле его хозяйничал немец, он, чтоб не изъела тоска, старался держаться поближе к Автандилу, в котором жизнь была ключом. Рядом с ним он хоть ненадолго забывал истерзанную свою Белоруссию, и жизнелюбие Автандила заражало его. Но Лева был самолюбив, взбаламученная душа его покоя не знала, он боялся казаться навязчивым и осторожно, блюдя такт и дистанцию, шел на сближение со своим отделенным. Он

начал с того, что поменялся своими верхними нарами, самолично сколоченными возле небольшого широкого окна, с рыжим москвичом Кудрявцевым, который лежал рядом с Бокерия, и теперь на кудрявцевских нарах задыхался от духоты, настоящей на солдатском поту, лошадиной моче и навозе. Устроившись на ночь под боком у Автандила, он и днем, стоило услышать шум, смех, возню, отправлялся искать Бокерия, который вечно что-то придумывал и предпринимал. Однажды Лева даже решил спросить у него совета, поскольку перед самой армией собирался влюбиться в одну девчонку и теперь размышлял: а не стоит ли ей написать?

Но даже об этом он спросил так серьезно и угрюмо, будто его заставляли спросить и в обязанности командира отделения входило давать подобные советы.

Бокерия в тот раз только мотнул головой: там теперь немец — и девчонке не до любви. И уж коли собирался влюбиться, так чего было ждать? И зачем тянуть, когда спелая груша сама просится в рот? Однако письмо написать посоветовал, хотя отправлять пока надо бы погодить.

Услышав голос своего отделенного, Лева мигом возник на берегу, и его появление придало сил Автандилу.

— На помощь, Лева, на помощь! — вопил он, словно река уносила его и оставалось только звать к другу о помощи, благо друг — отменный пловец.

— Чего ему надо? — Вишневский опустил на землю рядом с Мамукой и Ношреваном.

— Спустишь, раз зовет. Друг ты ему или нет?

Вишневский исподлобья взглянул на Цинцадзе, справляясь, как быть, словно Автандил силком его сюда притащил.

«Спускайся» — махнул рукой Ладю.

Лева съехал по откосу в прибрежный песок и поднялся, отряхивая зад.

— Срамота-то какая! — накинулся Автандил, подняв Левину руку вверх в знак приветствия и глядя в бегущую воду, шепотом велел ему полюбоваться на те три звезды, что сверкают нам издали.

Вишневский перевел взгляд на небо. Смеркалось, но до звезд еще было не скоро, и, упрямо вырвав у отделенного руку, Вишневский опять обернулся к Цинцадзе.

— Какие там еще звезды, чего ему надо?

— Ты на тот берег глянь, ему не мерещится, — посоветовал Ладю.

Обнаружив и правда созвездие на том берегу, Вишневский сразу позабыл про все свои горести и, расплывшись в улыбке, уже без подсказки своего командира, выбросил руку вверх.

На приветствие третьего, высоченного, парня девчонки, уже вовсе освоившись, сдернули с плеч косынки и помахали ребятам.

Окрыленный Бокерия кинулся к реке в надежде, что и правда вверх взмоет, но, коснувшись ногой воды, очнулся, словно лунатик.

— В толк не возьму, как тут быть? — Цинцадзе скрестил на груди руки.

— Самим мозгами шевелить надо, а не лупиться на меня, — вспыхнул Автандил, хотя Вишневский не сводил с того берега глаз.

— Ну, шевельнули, а что дальше? — не отступал Ладо.

— Делай, что говорят! — У самого края воды сухою березкой тянулся вверх Лева.

— Каждому взять по голышу!

— Он велит камнями кидаться! — сообразил Цинцадзе.

— А камни зачем? — белорус не понимал Цинцадзе.

— А головой о них биться! — пояснил Бокерия и, чтоб не думали, будто он шутит, взял два белых кругляша покрупней, поднял повыше, чтоб с того берега было видно, и поднес их к вискам, демонстрируя самоизбиение на почве любви.

Смех с того берега донесся даже сюда.

— Вот и вам надо так! — не выпуская камни из рук, но больше на свою голову не покушаясь, Автандил пошарил глазами и обнаружил Ношревана с Мамукой. — А вы что, воды в рот набрали? На этих глядеть нечего. На них ставьте крест. Цинцадзе от любви совсем с ума спятил, а эта жердь Лева засох на корню.

Обнаружив на коленях у Мамуки книгу, а на книге — листок чистой бумаги, Автандил снова воспрял и принялся лупить белыми голышами прямо в отвесную стену обрыва, после чего, снова воззвав к помощи подчиненных, стал вбивать белые камни в круто сбегавший откос.

— На помощь! — завопил он.

— Чего орешь? — Ладо с Левою подумали, что он хватанул себя камнем по пальцам.

— Давайте сюда голышей, побелее и покрупней!

Ладо с Лево́й переворошили весь берег и набрали белых как снег и крупных как груши камней.

На берегу, черном от навоза, перемешанного с конской мочой, белыми камнями, подогнанными один к одному, красовались буквы размером в Автандилов рост и ласково возвещали — Авто.

Усевшись у подножия этих гигантских букв, Автандил ударил себя в грудь кулаками, чтоб не оставалось сомнений, Авто — это он, а с того берега принесло восторженный гам и смех: ясно было — он понят, после чего, воскликнув: «Ай да Бокерия!», командир отделения вступил в переписку с Наде́й, Наташе́й и Люсе́й.

II

Мамуку совсем не занимало то, что поглощало мысли всех: куда перебрасывают поднятый среди ночи полк.

Его и печалило и огорчало другое. Там, откуда его сейчас увезли, он оставил гнездо, созданное его великим радением и тщанием, — пусть это был не двор, не дом и не сад, а всего закуток. Когда казарма погружалась в сон, он не спал и втайне от всех воздвигал это убежище. Возводить его он начал сразу, едва ткнулся в угол конюшни... Вернее, когда Бокерия уступил им, Мамуке с Ношреваном, уголок, поначалу облюбованный для себя.

— Им тут будет повеселей! — порешил Автандил сам с собой. — А то в этой казарме — конца-краю ей не видать — сгнуться им, как ягнятам без матки.

— Вот вам гвозди и доски. Шуруйте!

Ардадзе не знал, каким концом вбивать гвоздь, Амаглобели, может, что-то и смыслил, но стоило им вогнуть здоровенные эти гвозди в сырые березовые тесины, как доски лопнули с треском и сооружение нар легло на плечи Цинцадзе.

В тот же вечер наверху у Мамуки уже был свой закуток. Камни тут голо выпирали из стен и были отполированы крупным холеным конем, который чесал о них шею. Мамука улегся, отвернувшись к стене в темноту, но конь, когда-то тут обитавший, оставил в стойле резкий и терпкий запах жеребьячьего пота и тоски по кобыле, и, встав на дыбы, жеребец ночь напролет лягал Мамуку копытом, а Ношревана, вытянувшегося на нижних парах, душил смрадом мочи и навоза.

Буланый долго не подпускал незадачливых всадников, один из них примостился под животом, а другой норовил вскарабкаться ему на спину; но куда было деться двум бедолагам и скакуну — ветер, сквозивший из распахнутых настежь дверей, и дежурные, которые мели тут и чистили, гнали его из казармы на волю. Постепенно резкий запах жеребьячьего пота, мочи и навоза смешался с запахом пота и соли, исходившим от измочаленных учением ребят, покрывавших в день десятки километров. Жеребьячий дух стойко держался, но, приняхавшись, можно было угадать в закутке запах двух совсем зеленых юнцов.

Мамука не сразу, но все же устроил «лачугу» на спине жеребца: точь-в-точь комната Теклы; и еще это было похоже на переднюю комнату в Парновой оде, в Гулзоди. Когда, рухнув на нары без сил, Мамука поворачивался к стене, подоткнув под спину шинель, — в казарменной духоте она жгла спину как угли, — он обретал родной угол. Казарма была за шинелью. Шинель была та глухая стена, за которой жили соседи Теклы, а в изголовье трех сбитых досок поднималась другая стена с окном, выходившим на мощеную узкую улочку. В углу от окна справа стоял круглый стол, на нем две стопки книг и карты, в которые Текла с Мамукой сыграли на поцелуй, когда приехали из деревни. В ногах, где стояли ботинки, он вдвинул шкаф с ее платьями и бельем, висело в шкафу то самое платье — сиреневое с вырезом и в крупный белый горох, которое было на Текле, когда они познакомились, и еще зеленое в белых ромашках, в котором она была там, на острове, между черной и голубой рекой.

Он упирался лбом в стену, и конские волосы, прилипшие к просалившимся камням, забирались ему в нос, и было щекотно. Но все же он втиснул сюда и кровать Теклы, и камин, и другой стол, квадратный, заваленный книгами и тетрадами. Место нашлось и старому креслу с осевшими пружинами, и даже стульям с балясинками, которые были у них в деревне.

Господи, как кляла его Текла, когда он уехал, сбежал, изменил... ни сердца, ни совести. Заладит — не остановишь... Чего натворил? До вокзала бы хоть проводила... Что, боялся, за поездом побегу? По пятам буду гнаться? А чего ревновать. Но она ревновала Мамуку — то без всяких причин, то как умудренная жизнью зрелая женщина — и считала денечки на тоненьких пальцах: первый день миновал, второй, третий, четвертый...

Бывает, зайдет сюда Элпитэ и даже Мамукина бабушка Марта, от морщин лицо у нее словно в мелкую клеточку. Порой Парна заглянет, но Парна садился лишь на свой стул с балясинками, а случилось, он сажал рядом дядю Луку. Здесь навзрыд плакала мама, не улыбочливое лицо мамы потемнело от горя, стало вовсе сурово и хмуро. Однажды Мамука застал тут Теклину мать, приехала из Абастумани, под глазами лежит синева. А в другой раз явилась, высоко неся голову, тетя Ивлити — ни Леону, ни Бакури, ни Ватути не давала она вешать нос и терять присутствие духа.

Здесь читали стихи и свои, и чужие. Вся компания здесь умещалась, да еще друзей сколько и просто знакомых, Ношреван иной раз с нижних нар взберется к Мамуке, и тогда они вместе познакомили Теклу с Бокерия и с Цинцадзе, с Вишневым и Винокуровым, с чеченцем Нурадильей и с туркменом Нариманом Бердиевым, и с азербайджанцем «Давай-давай», который выучил еще одно русское слово: «Поехали!»

Станным было лишь то, что по этому дому постоянно носился необъезженный жеребец. Совсем это было некстати, но душою Мамука был так далеко от казарменной жизни, что не гоняй по его обиталищу неоседланный жеребец, он бы здешнюю жизнь и во сне не видал. Не видал бы, ибо где бы он ни был: в конюшне, на нарах, в своем закутке, во дворе, у реки, в березовой роще или глубоком окопе, — он был неразлучен со всем тем, для чего был рожден и что было им брошено. Но порой Бокерия, Цинцадзе, комвзвода Винокуров или кто-нибудь из других командиров или своих же ребят, а может, саперная лопата с коротеньким черенком, винтовка, или котелок с горячей едой (почему еда была в котелке, а не в миске или в глубокой тарелке, он так и не понял), или что-то еще, к чему он не привык, заставляло его оглядеться кругом, чтобы увидеть, очнувшись, где он находится, и тогда из своей глубокой дали он угадывал эту зыбкую явь.

Вот и сейчас, втиснутый между ребятами в кузов грузовика, он опять возводил четыре стены своего обиталища и всю ту страну, которой восемнадцать лет была для него деревня Гулзоди, потом год целый — Тбилиси, три недели — конюшня, и теперь в этом трясущемся кузове он опять собирался сколотить ту лачугу для себя и для Теклы.

А набитые бойцами машины шли своею дорогой, и если кто-то болтал, волновался, смеялся, и если вообще что-нибудь совершалось, то совершалось где-то за стенами и доносилось все до него, как доносятся до человека, уютно притихшего в родной комнатенке, голоса соседей и близких, неровный шум города и отзвуки той смутной жизни.

III

На рассвете под визг тормозов и крики команд Мамуке привиделось, будто они пришли туда, где на белой вокзальной стене голубел ящик, припорошенный пылью шинельного цвета. Эту голубую точку он помнил всегда, как тот огромный замшелый камень, на котором любила сидеть Текла, или сизый песок на их островке, когда Текла лежала на нем.

Когда он спрыгнул с грузовика и явь обрела плоть, он тут же направился к этой точке, как идет на свиданье.

Тот же эшелон, который привез их сюда, стоял на путях, и при виде родного состава его сердце радостно заколотилось, потому что по душевной теплушке он соскучился так же, как по всему, от чего унесли его эти вагоны.

Три недели, прожитые в лачуге, возведенной воображением, пробудили в нем инстинкт поиска крова. Он уже навострился выгораживать себе клочок жилья в этом мире, битком набитом людьми, и едва раздалась команда «по вагонам», как он бросился в свой уголок, чтоб никто не успел его захватить.

Волоча вещмешок, он стремглав пересек ползком пространство теплушки, только колотилась об пол лопата, и бросился в тот самый угол, который приютил его, когда ехали сюда. Он вполз и затих, смежив веки, совершенно счастливый. Этот поезд сегодня или завтра, а может быть, послезавтра, но именно этот поезд привезет его туда, откуда он был вырван.

Дороги и машины, двор и конюшня сменяли друг друга, как менялись и командиры: первый с рук на руки сдал их второму, второй — третьему, и ответственность за них всех тоже перескакивала с первого на второго, со второго на третьего. И кто теперь будет отвечать за Мамуку — неизвестно, а вот поезд какой был, такой и остался.

Прошел ровно год, как Мамука покинул деревню, поезд унес его от мамы и отца, через недельку обещал привезти обратно в Гулзоди, к маленькой станции, но везет с тех пор и везет... Не сосчитать, сколько дней прошло, неделями и месяцами измерять теперь надо его опозданье.

Первые семь дней пришлось очень туго, он рвался из города, но надо было сдать все экзамены, чтобы после не начать все сначала, опять пережив прощание с домом. Остался еще на неделю, а далеко на путях гудок паровоза звал с собой: «Пора ехать, я обещал, что верну тебя им». Ему не терпелось обратно в дорогу, да и с тетей Ивлити было ему нелегко — горда, холодна, нетерпима.

А тут началось.

Он наткнулся на Теклу в университетском саду, на скамейке у края обрыва. Огромными своими глазами она неотрывно смотрела на вольеры и клетки раскинувшегося внизу зоопарка. На коленях — книга, а сама в сиреновом платье в белый горох с большим вырезом. Он подумал тогда: она смотрит — и не видит кругом ничего.

— Пришел? — спросила Текла, не обернувшись, и вздохнула.

А он как раз думал о том, как на поезде приедет домой и мама, не отрываясь от дел, но очень серьезно бросит:

— Пришел наконец-то?

— Пришел, — ответил бы ей Мамука и сел бы рядом с мамой на топчан, на котором лежал набитый сеном тюфяк и сверху старый ковер.

Со двора прибежала бы черная псина и заскулила бы под дверями, потому что никому до нее дела нет...

Внизу под обрывом мычало, рычало, тьявало и скулило зверье.

Мамука опустил на пыльную траву, а может быть, она ему показалась пыльной в сравнении с зеленью их деревенских лугов.

Текла испугалась, увидев его, и отодвинулась, не понимаясь, однако. Ей показалось, что она уже видела этого парня, и она притихла, не зная, помнит его или нет.

Мамука улыбнулся ей, как улыбаются матери, и это было так ей знакомо, что и она улыбнулась, но не ему, а этой родной улыбке.

— Это ты... — проговорила она.

— Я?! — растерялся Мамука, ибо он забрел сюда со-

вершено случайно, а совсем не к этой глазастой девочке.

— Почему ты пришел сюда?

— Нет, — откликнулся он. — Я не шел сюда...

— Ты куда сдаешь? — отлегло у Теклы от сердца, ее мысли витали совсем не здесь.

— Я?! Что сдаю?

— Экзамены. Экзамены куда сдаешь, — повысила она голос, ее собеседник тоже где-то витал и надо б его вернуть на землю.

— Да туда!.. — и Мамука большим пальцем через плечо показал на белое здание за купами деревьев.

— Это я понимаю. А на какой факультет?

— На факультет?

— Ну да. Не на филологический? На днях я, по-моему, видела вас... Наверное, здесь.

Мамука кивнул, подтверждая не то, что она его видела здесь, а что он поступал на филологический.

Если бы все мы, доверясь сердечному зову, лукаво не мудрствуя, не ломаясь в открытые двери, шли прямо навстречу друг другу, когда спросят нас: «Ты пришел?», да еще облегченно вздохнут, мы были б счастливы.

Потом эта девочка заполнила собой все, от чего умчал его поезд, протяжно кричавший на вокзале и зовущий обратно домой. Если б пришлось выбирать между Теклой и всем, что прожил Мамука с того дня, как увидал белый свет, и до того дня, как увидел Теклу, то перевесила бы чаша Теклы. Перевесила бы, потому что эта девочка вобрала в себя все, что звалось Мамукой, и даже мама с отцом не могли бы ее заменить.

Но спустя год поезд вернул Мамуку к тому, с чем его разлучил.

Эшелон тронулся...

На самом деле поезд вовсе не разлучал его с родным домом, а еще больше приблизил к нему, потому что вернул его в дом вместе с Теклой. Он привез ее туда, где и положено ей было быть, и назначил всему его настоящую цену — всему, что еще не открылось сознанию и казалось обычным, что еще не означено было, не названо, — и трава, и даже вонючая тина обрели имя и место в его сознание.

Болото и тину он помнил с детства, но что между Черной и Голубой рекой лежит остров, Мамука забыл или даже не знал, а приехала девочка и узкую сизую мель обратила в мир, необъятный, как материк.

Поезд мчался, и по каким бы путям его ни носило и куда б ни несло, все равно, не сегодня, так завтра, а может быть, послезавтра, он непременно доставит его в Гулзоди, как в прошлом году, когда поезд увез его, а потом обратно привез переполненным через край. Его душе всего было вдосталь. Но ведь и тогда было вдосталь, когда он в первый раз уехал от мамы. Откуда ему было знать, какой клад ему отворится. А сейчас, может быть, этот клад разрастется... Может быть, он пополнится болью, видно, боли ему не хватает, а ведь ей надо быть.

«Может быть, все для этого, Текла? Лишь для этого, Текла? И больше ни для чего?»

Кидаясь из стороны в сторону, состав выписывал на рельсах свой долгий, неведомый, как судьба, путь.

IV

— Погоди! — взвизгнул Бокерия, когда сквозь рев самолетов за стенкой вагона прорвался оглушительный грохот и по стене, обрушившись разом, забарабанили то ли камни, то ли ссохшиеся комья земли.

Землю встряхнуло, теплушку швырнуло вверх, вскрикнул паровоз, завопил отделенный, и Мамука почувствовал, как его подбросило к самому потолку той лачуги, которую уже возвело его воображение, и выбросило из-под ее крова.

— Спокойно, товарищи! — где-то у входа в теплушку приказал Винокуров, и это походило на совет себе самому.

Откуда-то приполз Ношреван. То ли взрывной волной, то ли собственным оглушающим страхом его перебросило через двух сонных красноармейцев и привалило к Мамукиной спине.

В другом конце душевой теплушки, притаившейся от страха, что, может, опять гроыхнет, отmaterились так зычно и смачно, что забившийся в угол Мамука залился краской.

Кто-то больно ударился то ли об пол, то ли о стенку и теперь костерил немчуру вместе с бомбой — ведь он мог в эшелон угодить.

— Он что, этот сукин сын, совсем с ума спятил? — недоумевал дажемышленный Бокерия.

— Как есть спятил! — подтвердил Цинцадзе.

— Копой оглы! — рывкнул «Давай-давай».

— Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, а он нас разыскал? — дивился отделенный. — Что же днем будет?

— Без паники, Бокерия, без паники! — опять сам себе дал совет младший лейтенант.

— Ты не мне говори, а тому, кто бомбы кидал, — парировал замечание комвзвода командир отделения, не пожелав признать свою вину.

— Твоя правда! — согласился Винокуров, словно уверившись, что не Бокерия, ясно, бомбу бросал.

Далекое жужжание опять стало ближе, и опять неожиданно взревели над эшелоном самолеты, словно в воздух они взмыли прямо тут, из-за леса. Их колеса, казалось, коснутся сейчас крыши теплушки, и по обе стороны от нее один за другим прогрохотали два слепящих и оглушительных взрыва.

Чудом уцелевший паровоз вскрикнул с таким отчаянием, словно бомба угодила ему прямо в котел и он испугался, что не успеть ему вскрикнуть.

— Прикончит он нас! — у отделенного сел голос.

— Худо мне! — простонал метавшийся в жару чеченец. — Воды!

— А нам еще хуже, ты хоть можешь думать, что все с жару мерещится, — позавидовал Бокерия измученному Нурадилле.

— Значит, все это правда? — в полузабытьи проговорил Мамука, высвобождаясь от пальцев Ношревана, больно вкогтившихся ему в плечо.

Отматерился, похуже, скромница Кудрявцев, потому что Мамука не покраснел.

Зато зычный бас в переднем углу теплушки выпустил на тех, кто несчастье наслал, такую уверенную очередь, что добавить к ней было нечего, и даже Бокерия смолк от радости, что злодей получил по заслугам. Жужжание самолетов опять стало отчетливей, и Мамука с такой силой вжал ладони в уши, что, когда взрыв смолк, ему показалось, уши расплющились в лаваш.

А в следующий миг он так же безжалостно впился в спину Ардадзе, безуспешно пытавшегося вырваться из цепких объятий друга.

— Чего ему надо от нас? — голос у Мамуки совсем сел, но за стуком громко колотившихся от страха сердец, среди криков и грохота эшелона, никто из ребят его не услышал.

— Карпионов, будь человеком, еще раз пропиши им как надо! — попросил Бокерия. — А я от Боженко не отвязжусь — пусть представляет тебя к наивысшей награде.

— Давай-давай! — присоединился йолдаш.

Материться по заказу Карпионов не умел, и, чтобы не промазать в противника, который носился сейчас в поднебесье, он предпочел промолчать.

— Где же его отделенный? — возмутился Бокерия. — Глебов, команду дай, а то немец опять над нами вьется.

— Карпионов, огонь! — вскинув голову, выкрикнул, как приказ, Глебов, вжавшийся в стену теплушки всем своим тучным телом.

Карпионов хранил молчание.

— Это что же, с двух очередей весь боезапас вышел? — удивился Бокерия. — Смотри у меня, Глебов, командующему доложу, тут изменой пахнет.

Даже в такой заварухе кто-то сумел засмеяться.

— Вот он, снова пожаловал, не ответим — всех перебьет, чтоб ему сгинуть! — И Автандил упал носом на пол между двух ребят, словно полз по траншее.

Самолеты пронеслись вдоль эшелона, взрывов, однако, не последовало.

— Нечего лезть к Карпионову, он боезапас бережет! — оправдал Бокерия «изменника» и опять сел. — А этот чего орет? — вскинулся он теперь на паровоз. — Он что, немцу сигналит, куда бомбы кидать, или считает, от его верещанья немчура над ним сжалится?

— Разжалобить хочет! — разъяснил обстановку Цинцадзе.

— Объявляет тревогу! — доложил сам себе Винокуров.

— А на кой черт мне его объявление, когда бомбы орешками сыплются? Глаза-то и уши при мне, — обозлился Автандил.

— Воды! — простонал чеченец.

— Эй вы там, дайте попить человеку! — приказал отделенный. — Думал, отведу его утром в санбат и на сестриц погляжу, а теперь — что там твой жар... ладно, если к утру меня вместе с ним туда не отправят, и растянусь тогда на коленях у этих красавиц.

— Тебе, главное, до коленок добраться, а там не пропадешь! — утешил его Ладо.

— Про девушек лучше не надо! — вздохнул Вишневский.

Снова стал приближаться гул самолета, он шел за поездом, как привязанный.

— Карпионов! Он на макушку нам сел, пошевеливайся! — крикнул отделенный, врезавшись носом между соседей после того, как опять, разодрав с воем воздух, невдалеке стали взрываться бомбы и вагон чуть не сбросило с рельсов. Стоило жужжанию на мгновение стихнуть, Бокерия определил наконец участь молчавшего Карпионова:

— Винокуров! В полевой суд его!

— Предадим!

— А командиру отделения — предупреждение!

— Это уже второе будет, первое комполка дал! — напомнил командирам Цинцадзе.

— Тут еще Кудрявцев отмалчивается! — вспомнил Бокерия деликатный мат москвича.

— Он понимает, что с его мелкокалиберкой соваться нечего! — объяснил Ладо молчание москвича.

— Лучше уж так, чем вообще ничего. Срам, да и только!

— Чего уж там лучше! — не согласился Кудрявцев. — Зенитки молчат, куда уж мне с дробовиком?

— Он прав, чего лезть к человеку? — вступился за Кудрявцева Цинцадзе.

— Тогда хоть ты языком шевельни! — перекинулся на Цинцадзе Бокерия. — Ты же, черт побери, кахетинец!

— Пока выдам как надо да на русский переведу, не то что самолет, меня арба перегонит.

Снова закричал паровоз, объявляя тревогу, на эшелон обрушился гул самолетов, и когда, раздирая небо и землю, загрохотали взрывы, в действие вступила, не удержавшись, тяжелая артиллерия Карпионова, а за ней малокалиберка Кудрявцева, и, чтобы не тратить время на перевод и не дать себя втоптать в землю, крепко отматерился по-грузински Цинцадзе.

У

На рассвете, еще вздрагивая от страха, эшелон остановился в укромном месте у западного края леса.

— Куда это нас приволокли? — рывкнул Леняков Винокурову. Стоя в дверях теплушки, Винокуров собирался прыгнуть на землю.

Комвзвода удивленно вылупился на него и выпрыгнул из теплушки.

— Саша! — отозвался Бокерия, поднимаясь с пола и отряхиваясь. — Ты не слыхал, Винокуров не у штабных ночевал?

— Почему мне знать, где он там ночевал? Раз командир — все должен знать, — проговорил Леняков, представляя винтовку к стене. — Всю ночь мне ребра считала.

— Если мешает — ей живо хозяин найдется! Половина ребят без оружия.

— Думаешь, будет пулю в пулю садить?

— Верно! — подтвердил Цинцадзе. — Что винтовка эта в руках, что кол... все одно.

— Да хоть в рукопашной сгодится, на ней штык другого ружья стоит!..

— Если немец тебя на расстояние штыка подпустит, тогда о чем говорить, — уступил Ладю.

— Выгружайсь! — закричали снаружи, и по гравию насыпи затопало множество бегущих сапог. — Всем вниз! Быстро всем вниз!

Прибежал запыхавшийся Винокуров, за ним политрук Сапожников, притаился неповоротливый комбат Хвастунов. Нехотя и неуклюже из тронувшегося поезда вываливались на землю ребята.

Мамука скатился с насыпи вместе с вещмешком, скаткой и противогазом и, лишь ощутив траву под собой, собрав силы, поднялся.

С трудом собрав отделение, Бокерия хотел уже командовать строиться, как раздалась команда — в лес через насыпь! — и, перескакивая через колею, ребята едва успели скрыться в ельнике, как кошмаром минувшей ночи опять навалился знакомый гул самолетов.

Визгливо вскрикнул паровоз, скорей всего от беспомощности, он бежал по кромке густого леса, а свернуть и спрятаться в чаще не мог.

— Ложись! — стоя во весь рост, крикнул Бокерия, когда над их головами пронеслись самолеты, спикировав на состав, как черные хищные птицы на выгнанного в поле зайца.

— Швах его дело! — посочувствовал поезду Автандил. Приподняв над землей голову, он подполз к дереву, прислонился спиной к смолистой коре и положил ружье на колени.

— Зачем только нас в этот лес привезли? — поинтересовался опять Лентяков.

— Лесу спасибо скажи, что сукин сын немчура кукушкой пролетел над твоей головой, а то б он тебе показал, куда нас привезли.

— Да с его-то ружьем он бы пальнул раз — и нет сукина сына, — успокоил Ладо отделенного.

— Тоже мне ружье! — буркнул Саша и, словно обломившийся черенок от лопаты, швырнул оружие под высокую ель.

— Тогда этим ребятам о чем говорить? — Бокерия поглядел на Мамуку с Ношреваном, распластавшихся по земле, отыскал глазами больного чеченца и рыжего Богомолова, навзничь свалившегося у края опушки и безмолвно уставившегося добрыми своими глазами прямо туда, где успел разглядеть в верхушках деревьев немецкую свастику.

Из чащи донесся резкий голос Боженко, ему будто сдавленным стоном откликнулся Хвастунов.

К полудню они успели добраться до другого края леса.

Ремень у винтовки — Ладо, как сползший хомут, тащил ее на груди — лопнул, и теперь он нес ее на плече, как дубину. Богомоллов своего оружия не имел и нес винтовку угреватого Юдина в надежде на то, что, если появится противник, на его долю тоже достанется расстрелять горсть патронов, и право на это он старался заслужить исправным ношением оружия в очередь с Юдиным.

В здешнем бору не было тех непролазных чащоб, какими помнил Мамука колючие заросли облепихи и ежевики в их грабовом лесу возле деревни. Да и что вспоминать — перед глазами стояло, как вспорхнет из-за белоуса осмотрительный дрозд, рассыплется трескотней, а разглядеть его в высокой зелени, обступившей тебя живою стеной, и не думай.

Сквозь верхушки деревьев здесь видно было небо, а попадался низкий ельничек или юные рощицы, где береза, сосна и осина разом вырвались из земли, то сквозь них можно было пройти, не зацепившись ни разу. Валежник и хворост не засоряли дорог и тропинок. Наверняка рядом были деревни, и весь сухостой и валежник шел на дрова. Вокруг изредка попадавшихся свежеспеленных шей не

оставалось даже мелкого хвороста — лес не мешал уставшим бойцам свободно идти сквозь него.

На опушке они передохнули, хоть и так не бежали, а передвигались неспешно. Командиры не торопились, сберегая, видимо, силы для ночи, когда лес больше не будет их укрывать и они выйдут в открытое поле, где рожь по пояс и каждого видно, а вокруг, куда ни глянь, нет и тени укрытия, а в исполосованном тучами небе глухо зудят самолеты, словно пчела, которая осталась за летковой задвижкой и лазейку никак не найдет, но и от улья родного не может уйти. Однако после минувшей ночи в отделении у Бокерия в голову б никому не пришло, что в этом зуденье есть хоть какая опасность.

К полудню то ли пчела отыскала лаз, то ли открыли леток, но жужжание прекратилось. Заслышав карканье ворон и тревожный гомон вспугнутых птиц, с опушки леса поднялось и, пригнувшись, гуськом перебежало в рожь одно отделение, взявши направление на северо-запад, где вдали чернел другой лес.

Едва это отделение скрылось из виду, как следом поднялись два других отделения и, сохраняя между собою дистанцию в добрый участок вытоптанной ржи, погнались вдогонку ушедшим.

— Хоть бы придумал что-нибудь с этой окаянной винтовкой! — попенял Бокерия Цинцадзе, вернувшись к своему отделению и уже понимая, что наступает их черед вставать и бежать.

— Будь в штанах у меня хоть тесемка какая, я бы живо ее приладил к ружью.

— Раньше надо было подумать! — отделенный явно был недоволен бесхозяйственностью подчиненного.

— Я у тебя что, в директорах кожзавода ходил, — огрызнулся Ладо, — или мне в конском дерьме ремень откопать и уздечку?

— У Ленякова вон и ремень, и штык имеется, а что толку? — Бокерия попытался отделаться шуткой, понимая, что тот, кто прислал им винтовку, должен был позаботиться и о ремне, но на шутку никто не откликнулся.

— А мне что, размахивать прикажешь этим ремнем, чтобы немца достать? — разозлился Леняков, словно Бокерия отобрал у него снайперскую винтовку, а взамен выдал учебное ружьишко со стертой нарезкой, выплевывавшее пули, словно мокроту.

— Неужели на передовую? — Богомолу не поверилось, что с этой винтовкой — у них с Юдиным на двоих — их близко подпустят к противнику, который вооружен до зубов.

— Это когда же мы доберемся до места? — те же сомнения грызли Бокерия, и, не произнеси он этих слов вслух, сомнения его бы совсем доконали.

— Эй, Бокерия, ты куда? — выкатив глаза, закричал Винокуров, распрямляясь во весь свой рост среди пригнувшихся и трусивших сквозь рожь ребят, когда отделение Автандила, до того следовавшее по вытоптанной тропке, вдруг вслед за Бокерия стало сворачивать в сторону нетронутой ржи.

Отделенный махнул рукой — иди куда шел, не останавливайся.

— И правда, куда его понесло? — проговорил Леняков.

Оттого, что бежал он пригнувшись, винтовка сползла у него с плеча, повисла на локте и волоклась прикладом по земле.

— Ступай, куда велено! — не оглянувшись, бросил отделенный и, словно ища верной смерти, стал забирать в сторону от той спасительной зелени леса, куда они направлялись сначала.

— Куда это мы поскакали? — усомнился и Цинцадзе.

— Тряхни ушами получше! — посоветовал ему командир, продолжая следовать по собственному маршруту.

Ладо распрямился и прислушался. Рядом бежал Мамука, позади них — Бердиев, впереди — Вишневский. В шелесте девственно спелой, доходящей до колен ржи и в топоте бегущих ног он, разумеется, ничего расслышать не мог.

Вскоре отделение и вовсе отбилась от взвода, идущего напрямиком через поле. Ребята обливались потом, и сердце, казалось, застряло в глотке.

— Погодите! — просипел Богомолу и замер, тупо уставившись в небо. Сзади на него налетел Юдин.

— Бегом! — приказал Бокерия, и Богомолу, споткнувшись, побежал вслед за обогнавшим его Юдиным, поравнялся с ним и на ходу перехватил у него винтовку.

Теперь уже и Ладо различил усталое жужжание пчелы, оставшейся за стенками улья.

Леняков кулаком обтер пот, заливавший глаза:

— Мы ж уходим от леса!

— Взяли б напрямик сразу, может, успели б укрыться... — У Кудрявцева закралось подозрение.

Автандил не стал отвечать. Только ускорил шаг, словно отбегая от идущего напрямик отделения.

Пчела обернулась уже жуком-дровосеком, а укрытие отбегало все дальше и дальше.

— Автандил! — нагнал отделенного Вишневецкий, но тот, не изменяя кривого маршрута, отмахнулся, как от назойливой мухи.

И когда им казалось, что далекое жужжание уже унеслось где-то поверх истлевающих облаков, вдруг прямо на них спикировал самолет, с таким гулом, какого они даже этой ночью не слышали, и, обрушив на них грохот мотора в тысячу лошадиных сил, машина повисла над открытым, как ладонь, полем так низко, что можно было различить кресты на ее крыльях.

— Разбегайся! — рявкнул отделенный.

Словно испугнутый фазаний выводок, отделение бросилось по ржи врассыпную.

— Ложись! — прокричал командир, ткнувшись носом в землю.

Чудовищно разбухшая пчела шла над ними, как пастух, пересчитывающий отару, и кружилась, проверяя, какое богатство в ее распоряжении.

Рассчитав, где всего больше можно выпустить крови, она пронеслась над приближающимся к лесу винокуровским взводом, описала круг над плотно сгрудившимися скоплениями людей и пустила пулеметную очередь.

Это звонкое стрекотанье пронеслось над новобранцами громовыми раскатами.

Ногтями вгрызаясь в землю, Ношреван выдирает ее горстями. Мамука зарывался носом в самые корни ржи, и, когда он поднял голову, рот и ободранный нос были забиты землей.

Снизу тоже раздался ружейный треск, но как ястреба не тревожит квохтанье клуши, так этот крылатый бандит, не обращая внимания на пальбу, еще чаще пошел косить с высоты, словно удивляясь, кто тут еще шумит и шевелится. И, оглоушив людей, распластавшихся по земле, он пикировал все ниже и ниже, стрекоча и прошивая пулями сухую и рыхлую землю, из которой, как по струнке, вихрем взвивались фонтанчики пыли.

— О чем только думает этот мерзавец, так и в людей угодишь! — заорал отделенный, когда, простегав поле

ржи, самолет сделал вираж для разворота, позволив Бокерия поднять голову.

— Распереживается бедняга — глаз не сомкнет! — посочувствовал немцу Ладо.

— Совесть совсем потерял! — заключил Автандил, когда разгулявшийся этот разбойник, как полновластный хозяин, неторопливо и аккурратно описал круг, словно эту украинскую землю венчал купол германского неба.

— Видно, это разведчик либо «охотник» и, кроме пулемета, у него ничего, а был бы бомбардировщик, он бы вам такое кино показал! — разъяснил чуть поодаль прилипший к земле Богомолов и, стащив со спины скатку, прикрыл ею голову.

— Пульнуть бы в поганого! — вызвался отделенный, когда стихло над головой пулеметное стрекотанье и самолету надо было опять развернуться, чтобы простегать новый ряд.

— Мою винтовку возьми, раз с одного выстрела считаешь достать! — съехидничал Леняков.

— А что, пока мы с дивизией соединимся и ему как надо ответим, он над нами еще погуляет.

— Знал бы, конечно, не стал бы летать тут, — вступился за гостя Цинцадзе.

Самолет еще не покинул захваченный им небосвод, а растянувшийся на земле Бердыев уже вырыл окопчик на двоих и из нарытой земли соорудил в головах бруствер.

— Ну, а теперь чеши напрямик! — отделенный вскочил и окинул всех взглядом. — Не кто как, вперевалочку, а бегом во всю прыть! — и Бокерия задал такого стрекача, что перепуганные новобранцы понеслись за ним, как цыплята.

Добежав до леса, они обнаружили под косогором село.

— Это он возле самой деревни палил? — вырвалось у запыхавшегося Мамуки.

— И не говори, чтоб черти его унесли! — тяжело дыша, подтвердил на бегу удивленный не меньше Мамуки командир отделения и припустил еще быстрее. — А ну, ребята, как бы он не вернулся, притащит с собою другого головореза, тогда ладно нас, он и детишек не пожалует! — Автандил почувствовал, что, кляня противника, хватил через край, и смолк, опасаясь насмешки Ладо.

— В деревне, видать, никого! — промолвил Цинцадзе, словно очищая совесть противника, вьющегося в небесах.

Шмыгнув под деревья, они повалились на землю, словно с победой вернулись домой.

— Пронесло! — икнул, истекая потом, Ношреван.

— Над нами пронесло, а поди знай, что он там натворил, — горестно покачал головой отделенный.

Немного погодя к ним подошел Винокуров и с ним небольшого росточка ротный политрук Таранов. Круглое и белое лицо Таранова было усыпано веснушками цвета ржи, и всякого, кто смотрел на него, удивляло, как у этого тщедушного человечка тугие румяные щеки только что не лопались, словно у всей роты только и забот было, чтобы это лицо наливалось и спело, или еще могло показаться, что к этому хлипкому тельцу чужую приставили голову. То ли Таранов и сам удивлялся такой несурaziце, что неизменно располагало его к веселью, то ли что-то еще делалось с ним, но только, перед тем как рассердиться, он хоть раз непременно успевал улыбнуться.

Таранов и сейчас улыбался при виде вконец измочаленного Бокерия, который попытался подняться, но, видно решив, что нечего разводить церемонии, когда чуть не перебили их всех, отдал честь, не вставая с колен.

Автандил не представлял даже, что улыбка Таранова никакого касательства к его настроению не имела, и хорошо, что политруку было не до устава, тем не менее Таранов заставил отделенного встать и от имени комроты и от своего лично имени объявил ему благодарность за проявленную при выполнении боевого задания находчивость и распорядительность. Не только ребята, но и сам Бокерия еще долго не могли взять в толк, почему после обычной своей улыбки Таранов разговаривал с ними насупившись, а ржаные веснушки на его лице все больше темнели, пока не стали почти лиловыми. И, стоя навзятяжку, отделенный думал сейчас о том, что как первая улыбка политрука вовсе не была улыбкой, так и благодарность его, может быть, вовсе не благодарность.

Наконец политрук скрылся в чаще леса.

— А я, как ты взял влево, поначалу все тебя к себе звал, — завел, словно оправдываясь, Винокуров. — Боженко-то, оказывается, из лесу за нами следил. Хвастунов говорит, он на меня показал, зачем, мол, я мешаю бойцу самостоятельно думать и действовать. Мне-то откуда знать было? — пожал плечами младший лейтенант.

— Бокерия, думаешь, знал? — соткровенничал Цинцадзе.

— Противник твоих ребят не заметил, да и мы не цель для него, когда нас на целое отделение меньше стало. В четвертом отделении четверых ранило, одного — очень тяжело...

— А я о чем говорил! — воскликнул отличившийся в бою отделенный.

— Говорил, говорил! — подтвердил со скрытым смешком Богомолов.

— Ему все загодя известно! — поддержал Богомолова Цинцадзе.

Ношреван рассмеялся явно не к месту, и Мамука обернулся, недоумевая, чего тут еще веселиться, когда кого-то ранило тяжело. Не свихнулся ли часом друг... Бедняга Ардадзе мигом проникся смертной печалью.

— Я ж говорил, у них что-то стряслось! — вспыхнул Автандил.

— Выходит, ты не только свое отделение выручил, а весь взвод... Так получается? — воззрился Винокуров на Бокерия.

— Какое там взвод, он, считай, роту спас... — поддержал Цинцадзе в надежде, что его командира смутит наконец такое количество личных заслуг.

— Нет, совсем не о том речь, Володя, — попытался сам себе растолковать суть дела комвзвода и повернулся, чтобы идти.

— Аркадий, погоди... а с этим как там? — крикнул вдогонку Мамука.

Винокуров обернулся и удивленно воззрился на Амаглобели.

— Ты о ком? — опередив комвзвода, спросил Бокерия.

— Да о раненом... — удивился Мамука, будто сейчас можно было интересоваться чем-то еще.

— Не знаю... Надо в санчасть... Там знают...

При слове «санчасть» Бокерия наострил уши и глаза у него зашныряли.

— Нурадилла!

Чеченец высунул голову из ельничка, в аршин высотой, и доложил:

— Нурадилла здесь, Бокерия!

— Пошли в санчасть! — бросился к нему Автандил.

— Зачем, командир? — поразился чеченец, будто не он еще час назад метался в жару, да и в жизни своей не знал даже насморка.

Авандил обеими руками обхватил его лоб, словно проверяя на спелость арбуз.

— Свихнусь я, браток, от тебя!

— А чего, не дозрел еще? — живо полюбопытствовал Цинцадзе.

— Температура у него теперь ниже нормальной!

— Почему?! — спросил Вишневицкий в надежде, что Бокерия даже в этой неразберихе исхитрится пошутить и даст позабыть про беду и опасность.

— Сам спроси у него, только жара — ни капельки, это я точно тебе говорю.

— А чему удивляться, фашист как надо заставил его пропотеть, — объяснил Цинцадзе внезапное выздоровление чеченца.

— Его правда, ничего тут не скажешь, ты погляди только, что натворил этот немец! — покачал головой отделенный, раздумав идти в санчасть, где сейчас, наверное, делалось бог знает что.

VI

У Мамуки голова шла кругом.

Даже то, что еще держалось в нем на бумажной, некрученной, им же спряденной нити, вдруг оборвалось, и ему захотелось немедленно написать отцу обо всем, что творилось вокруг и что делал он сам. Написать и о том, как, лежа во ржи, он хотел влезть под землю, вгрызаясь в нее и горстями расшвыривая.

«Четырех бойцов ранило и одного тяжело...

Положим, твой сосед или кто-нибудь из родни вдруг обидел тебя... или не обидел, а, напротив, что-то хорошее сделал. Все бывает, когда рядом живешь. Но ведь этот летчик даже не знал, что четверо этих ребят вообще существуют на свете.

Даже если допустим такую нелепость, что этим ребятам суждена была смерть, — все равно невозможно представить, будто было известно, что сегодня ровно в полдень эти четверо вместе со всеми выйдут из леса и посреди бескрайнего моря ржи очутятся в той самой точке, где палачу предназначено было пролить их кровь.

Иное дело, если бы существовал дом или вообще какое-то место, где бы жили эти ребята, а ему бы велели это место сровнять с землей, или если бы летчик за душой держал зло на всех этих ребят...

Ты говорил, отец, что всему есть причина и не бывает случайного, и когда мы постигаем какую-то закономерность, то по пути что-то может нам показаться лишним и смысла и связи... А может быть, просто мне не по силам эту причину понять и есть недоступное мне объяснение? Раз эта беда так глубока и уму неподвластна, тем более, у нее должна быть причина, пусть очень сложная, мне недоступная, но причина.

Как хочется поговорить с тобой, отец! Раньше я никогда не спорил с тобой, я верил тому, что ты говорил, потому что ты нам объяснял то, что случалось в нашей семье или вокруг нас, и винил ты или вступался за кого-то из нас, или за тех, кто нам был знаком.

Помню, как однажды ты говорил... тогда я подумал еще, почему отец любит так рассуждать... может быть, я так подумал, потому что очень люблю нашу маму?.. Ты говорил тогда, что вот украл ребенок яблоко, но это вовсе не значит, что ребенок вор и что он хуже того ребенка, который не крал. «Получается, что вор лучше того, у кого он украл», — накинулась на тебя тогда мама, а ты возразил: «Сперва надо узнать, имел ли вор яблоко, а если яблока он не имел, так выяснить надо, смог ли бы он его заиметь, не украв? Может быть, он украл яблоко у скупердяя, который скорее б сгноил плод, чем дал другому к нему прикоснуться. Конечно, скупердяй этот вложил много труда, чтоб выросло яблоко, что, однако, не дает ему права уничтожить плод своего труда». Мама тогда еще посмеялась над этим словом «уничтожить». А ты нарочно и настойчиво это слово повторил, я его и запомнил. Получалось, что у того скупердяя не было права на то, что он создал, а уж на то, чтоб его уничтожить, тем более. И ты тогда еще и еще, очень настойчиво повторил именно это, а не что-то другое: «Кому-то положено было съесть яблоко, яблоко было к тому предназначено, и, может быть, ребенок не украл вовсе яблоко, а использовал по прямому его назначению...»

Похожих примеров сотни и тысячи... И мне хочется, отец, спросить у тебя про этих ребят, ведь одного из них ранили тяжело. Были ль они рождены для того, чтобы какой-то немецкий парнишка их украл, украл у них жизнь, уничтожил? Я не приравниваю, конечно, то, что он сегодня здесь натворил, к краже яблок, но я говорю, чтоб было понятней...»

Ношрewan толкнул Мамуку.

— Чего тебе? — Мамуку задело, что Ардадзе вмешался в разговор его с Парной, у самого в голове ералаш почище, чем у Мамуки.

— Пойдем со мной!

— Куда еще? — в самом деле, до гулянья ли было в этом лесу, где они притаились, как воробьи, которым и чирикать невмочь?

— Пошли потихоньку, чтоб незаметно... — зарделись уши Ардадзе, торчавшие из-под каски, похожей на миску.

— Что с тобой?

Ношреван поглядел по сторонам.

— Поди-ка сюда...

Сложив листок, Мамука спрятал его между страницами книги и сунул книгу за пазуху.

— Что случилось?

— Я хочу...

— Чего?

— Мне штаны надо снять, — уши Ношревана запыхали.

Запах мочи ударил Мамуке в нос, и только тут он увидел, что брюки у Ардадзе совершенно мокрые.

— Ладно, пошли...

— Вещмешок и противогаз тоже брать?

— Погоди, спрошу у Бокерия.

— Нет, нет, ни слова.

— Ладно, пусть валяются... Пошли!

Следуя за солнечным лучом, крадущимся сквозь листву, они отыскивали залитую светом полянку размером с развернутую шинель. Боец в мокрых штанах скрылся в кустах, а Мамука растянулся под деревом на траве и погрузился в созерцание.

VII

Уже за полночь они устроили привал в реденьком перелеске. Автандил свернул сигарку, но не закурил, поджидая других. У Ладю бумага для курева в кармане гимнастерки промокла от пота, для закрутки даже сухого клочка не нашлось, и он ваял у Вишневого.

— Закурим?

— Закурим.

Голова к голове, накрывшись шинелью, они чиркнули спичками и, вытащив из-под маскировки дымящиеся ци-

гарки, прикрыли их ладонями, словно из колючих зарослей вынесли фазаненка и, оберегая его головку, просунувшуюся между большим и указательным пальцем, заслонили ее ладонью и подносили к губам.

Туркмен не курил, он насыпал под язык махорки, потому что у него вышел весь запас зеленого, похожего на дробь табака.

— У человека голова на плечах, — проговорил Автандил. — Видно, предки Бердыева были вояки, и, чтоб противнику огонька не заметить, они, видишь ты, додумались до чего.

Бердыев сплюнул, будто его мутило.

— Эту махру не то что под язык, под подошву себе не насыплешь, — объяснил бердыевскую печаль Цинцадзе.

Туркмен повел головой и опустил на колени.

— Ты, Нариман, погоди окоп рыть, нам еще дальше драпать надо! — объяснил обстановку Автандил. Он поцеловал в клюв зажатого в кулаке фазаненка, выпустил дым и при слабом свете месяца разыскал Мамуку и Ношревана. — А вы куда свой табак подевали?

— Он у нас в сумке, — отозвался Ардадзе.

— Получше его схороните, а то сгниет он у вас в поту и в мокреде, как цинцадзевская газетенка.

— Мы еще ладно, а вот у Ленякова кончится курево, где он тогда угольком разживется? — повел плечами Ладо.

— На кой черт мне уголек? — заворчал Леняков, не принимая шутки.

— Без огонька твоему ружью и не выстрелить.

— Ребята! — Бокерия выпустил фазаненка себе под ногу и старательно раздавил его каблуком. — Смываться пора!

— Догоняют? — спросил привалившийся к дереву чеченец, у которого страх перед немецким стервятником прошел и опять поднялась температура.

— Нащупали и взялись за лес, — поднял палец Автандил.

— Вот слух у мерзавца! — позавидовал Цинцадзе.

— Без моих ушей — тебе крышка, — одернул его командир. — Нурадилла, худо станет, вещмешок давай нам.

Нурадилла поднялся, держась за березу, при слабом свете луны ее ствол отсвечивал в темноте серебристыми бликами.

Из перелеска — пока они шли им, Ношреван, что ни шаг, плюхался наземь, словно дерна пласт, — они вышли

на иссеченную обстрелом целину. И тут небо затянуло тучами.

— Не дрейфь, ребята, господь нас не оставит! — взбудрил командир свое отделение и с болтающейся на груди каской, вперед лбом, мокрым, словно после купанья, устремился во тьму.

Ни леса, ни рощицы, ни деревца не попало им на пути, они вообще не знали, сколько прошли, когда начался дождь.

Вытопанное поле, уже и не бывшее полем, превратилось в сплошное месиво, что доставляло Бокерия несказанную радость.

— Таких чертей перемазанных не то что немец, родная мать не узнает.

— Думаешь, он явился с тобой познакомиться и руку тебе пожать? — удивился Цинцадзе. — И пока тебя в лицо не узнает, не будет стрелять?

— Может, и постесняется, — сообразив, что надеяться не на что и грязь их не выручит, командир предпочел обратить разговор в шутку.

— Ложись! — приказал Бокерия, когда, миновав низину и грязь, они стали подниматься по косогору.

— И чего там ему померещилось? — даже ушам больно стало, так напряженно вслушивался Ладо в эту тьму, не обнаруживая в ней ни единого шороха.

— Пахнет! — был ответ.

— Пахнет? — переспросил Кудрявцев, удивляясь, что надо принюхаться, прежде чем сделать шаг.

Вместе с командой Бокерия ветер швырнул им в лицо не только запах пороха, но густую и смрадную смесь из запахов человеческого и конского пота, сапог, шинели, табака и навоза.

— Это от немцев или от своих? — словно и не шутя, солидно осведомился Цинцадзе.

— А черт его знает, — не удержался Автандил.

— А ты нюхайся получше.

— Нюхай тут, не на блюде под нос сунули.

— Поверь мне, Авто, — ласково проговорил Ладо, — у тебя нюх просто собачий, я серьезно говорю, тебе немцев нюхнуть разок, ты в жизнь их ни с кем не спутаешь.

— И не спутает! — подтвердил Вишневатский.

— Все это прекрасно, но что сейчас делать?

— Ну, если уж ты не знаешь... — растерялся Кудрявцев, уверенный, что с его охотничьим нюхом Автандил должен что-то учуять.

— Пока он не поймет, кем пахнет, немцами или нашими, двигаться нечего, — порешил Ладо.

— Может, разведчика вперед выслать? — спросил, пластаясь по грязной земле, Юдин. Как только этот запах бросился им в лицо, он выхватил у Богомолова ружье и теперь прижимал к себе.

— Мы сами, наверное, и есть разведчики. А так зачем бы нас вперед всех пускать? Может, правее взять? Наша рота той стороной идет, нам бы дожидаться, и двинули б дальше вместе, — отделенный не решился брать ответственность на себя и взял по косогору вправо.

Наверху вместо своей роты они обнаружили село, из села доносился хрипловатый лай.

— Смотрите, собака! — Бокерия был так обрадован и удивлен этому надсадному лаю, что даже своим ушам не смел верить.

— Собака! — с большим удовольствием произнес Гасан, и это было уже третье слово, которое он выучил по-русски после «давай» и «поехали».

— Слава богу, что не твои азиатские сапоги на тебе, а то от пса этого спасу бы не было, — напомнил Ладо историю Автандиловой любви, поведенной отделению во дворе конезавода.

— Кто идет? — окликнули в темноте.

— Свои! — уверенно отозвался отделенный. — Винокуров там?

— Он подальше будет! — но что в этой тьмище означало «подальше», понять было нельзя.

— Подальше собаки или поближе собаки? — обрел Бокерия ориентир.

— Подальше! — в голосе мелькнула усмешка.

— Если не он первым ворвется к Гитлеру в кабинет и не схватит фюрера за глотку, я себе уши обрежу! — пообещал Кудрявцеву Цинцадзе.

— Разве только эта тварь спохватится и такого конца для себя не допустит, — в дальновидности Гитлера москвич сомневался, но что до Бокерия, то в возможностях их отделенного сомнений быть не могло.

— Копой оглы! — ругнулся Гасан при имени фюрера, по милости которого он принимал столько мук.

Дождь стал потише.

За селом в лесочке, тоже реденьком, ребята, соединясь уже со своей ротой, набрали на походную кухню, и прежде чем отыскиали закемаривших поваров, Бокерия различил запах котлов, поварешек, крупы и пригоревшего масла или еще какого-то жира.

Слева от кухни, чуть повыше того места, где кончалась непролазная грязь, в нос ударило запахом пороха и родимой конюшни. Свернув сразу в глубь леса, они обнаружили замаскировавшиеся в ельнике орудия и лошадей. Тут-то Бокерия и понял, откуда был этот запах, всполошивший его на косогоре.

— Кто идет? — выпалил часовой сквозь дремоту.

— Свои! — обрадовался отделенный и, прикрыв ладонью рот, шепотом выпустил в часового такой снайперский пароль, что даже винтовке Ленякова не выстрелить было так убойно.

— Автандил, хорошенько запомни этот запах! — посоветовал Ладо.

— Сам знаю...

— Русская лошадь той самой рожью кормлена, которой пичкал тебя вчера этот фашист, только боюсь, когда эту рожь через лошадь пропустишь, не отличить тебе ее от фашистской ржи и ячменя.

— Мне их в жизни больше не перепутать, — успокоил друга Автандил, соображая по звуку шагов за спиной, что, пока его догонят, он успеет затянуться еще разок, и, озлясь, что в село они не зашли, словно в этом селе его родня обитала, раздраженно стал шарить в кармане махорку.

VIII

С той минуты, как Ношревана с Мамукой выгрузили из эшелона и погнали по длинной дороге на конезавод, и до наступления ночи их снедала усталость, пока силы совсем не иссякли; от бессилия избавления не было, и, не ощущая, где усталость, а где передышка, они, как мешок, волокли свое тело, в нем болталась их битая плоть и битые кости, и ныло тело от боли, и уже не болело, и было это тело свое и будто совсем не свое. Сколько ни бегали они и ни ползали, таща на себе оружие и снаряжение, сколько ни рыли траншей и окопов, стирая ладони в кровь и сбивая ноги, все это больше усталостью

не называлось. Это было то самое, что происходило с ними и в них после того сна или пищи, и после всякой такой передышки еще трудней было делать то, что положено им было делать.

И сейчас они шли, спотыкаясь, увязая в грязи, бегом или шагом — и не различить уже было одного от другого. Лес, поле или то, что когда-то было полем, рощица, топь и то, что было недавно селом, шум, шорох, лай собак и конское ржание, мат, команда, шипенье и шепот были так же однообразны, как измот, темнота, дождь и ветер.

Приказали ступать еле слышно, осторожней, каждый шорох опасен, но что могло измениться от приказа? Будто можно быть зорче... И осторожней? Дождь пошел? Ну и пусть! И какая беда, что до нитки промокли? — нам и не было сухо, и по грязи мы тащимся, будто связаны ноги. Тучи месяц сглотнули? Ну и что? Он и так на ущербе, а теперь стала полная темь. Ну а день бы настал — разве стало б виднее, далеко ли идем и зачем?

Когда, под конец, их остановили посреди какого-то поля, разбили на группы и велели рыть землю, Ношрева-на удивляло лишь одно — почему их разбросали так далеко друг от друга, будто ближе нельзя? Но ладно и это. Но зачем землю рыть с такой быстротой? И быстрее еще... Будто можно быстрее?

— Рассветет скоро... — прошипел Бокерия, кротом вгрызаясь в землю.

— Ну и пусть себе рассветет, — шепотом отозвался Мамука. — И рассвету что ли не быть?

И не все ли равно, в темноте или засветло землю рыть, это — как письмо писать, можно быстро, а можно и побыстрее, и что может быть лучше, когда все уже кончилось, только надо ногою на заступ нажать — и он сразу весь уйдет в землю, если только земля мягка, и тогда можно выгрести много земли и насыпать ее с того края, что ближе к противнику. Хотя нет, поначалу сверху срежешь дернины и отложишь в сторонку — дорог дерн: когда за лопатой лопату вровень с носом навалишь земли, сверху надо прикрыть ее дерном, чтоб травюю к противнику. Вот тебя и не видно. Опустился на дно — и весь свет где-то там, наверху, а ты заперся в доме, у тебя — все четыре стены, да и пол под тобой. Только вот потолок... На потолке хорошо б, чтоб от протекшей сверху воды расплзлись два подтека, и тогда в их бесформенных очертаниях разглядеть можно все, что захочешь. Еще в

потолке пробегут черные щелки от выскочивших сучков, как в передней комнате в Гулзоди. Не все щелки, а только лишь три, друг от дружки — на пядь, а слились в одну линию — словно звезды в созвездии Весов.

В этом доме Мамука уснул, или всем только кажется, что уснул. Его не станут будить и спрашивать, спасибо, что дома, не тормозите мальчишку. А ему самому разговаривать — нету сил. И о чем говорить, все одно, все одно, словно дан человеку язык, чтоб молотить и молотить.

В доме тихо. У всех ухо к стене. Кто-то должен принести нам снаружи недобрую весть. Или снова навалится дьявольский грохот...

Прилетит этот малый с крестами на крыльях. Уже слышен свист крыльев или это Мамука у себя взаперти чудом слышит его приближенье?

— Эй, Амаглобели!

Это сверху зовут, с потолка, слыханное ли дело, чтобы с потолка звали.

— Эй, Мамука, бичо!

Опять сверху, а ведь гость зовет, став перед домом, или возле калитки, или из-за плетня, или с тропки между заборами. Нет, это либо сосед, либо кто-то из близких.

Сквозь потолок просунули руки, шарят по комнате и Мамуку трясут. Это же надо, чтоб такие длиннющие руки, дотянулись сквозь крышу, сквозь потолок, а ведь я сижу на полу.

— Заснул, что ли?

Это голос Бокерия. Голос Бокерия, как голоса братьев, он не спутает ни с чьим на свете.

— Проходи, Автандил! — пригласил он, обрадовавшись.

— Да куда проходить? Совсем малый спятил. Куда мне, ты тут один еле влез. Поглубже вырыть не мог? А случится что?

— Что случится?

— Я почему знаю? Все может быть.

— Почему? Что-то узнал?

— Ничего не узнал. Наоборот, тишь кругом, ребята, что сюда пришли раньше нас, удивляются прямо, говорят, это хуже, не к добру.

— Тихо — хуже?

— Во-во, мелковат окоп у тебя, поглубже б копать, — отделенный, склонясь над окопом, перевел взгляд на небо. — Хотя уже поздно... Светает.

— Хорошо, что светает.

— Хорошо-то хорошо, если только не застят нам этот свет... Ты меня слышишь, Амаглобели? Что ни случится, пока я не кликну тебя, голову не высывай, давай-ка еще подрой, на корточках долго не усидишь... И оружия пока не видать что-то...

— Да-а-а...

— Что да-а-а? Ты ж без оружия или забыл?

— Не-е-ет... но ведь патроны...

— Совсем малый свихнулся... Без ружья-то патроны — зачем? Ты, парень, что?

— Ну, да...

— Ты часом гранаты не обронил в лесу?

— Нет, они тут со мной, — икнул, высунувшись из-под земли, Ношреван чуть подалее от Автандила, распластавшегося на перерытой земле.

— Молодчина, Ардадзе! — одобрил командир.

И не сразу обалдевший от недосыпа и усталости Бокерия сообразил, что для Ардадзе не то что его похвала, но даже орден на грудь не имел никакого значения. «Они думают, полевые учения идут, ну, тем лучше».

— А что мне с ней делать? Далеко бросать — не получается у меня...

— Потренироваться надо сперва! — вспомнились вдруг Мамуке слова Винокурова, три дня назад сказанные Хвастунову.

— Пускай тренируется... — кивнул Бокерия. — Только не здесь! Что бы там ни случилось, не здесь! — твердил он, словно боясь, что его сейчас стошнит. — С оружием старшина сообразит что-нибудь, а пока ничего нету... Ардадзе, там возле тебя Цинцадзе, и Мамука тут, и я с вами рядом... Слышишь, что говорю?

Голова Автандила, лежавшего на бруствере, убралась, и открылся потолок, подернутый чуть подсиненной влажной белизной.

Громыкнуло...

«Почему? Откуда раскаты, когда сквозь сырые белила пробивается синева?»

За громыханьем где-то вдали грянул удар грома.

«Отцу напишу. Текла ничего тут не смыслит: разве гром может греметь в чистом небе? Вчера ночью шел дождь, а сегодня... Нет, отец рассмеется... как всегда улыбнется, будто обманули его в лучших надеждах. Нет, не буду писать!..»

Опять прокатился раскат, вслед за ним, встряхнув стены, в окоп скатился звук сильного залпа.

«Все равно напишу... Оказывается, бывают исключения... и раз они бывают...»

И тут началось. Громыхая и грохоча, покатались раскаты, но не в небе вверху, не в лесу, а тут по земле, совсем рядом.

Однажды молния угодила в самую высокую гору возле Гулзоди, спалила чайные плантации, лес погиб начисто, только один старый дуб уцелел, весь искореженный, но и его молния зацепила. Однако и тогда их дом не шатало так, как сейчас. А сверху еще земля сыплется.

Сырой с синевой потолок просыхает, белизна все ясней, но и грома с неба все больше, и так он слепит и оглушает, что глаза не верят ушам, а уши — глазам, словно два брехуна повстречались — кто кого перебрешет.

Сейчас впереди громыхнуло, где край неба был чист, и видно, как рвет его молния. Теперь за спиной ударило в землю, еще и еще. И больше не разобрать, какая где сторона, все валится, рушится, с неба сыплются черные комья земли, будто градом побитое воронье — стаями и по одной. Земля, могучая и неподвижная, вдруг совсем разболталась. Мамуке казалось, что он в доме скрыт, но дом был не дом, а котел, — котел висит над огнем, и пламя его со всех сторон лижет, пламя балует, бушует, раскачало котел, вот сейчас опрокинет. Мамука локтями уперся в стенки — вдруг котел опрокинется, перевернется, и он, словно кошка, вспыхнет в огне. Все сильнее он вжимается в дно, головой уходя меж торчащих колен, пока нос не уперся в ботинки в заскорузлой земле и в портянки, разившие потом.

От земли и травы, от камней и деревьев — от всего, что пылало вокруг котла, плясавшего на огне, шел такой густой и удушливый дым, что вонь от ботинок с портянками вдруг показалась родной и уютной, как родимый очаг или казенный тюфяк в общежитье.

В котел вдруг ворвался знакомый рев самолета — знакомых вообще в этот раз много собралось: сбежались, слетелись — и бойцы все знакомы, и крылатый малый знаком — все они ждали застать Мамуку дома и в расплясавшихся этих котлах наварить каши побольше. Со скаткой на оголившейся спине — гимнастерка вся вылезла из-под ремня и задралась — Мамука свернулся улиткой, и тут на него обрушилось сверху неведомо что, но

совсем не так больно и тяжело, как могло оказаться в этом вое и грохоте. Обвалилось на него или залило?.. натекло густой теплой кашей, и если до этой минуты в котле у Мамуки места хватало, то теперь котел переполнился до краев. В ляжки Мамуки впились чьи-то ногти, — значит, плеснули к нему в котел Ношревана — зачем их поврозь варить и перемешивать? Можно и вместе.

— Ма-му... помо... — повторяла голова Ардадзе, вдавленного в самое дно, но перепонки будто полопались, уши не слышали голоса, и до Мамуки слова доходили сквозь боль от вонзившихся в тело ногтей, но и эта боль оборвалась, едва молния, угодив в переполненный, опять на огне ходуном заходивший котел, засыпала его раскаленными комьями. Век спустя, когда стих треск разломившегося мироздания и потухли уголья, из-под земли донесся хрип Цинцадзе:

— Авто! Лева!

— Э-у-у-у! — возопил командир отделения. — Ты жив, парень?

— Не слышу ничего... Оглох, — слышалось бормотанье Вишневого откуда-то издалека.

— Убили! Убили! — неслось из утробы земной мычанье Цинцадзе.

Все пространство между Мамукой, вжатым в самое дно щели, и Ношреваном, вбитым туда вниз головой, было забито землей и дерном, но вопли, хрипы и бормотанье проникали даже сюда.

— Ой, ребята! Ладо! Ладо!

— Отстань от меня! Ты погляди, что творится, — прохрипел Цинцадзе, еле ворочая языком.

— Есть тут кто-нибудь? — прокричал, оглохнув, Вишневский.

— Алла! — простонал с другого боку Гасан.

— Ложись, сопляки! — строгим сигналом тревоги прокатилась команда.

— Как тут ляжешь? — проговорил удивленно Кудрявцев, вытянувшись над окопом. — Пропал человек и концов не оставил.

— Расстреляю! — грохнуло взорвавшимся снарядом, и все на миг смолкли, но до тех, кого придавило землей, донеслось причитанье:

— Ой... Бра-а-а-а-т!

— От, дьявол, куда же он провалился, искать где теперь? — запричитал Бокерия.

Ношреван, растекшийся кашей, а тут еще воздуха не глотнешь, трепыхнулся бессильно и, чудом ворочая языком, протянул:

— Мамука-а! Я убит?

— А второй-то где? Амаглобели? — вскрикнул Цинцадзе.

— Амаглобели! — завопил Бокерия. — Я же возле тебя только что проползал!

От края окопчика отползли, а может быть, Норешвана выплеснули обратно, — только вдавленный в самое дно Мамука, вдруг оказался один, и, прежде чем котел завалило землей, он успел глотнуть воздуха.

— Тут он, этот мерзавец! — всхлипнул Бокерия.

— Жив нечестивец! — просипел Ладо, у которого опять что-то застряло в горле, только покрепче, чем от страха за Ношревана.

Кто-то сверху схватил Мамуку за шкирку, выдрал втиснутую между ботинок голову, едва не сломав позвонок, и потащил кверху.

— Гляньте, и второй тут! — обрадованно прохрипел Цинцадзе и вырвал у Юдина, растянувшегося на краю окопа, извлеченного из могилы синюшного парня.

— Душа-то в них еще держится? Живы? Ты? И ты? — как вдова над мужниной могилой, ронял крупные слезы Бокерия.

Выкарабкавшись из могилы и едва переведя дух, Мамука взглянул на то место, где до этого судного дня обитал Ношреван: там теперь мог уместиться не только котел с Ношреваном, но вся колоссальная зала семейства Ардадзе. Снаряд угодил прямо в окоп Ношревана.

— В окопы, сопляки! Танки! В окопы немедленно! — заорали надрывно, и тут же загрохотало опять, и, как перепуганных мышат, вмиг размело всех по норам, лишь Ношреван, чудом спасшись, но оставшись без норки, был едва не разорван Бокерия и Цинцадзе. То ли Ладо одолел наконец, то ли окоп его был поближе, но Автандил отполз с пустыми руками и, одним рывком выдернув из полузасыпанного окопа нырнувшего туда Мамуку, оттащил его в свой окоп.

А солнце бесстыдно вкатилось на небо и щедро слало лучи и цветам, и отбросам.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

— Т-т-тогда хоть на фронт отпустите! — наткнувшись возле полевой кухни на капитана Мацхонашвили, Леон твердо преградил ему путь.

— Это вы, Амаглобели?

— П-помогите мне, Шалва...

— Но ты ж не в моем батальоне, — капитан попытался ускользнуть от этого странного малого с котелком горячей каши в руках.

— С-с-с-колько ж мне тут сидеть?

— А ты в каком батальоне, Амаглобели? — спросил Мацхонашвили, нервно подрагивая ногой, и на его губах проступила непрошенная улыбка.

— Какое это имеет значение?

— Ты, Амаглобели, не знаешь законов военного времени, — капитан позволил себе улыбнуться.

— К-к-какие з-з-законы? В-в-война!..

— Вот сейчас-то самое время их знать! — капитан поставил ногу на бочку из-под селедки и раскрыл перед Леоном серебряный портсигар.

— Н-н-не курю...

— Закуривай, закуривай...

— Мне это м-м-м-ожет помочь?

— Я был на финской, Амаглобели.

— Меня Леоном з-з-зовут.

— Мы ж с тобой в армии — или забыл?

— А имя при чем?

— По имени-отчеству или там «дорогой мой» — это все теперь после. А сейчас у тебя каша вон стынет...

— Ну и ладно...

К губам капитана опять подкралась улыбка.

— Мы однажды — на финской был случай — четыре дня без крошки во рту сидели, а на пятый, глядим, на том берегу озера наши из лесу вышли, продовольственные привезли...

— Война сейчас не финская — с Герм-м-манией...

— Думаешь, мне язык почесать охота пришла?

— Н-н-нет, не думаю.

— Тогда слушай, что тебе говорят!

— Я здесь не останусь.

— Не останешься, значит... А мы, четыре дня не евши,

пытались перебраться на тот берег по открытому как зеркало льду ради такого вот куска хлеба, какой ты сейчас держишь.

— Там один из нашей деревни п-п-погиб.

— Был у нас один грузин.

— Л-а-ц-абидзе!

— Анзор...

— Яс-с-сонович!

— Ясонович.

— Быть не может...

— Вот, вот... И где только не встречаются люди, — под широкой верхней губой спряталась нижняя, и охота разговаривать у капитана пропала.

— За кусок хлеба?

— Он не тогда погиб, но какая разница? Двух у нас убило тогда...

— Я б вообще не ел...

— Война! — покачал головой Мацхонашвили. — Помню один у нас... с котелком, держал не держал, а так поставил между колен, а сам под елкой сидит. Пальнули — откуда, поди угадай, лоб продырявили, но интересно не это... Главное, что, когда его поднимали, так уж старались, котелок чтоб не шелохнулся.

— Ч-ч-человека убило, а этого, окаянного... — котелок плюхнулся оземь, капли жидкой каши поползли по сапогу Мацхонашвили, и улыбка опять тронула беззусую верхнюю губу.

— А были они ничем нас с тобою не хуже, и души в них было не меньше...

— Тогда разве это в-в-война?

— Война, как есть война, друг мой Леон... А ты думаешь, война это только окопы рыть и штыком колоть? Потому-то и не торопись... Скоро и этому час придет, к сожаленью.

— Какой там с-с-скоро придет, вон уже сколько вытоптал...

— Что поделаешь, время всему свое место отыщет! — капитан отбросил окурок и, отломив ветку с дерева, стал сметать с бочки листья.

— А Л-л-лацабидзе?

— Лацабидзе, по-моему, пал, когда укрепленный пункт брали, какой — не скажу точно.

— Разве ты не был там?

— Был... Совсем рядом...

— И?..

— И... думаешь, раз ты рядом, так все у тебя как на ладони?

— А глаза на что?

— И глазам видно, и ушам слышно, а ничего не слышишь и не видишь ничегошеньки...

— А п-п-похоронили где, помнишь? Я б отцу его написал...

— Помню ли? Да? — та незваная улыбка снова подобралась было к губам, но Шалва наконец-то с ней сладил.

— М-м-могила...

— Могила где?

— Забыл?

— Я не мог позабыть, чего знать не мог, как тут запомнишь, когда никакой могилы и не было.

— Покойник без м-м-могилы?

— Думаешь, у нас время было рыть могилы и слезы лить, когда сам на мушке, и не знаешь, где ту щель найти, чтоб под землю залезть.

— Но ведь п-п-покойник это покойник?

— Покойник он покойник и есть, и ему уже не поможешь, вот это-то нам было известно, и потому...

— М-м-могила...

Улыбка опять собралась пробежать над верхней губой, но капитан опять отогнал ее, как противника.

— Что же, и п-п-похоронить не дает?

— Ни похоронить, ни поминки справить не даст, — заликовала улыбка, и капитан сдался.

— У меня р-р-ребенок, не родившись, погиб, и то, я думал, иссохну совсем...

— Как? — не понял Шалва.

— Вот так, у жены...

— Выкидыш?

Леон покраснел.

— ...а он мужчину не дает похоронить... Они что, не л-л-люди?

— Люди есть люди, а война есть война! — капитан спустил ногу с бочки и хлестнул веткой по голенищу. — Об этом чего говорить... во-первых, сам все увидишь, а во-вторых, не думай, что война это стишки, которые в книжке печатают... Я считаю, боец должен знать, на фронте не шашлыком угощают.

— Значит, так и нельзя?

- Опять двадцать пять...
- Так ведь если дело нелегкое, без нас еще трудней будет?
- Может, ты и прав, но знать надо...
- Про котел с кашей?
- Как убитого убрать, чтобы котелок не опрокинуть, — этому тебя там обучат.
- Н-н-не обучусь...
- Ту войну с этой сравнивать нечего. Здесь мы и похуже чему обучимся... Заходи лучше к нам в воскресенье. — Капитан поправил портупею и пошел, пощелкивая прутиком по голенищу.
- До воскресенья сидеть тут?
- Может быть, и протянем.
- А я уйду...

Капитан ушел, не оглянувшись. На его пухлой верхней губе поигрывала улыбка многоопытного человека, которому известно даже то, что в подобные времена не смеются.

II

Упершись локтями в жесткие нары, в раскрытой на середине общей тетради Бакури писал Каплану Гасвиани из Гелгети.

После расспросов о здоровье и пожеланий благополучия ему предстояло рассказать о вороном, рассказать очень много, но, когда он добрался до дела, выяснилось, что сказать нечего. О том, что устроились они хорошо и конь с ним, он написал сразу, как только они расположились здесь, однако подробней писать было трудно, поскольку в лошадях он не понимал ничего, а каплановского коня видел только в загоне в тот первый день, и все.

Да еще Бесо запропастился куда-то.

Но если Бесо и знает толк в лошадях, то знает лишь то, что ему знать надо для дела. Он знает ту лошадь, что выросла у него на глазах, а спроси его про повадки и нрав лошадей — он не ответит, когда заартачится лошадь, если упряма, что может ее напугать, и она понесет, и отчего снова делается покойна и весела. До сих пор Бакури не может поверить, что лошади не ложатся, хотя много раз он об этом слышал и ни разу не видел лежащую лошадь. Лошадь у Бесо не знала вкуса свежего сена, куска сахара даже в глаза не видала, зимою ее отпускали

на волю и она гуляла сама по себе, а нужно будет тягло — ее находили.

Дымя самокруткой, Бесо уселся на пустые нары против Бакури.

— Достал? — Бакури не поднял глаз от тетради.

— Достал. Закуришь?

— Давай. Где целый день пропадал?

— Так ведь воскресенье, черт побери... — клацнул крепкими зубами Бесо.

— Воскресенье... а раз воскресенье, стало быть, и затейнику тому — передышка, а захочется поразвлечься, он и сегодня затеет свое...

— Надоел ты мне с ним, с этим затейником, ей-богу. Все мозги просверлил, вот ученый народ... Грузина тут одного повстречал, в командирах, Мацхонашвили зовут. Перекинулись парой слов. Тут, говорит, еще грузин есть, вечером звал, может, говорит, тот тоже придет...

— Ни один командир, грузин он там — не грузин, тебе не поможет, Бесо, у тебя свои командиры есть.

— Комроты не появлялся? — сквозь зубы бросил Кинцурашвили, принимаясь искать веник и ведро с прохудившимся дном.

— На губу тебя. А куда Семичастному деться? Правду скрыть?

— А и вступился бы, этот все равно бы мне не спустил, — Бесо пожевал самокрутку и сплюнул.

— Чего тут у вас развели, — Климов блажил, — казармы тут или свинарник?

— А пошел он псу под хвост и к свиньям зараз, — буркнул Кинцурашвили и на своих сильных онемевших ногах поволокся в дальний угол казармы. — Пусть велит: сажень дров наколю, крутить мельницу стану, но мести-убирать — не по мне это дело.

— Зато мы с Горбатовым дров накололи и котлы вычистили.

— Это который Горбатов? Из третьего отделения? Слыняется, как лунатик... — процедил Бесо сквозь зубы и оглянулся.

— Это которого лихорадка бьет через день, — покачал головой Бакури. — В том-то и радость вся... а то если б ты дров наколол, а Горбатов чистой тряпичей стекла тер или я стенгазету расписывал — той несусветицы не получилось бы и веселія тут ни на грош.

Бесо извлек откуда-то веник и тряпку.

— Веник ладно, а тряпка зачем? Сам знаешь, дома у нас пол земляной, — поскрипывая зубами, Кинцурашвили принялся за уборку. — Я с ним двух слов сказать не успел, а вы взъелись, — медведем-подранком промышчал Бесо. — Он, видишь ты, в финскую воевал...

— Кто?

— Мацхонашвили этот.

— Ну и что он рассказывает?

— Такое творилось! Не приведи господь!

— Ему б лучше язык за зубами держать.

— Он капитан.

— Они все для меня на одно лицо... Что мне ему написать, а, Бесо?

— Кому?

— Да Гасвиани этому, односельчанину твоей матери?

— Мне и заботы только, что ему написать, я вон не знаю, что со всем добром этим делать...

— Сперва веник намочи, а то такую пылицу поднимешь, тут уж не губой запахнет...

— Расстреляют? — взревел Бесо и отшвырнул веник.

— А ты не бесись, все равно — как должно быть, так и будет оно.

— А как должно быть? Раз ты знал, что Климов обход будет делать, почему не сказал? Я б тогда с места не двинулся!

— Почем я мог знать?

— А кто знал? Ты мне только скажи, кто знал? — будто соль перемальвая, скрежетнули челюсти Кинцурашвили. — Пусть уж лучше отправят нас в это пекло, хоть мыть и мести не придется. Либо я эту треклятую немчуру положу, либо она меня.

— А что он сказал тебе?

— Кто он?.. Чего городишь?

— Да с которым ты познакомился утром?

— Мацхонашвили?

— Что на передовой лучше?

— Я же рассказывал тебе...

— Ничего, Бесо, это тоже придет... Сам увидишь... А пока берись-ка за веник, я тебе помогу, только чтоб нас на заметку не взяли, и, пока не упекли тебя на губу, расскажи-ка мне лучше про свою лошадь.

— А вечером — эти... Нам же еще к ним идти...

— Вот тебе еще развлечение. Не надо ничего помнить, не надо мозги забивать — все само собою придет: запрешь-

ся на ключик в четырех своих стенках, а Валя Жижина тебе ромашек нарвет... Тоже не скучно.

— Написал бы заодно этой девочке тоже.

— Бесо!..

Бесо подобрал с полу брошенный веник:

— Я ж не потому, что Гугута родня мне...

III

«Сколько солнца на задниках намалевал...» — думал Бакури, поднимаясь по косогору, откуда видны уже были бараки санбата, слева от них, за строгой скудной плоскостью голого косогора, как на картинке погруженного в бледно-серый туман, можно было смотреть не щурясь на раскаленный диск солнца.

Он увидел Тамару. Она спускалась, задумчивая и не-веселая, словно шла не на свидание, а на почту, уже не надеясь получить долгожданную весточку.

«Жижина в этой сцене не участвует, — подумал Бакури, — нам одним придется играть».

— Я заставила вас ждать? — спросила она безучастно.

— Нет, я только пришел. «Было б на что посмотреть, если бы я торчал тут часами».

— Валя не смогла сегодня прийти.

— Бесо тоже.

— Ничего не случилось?

— Может быть, тут они ни к чему...

Другого ответа Тамара, казалось, и не ждала. Больше вопросов не было.

«Нет, это не эпизодический персонаж», — подумал Бакури.

— Как голо кругом, словно мы стоим посреди сцены.

— Сменим декорацию?

— Сама не знаю... Может, к деревне пойдем? Там вроде церковь виднеется.

Бакури посмотрел туда, куда показала она.

— Слишком уж романтично.

— Это что, имеет значение?

— Разве это так важно?

— Важно то, что нам нужно.

— К сапогам, наверное, никогда не привыкну, — произнесла она, когда не спеша пошли по дороге.

Это внезапное бегство за кулисы не было предусмотрено.

— Да, трудно привыкнуть, — произнес он равнодушно, ибо, что бы он ни говорил и ни делал, все это было написано в роли.

Судя по колее, с неделю назад после дождя к селу проехала телега, а где она взбиралась на взгорье — следов не было видно.

«Может быть, она съехала, чтоб проложить для нас колею? Тем лучше — это игру упростит», — думал Бакури, глядя под ноги.

— Знаете, у меня есть одна дурная привычка, — улыбнулась Тамара той знакомой ему умной улыбкой, которой, ей казалось, наверное, улыбается только она.

«Старается показать, какая она особенная... Впрочем, не все ли равно?»

— Может быть, она не дурная совсем? Просто эта привычка зачем-то нужна вам?

— Пусть она не дурная, а просто привычка...

— И все же?

— Поначалу я сама ищу встречи... Или как бы это получше сказать?

«Получше вчитайся в текст!» — посоветовал ей Бакури про себя.

— Вы поймете меня.

— Может быть, я уже понял. Мысль о встрече приходит вам первой.

— Инициатива, если стараться быть точным, принадлежит мне.

— Во всяком случае вас так истолковывают.

— Но зато дальше — никогда.

— Вы остаетесь не поняты?

— Не знаю, меня ли не понимают или сама я не понимаю.

— А может, не встретили свою пару?

— Не знаю, можно ли это назвать так?..

— Но что-то в этом роде.

— Я словно заранее знаю, как все будет дальше, и все же ищу. Может быть, я слишком откровенна?

— Да как вам сказать...

— Тогда помолчу, — и она улыбнулась, словно говоря, что тут улыбнулся бы всякий.

— Но мы встречаемся уже в третий раз, — продолжал читать свою роль Бакури.

— Вот это меня и огорчило.

— Все пошло не как всегда?

— Не как всегда.

— Наверное, так интересней.

— Нет, будет точнее, как я сказала, — не как всегда.

Я всегда знала, чем кончится встреча, а сейчас не знаю.

— Значит, вы всегда шли на свидание, зная, что вернетесь ни с чем?

— Вы вроде бы правильно говорите...

— Что я говорю? — улыбнулся Бакури. «Разве это я сейчас говорю?» — подумал он.

— Сейчас... Сейчас вы говорите!

«А что говорить? — растерялся Бакури. — Неужели мне и ее роль читать?»

— Вы сами боитесь своей охоты, — произнес он. — Вдруг на руки вам свалится этакая туша, килограммов на семьдесят? Что вам с ней делать?

— Бакури?! — она остановилась.

— У меня получилось слишком уж откровенно?

— Слишком.

— По крайней мере, это лучше, чем ложь.

— Не думаю.

Бакури поднял голову. Церковь стояла высоко, почти вровень с бараками санбата. У подножья косогора, в низине, тянулась длинная полоска воды, и на той стороне ее вокруг пней шелестела густая новая поросль. Когда поднимались к церкви, девушка расстегнула ворот гимнастерки.

— Заставляю себя привыкнуть и не могу — ни к сапогам, ни к гимнастерке.

— Вам кажется, они не идут вам.

— Разве не роскошь сама мысль об этом?

— Мысль... Мысль это единственное достояние человека, которое он еще сохранил.

— И чем больше она не похожа на все, что ее окружает, тем больше мучений она приносит.

— А жить как-то надо.

— Но ведь трудно?

— Кому как. У меня брат есть, младший, Мамука, ему трудно не будет: вон ту лужу в низине он не увидит, у него в мыслях только эта церквушка будет парить.

— И он прямо пойдет к ней по этой трясине?

— Нет, он пройдет над трясинной, даже ног не замочив, и поднимется к церкви.

— Как счастлива та, кого он полюбит, — уверенно улыбнулась она.

— А он и правда кроме нее, никого не видит.

— Он вам родной брат?

— Родной, — улыбнулся Бакури, и его охватило сомнение: не поспешил ли? Он внутренне оглянулся: бывает ведь — хотел одну страницу перевернуть, а листавул сразу несколько, если палец сухой.

Тамара остановилась, у нее дернулось правое плечо, и она повернулась к нему спиной.

У входа в церковь стоял часовой.

Бакури поглядел вниз, вспомнил про колею, но ее уже было не различить.

— Мы заблудились, — покачал он головой.

Тамара обернулась и, не таясь, удивленно посмотрела прямо в глаза.

— Разве вы тоже шли по колее от телеги?! — даже руки задрожали у нее. — Оставьте меня, а то еще я влюблюсь в вас, — и, резко повернувшись, она стала спускаться, ступая по собственным следам.

— Может быть, и Валя не пришла потому, что Бесо, бессловесный и сильный, привлекает ее и пугает?

— Да, да, да! — она опять обернулась и, пятясь, стала спускаться вниз, к болотцу, вся вспыхнув при этом, как бывает, когда чужая вина заставляет тебя покраснеть оттого, что ты сам той же виной мог бы быть виноват.

— Что же это такое? — проговорила она. — Чего нужно тебе? Что вам нужно от нас?

— Что мне нужно? Видит бог... — он повернулся к церквушке, уже позабыв, что спускается вниз, и надеясь еще раз увидеть ее маковку, но взгляд уперся в часового с ружьем. — Ничего... Или мне своей беды мало? — Он задрал голову к маковке, и ему показалось, там мелькнула Гугута. Удивления не было. — Ничего... Не нужно нам с Бесо ничего...

IV

С наступлением ночи небо как прорвало, и если днем по бездорожью еще можно было тащить машины на себе, то теперь это стало бессмысленно. Утопая в грязи, взбиваемой всем, что ни шло вперед: обозом и машиной, лошадью и человеком, тягачом и парой сапог, навьюченный пехотинец мог пешком пройти в эту погоду и по этой дороге больше, чем на колесах. Открытую трехтонку со стер-

тыми покрышками, едва кончилась покрытая гравием дорога, пришлось и впрямь тащить на себе.

Руки Бесо, похожие на лопату, самой природой были приспособлены к подобным занятиям, но на ладонях у Бакури, знавших только тетради и книги, кожа даже после полевых учений не настолько задубела, чтобы тащить на руках эту истерзанную бездорожьем и ненастьем трехтонку. Весь в грязи, промокший до нитки Бесо в конце концов плюнул и хотел залезть в кузов, чтобы дать отдых суставам, не гнуцимся от усталости.

— Кинцурашвили! — окликнул Климов с той стороны трехтонки, видно узнав на бледнеющем фоне неба мощные очертания поднявшегося в кузов Бесо.

— Чего этому сукину сыну надо? — перевесился Бесо через другой борт к Бакури, которого в грязь как воткнули.

— А я почему знаю, он только фамилию назвал, а это по-русски и ты разберешь.

— Кто его моей фамилии выучил, чтоб ему провалиться, — выцедил сквозь зубы Бесо, перемахнув через борт в глубокую слякоть поближе к Бакури в надежде, что если командиру еще приспичит поговорить, так хоть будет понятно, чего ему надо.

Климов больше не появлялся, и к людям, возившимся возле увязшей трехтонки, покрикивания его доносились уже от головной машины.

— Вспомнил, видно, что тут губы нет, — объяснил Бакури мирный исход событий.

— О губе теперь только мечтать...

— Эй, дядя, толкай давай! — крикнул из кабины шофер, то ли заметив, что Бесо без дела стоит, то ли сообщив — поскольку машина не двигалась с места, — что не хватает рук этого дужего малого.

— Это сколько ж тащить ее на себе?

— До Берлина как минимум, — мотнул головой Бакури.

— Да кому она нужна, проклятущая! Лучше пешком идти! — в визге машины скрипнули зубы Бесо.

— Нет! — отозвался Бакури. — Нельзя.

— Будто мне своих бед не хватает, чтоб еще эту взвалить на закорки.

— Зато есть на что поглядеть! Картинка что надо! Не люди на машинах, а машины на людях. Что ты скажешь на это?

— Что скажу? — проскрипел Бесо. — А что ты с ума съехал.

— Нет, зрелище каково...

— Ребята! Ребята! — невесть откуда прилепал по грязи Семичастный. — Бросай все! Все на сегодня!

Шофер тут же заглушил мотор, но сзади еще слышно было хрипящее клокотанье машин. Комвзвода стоял, пережидая, когда и они уймутся.

— Что будем делать, Толя? — по-грузински спросил Бесо, когда стихло в ушах.

— Эту ночь мы здесь переждем! — проговорил смущенно Семичастный, словно он пригласил в дом друзей и было неловко доставлять им неприятности.

— Значит, этой ночью больше ни шагу, — догадался Бесо, положив руку на плечо отделенного. — Слышишь, Бакури? Этого, пусть он хоть по-татарски чешет, я всегда пойму, а Климова и по-грузински — ни в жизнь.

— Очень пестра эта жизнь, Бесо! — вздернул вверх вымокшие плечи Бакури.

— Это почему ж? Все мы в одной грязи вываляны... Или я чего-то не понимаю?

— Нет, разумеется, все мы жаримся на одной сковородке, и затейнику этому так куда любопытней...

— Эй, ребята, — вовсе сник комвзвода, — прежде чем лечь отдыхать, там бы...

— Мы и тут времечко скоротаем неплохо! — горько усмехнулся командир второго отделения Иванов.

— Нет, вряд ли нас оставят в этой грязи, — высказал сомнение Семичастный, — там за селом санбатовские машины где-то застряли.

В другом конце кузова выругались.

— Чего? Чего? — не понял на этот раз своего комвзвода Бесо. — Там санбат, говоришь?

— Он говорит, с чего это Бесо так вырядился, красавец какой, пусть пойдет и обнимет свою Валю Жижинову.

— Погоди, какая там еще Жижина?.. Чего ему надо?

— Да он говорит, преотличная получится сценка, когда он машину вместе с Жижиной на ручищах своих понесет.

— Иванов! Веди свое отделение, — попросил Семичастный, выдрав ногу из грязи. — Где Карханов?

— Карханов в кабину залез! — выдал командира второго отделения его писклявый боец, видно сам зарившийся на кабину и теперь завидовавший начальству.

Едва они вышли на дорогу, покрытую гравием, как вразной затопали ботинки, словно на параде пошли нестроевым шагом, грязь больше не налипала, поменьше лило сверху, но даже если бы дождь совсем прекратился, это было б уже всем безразлично, потому что на людях больше нечему было вымокать.

— Должно быть, в этом селе школа была, — пять минут, что Карханов провел в кабине, заметно прибавили ему сметливости.

— Ты и в школу влезешь раньше меня, а меня во дворе оставишь! — снова пискнул обиженный боец.

— Потихе, Геннадий Викторович! — наставительно произнес командир отделения. — Старшинство соблюдать надо.

Геннадий Викторович в ответ только фыркнул.

— Тогда, Семен Семенович, к какой-нибудь бабенке позволь тут привалиться. Изменой Родине не считай.

— Геннадий Викторович! — с подчеркнутой назидательностью, усмешливо и устало завел Карханов. — Ты призван охранять спокойный сон женщин, детей и всех, кто лишен защиты и помощи, а о каком покое может идти речь, если ты в постель к бабе влезешь?

— Так разве я зло какое на сердце держу, — защищался писклявый, — я только... если в ногах... а подушки головой не коснусь...

— Голова у тебя с другого края будет болтаться, но...

— Он про нижнюю половину толкует, — вмешался очень серьезно Иванов, командир другого отделения, и выбившийся из сил, весь в грязи взвод, даже не улыбающийся препирательству Карханова со своим бойцом, грянул вдруг дружным хохотом.

— Да ведь мне ни к чему... — растерялся командир отделения, сам удивляясь, что ляпнул некстати.

— А разве тут что не так? — поддержал командирский авторитет Карханов. — Нижний этаж у него придется как раз, где у бабы... Ты, Гайдуков, — продолжал он наставлять, — командование в заблуждение не вводи.

— Откуда мне знать, что командование так далеко видно, — смутился Гайдуков.

— Забыл, что тут рядом со мной Иванов шагает?

— Товарищ командующий! Тьма-то какая!

— Да ну вас всех к дьяволу! — сплюнул Иванов и тоже хотел улыбнуться, но не смог.

— Ни слова давай, а то они нас узнают... — сказал Бесо Бакури, когда из темноты выступил черный силуэт машины с натянутым верхом.

— Ни звука, Бесо, но...

— Вот и молчи! — оборвал Бесо.

Они подошли к увязшей в грязи, крытой брезентом машине, не обронив ни словечка, но и тут не было слышно ни звука, только всхрапывал шофер, упираясь в дверцу кабины свалившейся на плечо головой.

— Здесь, кажется, никого, кроме этой музыкальной природы, — разъяснил обстановку Карханов, подходя к машине и отвечая Гайдукову, который опять пропихнул, что Карханов раньше его влезет в кабину.

— А в кузове погляди, нет никого? — посоветовал Иванов, не двигаясь с места, так как понимал, что позади буксовавшей машины грязь может совсем засосать.

— Как это нет? — послышался из-под брезента женский голос, словно хрустальный бокал уронили.

И тут загомонили девчоночьи голоса.

— Ой, ханум, ханум! — запраздновал в этом птичьем гомоне Ташибулат Рахимов, как и Бесо не знавший по-русски.

— Это почему ж вы меня к старым бабам отправить хотели, мы тут с девушками нашими повеселее всхрапнем, товарищ командующий! — возмутился Гайдуков, словно командир отделения и впрямь отсылал его к деревенским старухам.

— А Иванов что скажет на это? — произнес очень серьезно Карханов, надеясь, что чувство юмора опять поведет командира второго отделения.

— Я тебе за Гайдукова двух бойцов отдам, — подъехал к нему с другой стороны Иванов.

— Я и на одного соглашусь, только отдай мне Кинцурашвили, — словно поверив, без улыбки смирился Карханов.

— Кинцурашвили! Бесо? — закричала из-под брезента Валя Жижина.

— Я, Бесо, никому ни слова не говорил, — попытался оправдаться Бакури.

— Может быть, и Бакури тут, — услышали они шепот Тамары.

— Кинцурашвили я отдать не могу, а Рахимова, если хочешь, бери, он по-русски тоже ни бум-бум! — выдвинул свой вариант Иванов.

— Чего им надо? Меня помянули... — заволновался Бесо.

— Да ничего, просто шуточки шутят, тебя и не думают трогать, — объяснил Бакури.

— Нашли время веселиться...

— Вот так и идет все своим чередом, — будто отодвинув все от себя, ответил Бакури то ли Бесо, то ли, может, кому-то еще, кто шел рядом с ними.

— Даже если к Рахимову Майбороду подбросишь, все равно на Гайдукова не выменяю, — развел черными от грязи руками Карханов.

— А не выменяешь, так и шарь после этого у старух между ног, ищи его. Я же тебе каких людей отдаю... он родную жену спать положит, а сам в соседнюю комнату уберется да еще изнутри дверь запрет.

— Это что там за разговорчики? — возмутился за брезентом тот самый голос, что звенел хрустальным звоном. — Эй, шофер! — забарабанили по кабине из кузова.

Храп оборвался.

— Ой, мама родненькая, что за народ! — пожаловался шофер.

— Очнись, друг, поехали! — пискнул Гайдуков, вспрыгивая на подножку и всем видом своим показывая, что без него не обойтись, а уж он этих рыбешек вытащит без особых трудов.

— Ничего не получится, — не сдавался шофер, — увяз по самую ось.

— По пояс, — пискнули с подножки.

— Он ниже пояса весь в грязи, — уточнил Иванов.

— Высаживай-ка из гнездышка своих пташек, — ухмыльнулся Майборода, чтоб на него не подумали, будто он и в самом деле бабу уложит, а сам — за дверь...

— Что значит — высаживай! — взвизгнули в кузове так пронзительно, точно игла без нитки прошила уши.

— Товарищ командующий! Тому голоску я помогу спуститься, — плюхнулся с подножки в грязь Гайдуков и, стоя навывтяжку, отдал Карханову честь.

— Только чтоб не ниже пояса! — предупредил Иванов, когда согласие командира было получено.

— Помни, ввести в заблуждение командование тебе не удастся, — присоединился Карханов. — Береженого бог бережет.

— Что же их в такую грязь сбрасывать? Нас столько мужчин, неужели не вытащим? — и, утокая в грязи

по колено, Бесо надавил на перегруженный кузов так, что машина качнулась.

— Чего, чего он сказал? — спросил Карханов Иванова, надеясь, что командир другого отделения знает не только, что говорит его боец, но и что думает.

— Да он говорит, что тут девушка есть одна, так чтоб ей земли не коснуться, я всю машину на спину взвалю и один потащу! — сказал Бакури и пожал в темноте плечами, сам удивляясь, кто толкнул его это сказать.

— Шофер! Запускай мотор! — приказал Иванов, чтоб до Карханова быстрее дошло, что он, Иванов, понимает, почему Кинцурашвили меняли на Гайдукова, но не так уж он прост, чтоб согласиться немедленно.

V

Рассвело.

Набухший влагой сизый туман придавил соломенные крыши белеющих хат, сливаясь с сочащимся из труб дымом.

Моросило тоскливо и хмуро.

Дорога и пустырек, на котором ютилась низенькая школа-четырёхлетка, и даже дворы утопали в такой вязкой и взбитой слякоти, что казалось, грязь течет с неба вместе с дождем.

Во двор школы — сорванную с петель калитку сняли и прислонили к забору — ребята второго отделения внесли на носилках Гайдукова и опустили перед крыльцом в три ступени прямо в грязь, перемешанную с битым кирпичом, которым посыпана была земля перед школой.

На крыльчке стоял кто-то из командиров помладше и, щурясь, держал полковое знамя, а по обе стороны от крыльчка вытянулись бойцы при оружии. Вдоль стены построились командиры по старшинству.

Бойцы отделения отступили назад, и возле покойника в изголовье одиозно остался один Карханов, пока ротный политрук, обняв за плечи, не вернул его в строй, но и тут он остался стоять на шаг впереди шеренги.

Покойнику обмыли лицо и выстирали форму. Парнишка был очень худ, лицо его посинело, как от холода, и, будто стесняясь того, что ему приходится лежать перед начальством, он, казалось, просил прикрыть себе ноги шинелью. Нижняя губа в углу рта была от боли прикуше-

на, и блестели мелкие плотные зубы, словно он улыбался суете этого бренного мира.

Кроме второго отделения, все стояли строем и внутри двора, и по другую сторону забора, и на дороге. Жители от мала до велика облепили забор пестрой каймой, в которой больше было черного, и эта кайма обрамляла защитный цвет, заполнивший собой все пространство.

Девушек из санбата построили так, что, когда принесли покойника, они оказались с той стороны, что и командиры, вытянувшиеся вдоль стены, и получилось, что они все стоят, как покойникова родня, а в изголовье и в ногах Гайдукова оказались ребята его отделения, словно по крови самые близкие родственники.

Полковой комиссар, капитан Миронов, поднявшись на первую ступеньку крылечка, начал говорить глухо и сдавленно, слабо поводя руками, пока не сообразил, что в час скорби всякий жест неуместен. Оттого он еще больше запутался и сбился. Ему предстояло говорить о героизме бойца, о его беззаветном служении Родине, о том, что он сражался за правое дело и погиб с верой в победу и что его нельзя считать мертвым, пока есть на свете правда и Родина, и что те, за кого он сложил свою голову, не забудут его.

А вышло все так, что перегруженный санбатовский фургон, дав задний ход и не успев вильнуть в сторону, свалил подгнивший электрический столб — и бедняга Гайдуков запутался в темноте в сорванных проводах. Его нашли утром, он лежал в грязи, весь скрюченный и вцепившись в эти погубившие его провода. Так на самой себе своей жизни без вины и причины пропал человек, и теперь Миронов от сознания неловкости обтирал с лица пот, кляня в душе все столбы, провода и вообще электричество. Совсем не обязательно было, чтобы Гайдуков пал смертью храбрых непременно в рукопашном бою, но стань он жертвой тысячи непредвиденных случайностей по дороге на фронт — у Миронова не заплетался б язык: это была б та же схватка со смертельным врагом, то же сражение до последней капли крови и та же гибель за Родину.

«Дико было б, если б я подумал сейчас о Тамаре? — спросил самого себя Бакури. — Такого между мной и Гугутой не было: вероломство — было, людская ненависть была, но покойника не было. А тут — смерть, которая была на свете венчает. И мы — тут стоим, Тамара и я, буд-

то вот она жизнь и любовь, и он — посередке, лежит и смеется над нами и над собой, каким был вчера, когда был способен любить куда больше нашего, безоглядней и откровенней».

Из-за выдвинутого вперед подбородка Бесо Бакури видел бледное лицо Тамары, она стояла в первом ряду, против покойника, и глядела на школьную крышу, задумчиво и отрешенно, и слезы, наверное, были так же ей не под силу, как и смех.

«Сейчас она поглядит на меня, не обернувшись, искаса. Встречаться со мной ей сейчас не хочется. Все тогда б обнажилось, а ей страшно увидеть больше, чем на поверхности. Кошмару и так хватает, и она не захочет еще прибавлять, но раз не хочет и запрещает себе, значит, сделает то, что творю с собой я, что творят с собой люди, потому что не принадлежат себе».

Тамара взглянула, и Бакури легко прочитал в ее глазах ненависть, но оттого, что он тоже взглянул на нее, ей стало жалко его из-за всего, что он наделал с собой, и ненависть обернулась в уголках губ той улыбкой, что была сейчас на мертвом лице Гайдукова.

Окоченевшего Гайдукова наконец укрыли шинелью. На глаза, безнадежно глядевшие в свинцовое небо, и на ранку над верхней губой, приоткрывшую плотно блестящие зубы, надвинули пилотку, и мир, облаченный в защитный цвет, обнажил голову.

На погосте хоронить не стали, а отнесли покойника в дальний угол двора, и отделение расстреляло патроны, принадлежавшие Гайдукову. Строго, шеренга за шеренгой войско покинуло школьный двор и отправилось в свой дальний путь.

«Где ты выведешь на землю, где под землю уведешь?»

VI

— М-м-миша! — Леон толкнул локтем в бок Афанасенко, тот шел вперевалочку и сейчас заснул на ходу, словно старая кляча. — Беда-то какая, ты только глянь!

— Беженцы! — ахнул Афанасенко и красными от бессонницы глазами, словно ища своих, заскользил взглядом по изнуренным лицам людей с мешками и котомками за спиной.

— Дети, ты погляди, а эта совсем уже ветхая!

— Ну прямо бабка моя!

— Похожа?

Не отвечая больше, Афанасенко вглядывался в лица беженцев, вытянувшихся вдоль дороги и безнадежно смотревших на проходящих бойцов.

— Н-н-неужели и этих? Ты же, Миша, из местных? — не знал, как выразить свою жалость Леон.

— Всю ночь шли, — прочитал Афанасенко на лицах беженцев.

— Д-д-дети! — теперь и Леон, словно ища родных, вглядывался в каждого, кто стоял в полушаге от колонны. — И не мылись сколько... Совсем из сил выбились, — простодушно объявил он о том, что увидел, но, спохватившись, что нечего подливать масла в огонь, и чтоб хоть немного обнадежить товарища, протянул: — С другой стороны, кто м-м-может знать... — и тут наткнулся на тачку, которую все обходили. Он ударился голенью, и, если бы ручки у тачки не были обмотаны лоскутами старенького одеяльца и еще веревкой обвязаны, он бы рассек себе лоб или глаз выбил.

Зареванный пацан, который отпустил на минуточку тачку, чтоб обтереть от пыли лицо, с перепугу остолбенел, пялясь на них во все глаза.

— Н-н-ничего... ничего, — улыбнулся Леон, чтобы успокоить мальчишку.

Мальчик решил, что у бойца от удара отнялся язык. Да ему еще улыбаются, а от улыбок он давно отвык, и маленький беженец, вообразив, что такая улыбка — обман и угроза, заревел и стал пятиться, протискиваясь челноком между своими.

— Да я ж г-г-говорю — ничего... С-с-скажи ему, Миша! — Леон, поняв, что его слова и улыбка испугали мальчишку, кинулся прямо к нему.

Афанасенко тоже выбрался на обочину из медленно двигавшейся колонны, а мальчишка, решив, что его хотят схватить, перепрыгнул через канаву, выбежал на поле и юркнул в камыши.

— М-м-миша! — кричал Леон и, задыхаясь, гнался за мальчиком, сам не зная зачем.

— Мишутка! Так это же наши, наш боец! — выскочила из толпы беженцев женщина и остановилась шагах в десяти. Ее и нагнал Афанасенко.

— Мишутка? — остолбенел Афанасенко: она назвала

его, как звали в детстве. — Вы что, меня знаете? Встречали где?

— Нет! — растерялась женщина.

— А Мишутка почему?

— Я мальчика своего...

— Так это сынишку вашего так кличут... — опомнился Афанасенко. — Не меня это! — крикнул он Леону, словно Леон погнался за парнишкой, чтобы узнать, не маленький ли это Афанасенко.

Мальчишка исчез в камышах, и, только шагнув вслед за ним на обочину, Леон пришел наконец в себя и остановился.

— Напугал ребенка... и что это со мной с-сделалось?

— Чего тебе надо от него? — мать, испугавшись, бросилась вдогонку за Афанасенко. Ей представилось худшее — за ребенком гнались, чтобы наказать за тачку. — Вы б так за фашистами гнались... а чего пугать пуганого?

Тут и Афанасенко сообразил, что не на Мишутку же, в самом деле, осерчал этот странный малый Леон.

— Ты чего за мальчишкой погнался? — закричал он ему вслед.

— Погнался? — спросил в свою очередь Леон, оборачиваясь к Афанасенко и матери мальчика. — Я н-н-не погнался...

Вообразив, что Леон и впрямь осерчал на мальчишку, — а бедняга и без того выше головы горя хлебнул, — Афанасенко замахнулся на Леона.

От неожиданности Леон не почувствовал ни удара, ни боли, только спросил:

— З-з-за что, Миша?

Этот парень со здоровенными кулачищами не двинулся с места, и тогда Афанасенко, все поняв, обнял его.

— Поубивают друг дружку, от бесстыжие! — завопила женщина, решивши, что мужики схватились между собой.

— Прости меня, Леон, — от волнения у Афанасенко язык тоже стал заплетаться. — Сам не знаю, что нашло на меня, совсем ум за разум зашел, да еще эта здесь... — кивнул он на женщину. — А ты что, совсем одурела?

— Я-то? — возмутилась женщина, и презрение на ее лице говорило о том, что уж кто-кто, а она-то в здравом уме. — Мишутка! — повернулась она к камышам.

— Я тут, мам! — парнишка высунулся из камышей.
— Я ж сказала тебе, свои это...
— Леон, Леон... — потерянно талдычил Афанасенко. — Я-то думал, ты на мальчишку...
— П-п-послушай, п-п-поди-ка сюда! — позвал Леон мальчика. Тот остановился в нескольких шагах, размазывая кулаком слезы:

— Я как увидел вас, вот обрадовался...

— Н-н-ну и кто т-т-тебе что с-с-сказал?

Услышав, как Леон заикается, мальчик опять попятился.

— С-с-скажи, М-м-миша, я тебе что говорил?

— Этот дядя за тобой побежал, — вступился за Леона Афанасенко, чувствуя свою вину перед ним, — сказать хотел, чтоб ты не пугался.

— Да, — кивком подтвердил Леон.

— На тебе от этого дяди подарок, — Афанасенко вытащил из кармана блестящий перочинный ножик и, отдав его парнишке, принялся снова рыться в карманах, желая показать, что такой прекрасный человек, как Леон, может подарить кое-что и получше.

Мальчик далеко откатил свою тачку с обочины, и матери пришлось помочь ему вкатить тачку на дорогу.

VII

С наступлением сумерек прекратился воздушный налет, обрушившийся на полк, растянувшийся цепью через степь. Фашисты потеряли один самолет, а полк — левую кухню.

В надвигающейся темноте поползли разговоры — то ли повар погиб, а двоих ранило, то ли двоих прикончило, а один еще дышит.

Гибели повара на войне ждут меньше всего. Но для тех, кто своими глазами видал Гайдукова, покойно лежавшего в школьном дворе, ничего невозможного уже быть не могло, хотя не было в сердце той острой боли, какая могла быть у тех, кого этот повар кормил. Он за служил, чтоб по нем горевали сильнее, чем по ком-то еще. Для бойцов он не был просто Иваном или Петром, который делал, что было положено, и волок свои беды и радости. То, что стряпал, вертясь у огня и котла, этот проворный парень, он готовил на всех, возвращая по

два и по три раза на дню каждому то, что они оставили дома, у матери, у жены, у сестры. Может быть, стряпня его была негуста, невкусна и отрады она не давала, но этот бедняга хлопотал о них всех, и что червям на обед была отдана рука, кормившая всех, не означало лишь только то, что батальон уменьшился на одного бойца. Но Гайдуков уходом своим обесценивал смерть и взвалил на понурые плечи всех этих ребят поверх обычной походной поклажи то горькое горе, которым тянуло из дальнего угла в школьном дворе, и сейчас больше не было сил на себе тащить эту боль за погибшего повара, который стал всем как родной, и оттого никого не тянуло ни разузнать поточней, как он погиб, ни в эту гибель поверить, ни еще меньше — увидеть ее своими глазами.

Но сон натошак (а ночь, на беду, выдалась очень холодной) и обед, на другой день наспех сготовленный, с первой же проглоченной ложкой оповестили о том, что если не все, то уж один человек, тот, что вечно ворчал «про добавок ни звука», и правда куда-то исчез, и у всех-всех, и у Бесо Кинцурашвили, сердце сжалось, будто ошпаренное. Не только всегдашний паек, но и добавок Бесо не спасал. Здоровенный крестьянин, проглотив что положено, набивал потом живот чем ни попадя. Повар совесть имел, и Бесо потерял того, кого не могли позабыть голод и жажда, жившие в нем, как не может грудной младенец позабыть про материнскую грудь. Может быть, и в тот день Кинцурашвили не отказали б в добавке, тем более что сухари, выданные накануне, как семечки застряли в зубах, — так или иначе, но Бесо не пришлось мыть котелок, он так и сунул его в вещмешок и тем почтил память повара, не жалевшего для него добавки.

Бакури это так поразило, что странная фраза Бесо «Я не к тому говорю, что эта девчонка родня мне» вмиг дошла до него и открыла ему глаза.

Этот молчаливый крестьянин не был прост, как дважды два. Есть люди, раскрывающиеся, когда этого ждешь меньше всего. И неприязнь Бесо к образованным, может быть, не тем рождена, что ему в тягость доля вечного работяги или он хочет урвать кусок пожирней, а терзает его, что не может он волю дать тому миру, что вмещен в его сердце, и как флаг развернуть его на всеобщее обозренье. Ему жалко Гугуту не из-за ее девчоночьей доли, и не сводня он, когда хочет навести между ней и Бакури рухнувший мост, он просто видит, что их разделить не-

возможно, как невозможно разъять литое, могучее тело Бесо. Он и жениться не стал, как женятся все крестьяне, войдя в возраст, когда зайвится в дом старая сваха и с кривою улыбочкой извлечет из кармана фотокарточку пухлощекой девчонки, вытаращившейся в объектив.

Может быть, тут случилось другое. В разноязыкой толпе стало проще понимать друг друга без слов и можно было не объяснять про себя ничего. От Бесо слов не ждали — он ждал пониманья и упорно молчал, как немой. Но сейчас у него появились слова, и что в ночной тьме возле буксовавшей машины перевел Бакури на русский, было слово в слово то самое, что Бесо и сказал, а не то, что Бакури услышал.

«Вот ведь и Гугута слова не скажет, а Потола мелет и мелет... Может быть, и Бесо видит куда больше, чем нам это кажется. Как же так получилось, что женщина, говорящая на другом языке, разглядела в нем больше, чем девчонки из нашей деревни, — ведь они росли вместе с ним?»

А возможно, язык может связать так же, как безъязыкость. Есть язык у тебя — говори, а сказал — ничего за сказанным словом не хотят ни видеть, ни слышать».

Бросив свернутую шинель под пожелтевший куст медвежьего ушка, Бакури прилег рядом с Кинцурашвили.

— Бесо...

— Не написал я письма... — скрипнул зубами Кинцурашвили.

— Я не об этом.

Бесо молчал.

— Ты Пачию помнишь?

— Кого?

— Пачию.

— Это который немой?

— Я про Пачию, пастуха, говорю.

Бесо, конечно, помнил Пачию, но как Бакури помнил его?.. И Бесо с благодарностью поглядел на Бакури.

— Ты знаешь, почему он умер? Ведь какой здоровенный был...

— В деревне никто, кроме меня, его не смел пальцем тронуть, да и надо мной он что вытворял, помнишь, наверное?

— А умер отчего? Я тогда в Тбилиси был.

- С горя...
 - Погоди, Бесо! С чего это было ему горевать. И вообще, откуда ему было знать... что значит горе.
 - Кому есть о чем горевать...— Бесо не мог продолжать и скрипнул зубами.
 - Да, у кого горе, тот знает, о чем его слезы.
 - Порешил он себя.
 - Я об этом не слышал.
 - Он же немой был... И грамоты не знал.
 - Конечно, если ни крикнуть не можешь, ни написать — кому что объяснишь.
 - Он не стал вешаться и стреляться не стал.
 - Знаю, не хотел, чтоб деревня видала.
 - Просто умер, и все.
 - Правда, что он любил эту девчонку, ветврача?
- Бесо поглядел в глаза Бакури, но промолчал.
- «Ему опять кажется, что я ничего не понимаю, — подумал Бакури. — И ничего не пойму, если словами все не назвать. А я думал, это он ничего не понимает, и мне еще нравилось, что он недогадлив и прост душой».
- И она ничего не знала?
 - Она образованная была — доктор.
 - Пачия... немой...
 - Да еще глухой, — добавил Бесо и, присев, локтем оттер валявшуюся рядом винтовку от пыли и приставших семян. — Напиши ей... — бросил он и поднялся.
 - Ты же не знаешь, Бесо... — Бакури продел руки в лямки вещмешка.
 - Напиши, говорю.
 - Думаешь, это что-то изменит? Как было все, так и будет...
- Кинцурашвили зашагал, не оглядываясь и глубоко впечатывая следы в землю.

VIII

Сильный северо-восточный ветер принес с того берега густой запах гари и пепла. В правой стороне догорал город, но ветер уносил дым на юго-восток, и бойцы, выйдя из леса и глядя на спаленный город, глотали, казалось, дым и пепел всех других городов и сел, и оттого было жутко вдвойне. Все, что было доступно глазу и куда ни достигал он, было начисто сожжено, и, казалось, ни в чем

больше не было смысла: за что шли воевать — сровняли с землей, кого надо было спасти — поубивали, и от всего, что держит нас на земле, остался лишь пепел, да и его развеивал ветер. С наступлением сумерек вперед выслали разведчиков, но о чем им было узнавать?.. Тот, кто спалил это село, город, деревья и землю, не пощадил бы моста, впрочем, и это — смотря по обстоятельствам. Случалось, противник пальцем не трогал то, что ему самому могло пригодиться, и, наверное, штаб хотел выяснить, что в этот раз задумали немцы.

Выяснилось, что немцы еще не полностью овладели тем берегом, который считали своим, и, обозлясь, что наши, прижатые к реке, еще продолжали сопротивляться, и боясь, чтоб не проникла к ним помощь, они сровняли с землей все, что было на том берегу. А мост немец щадил, но щадил лишь до тех пор, пока не стало ясно: русских, прижатых к реке, будет трудно сломить, покуда они рассчитывают на связь, а если, спасаясь от полного истребления, они уйдут по мосту, то сами, конечно, взорвут мост за собой.

Воздушную бомбежку и артиллерийский обстрел немцы прекратили за час до наступления темноты, чтобы русские получше могли разглядеть свое положение еще при свете дня и убедиться, что на том берегу не осталось ничего, ради чего еще стоило драться. По предположениям немцев, русские сами должны были убедиться, что спасения ждать им неоткуда, и к утру сдались бы без боя.

Разведчики подтвердили то, что всем и там было ясно: город пуст и разрушен. Мост был тоже разрушен и рухнул в воду, хотя противник на берегу не обнаружен, и задача, которая возлагалась на тех, кто был здесь, — переправиться ночью на ту сторону, доставить нашим истекавшим кровью частям боеприпасы и поднять их дух, — задача эта представлялась невыполнимой, потому что, кроме двух прохуdivшихся лодок, на берегу плавсредств не нашлось.

— Ну что, Бесо, представление только начинается.

— Тебя звал кто? — прикорнувший под осиной Кинцурашвили поднял голову и, привалясь к дереву, при слабом свете пробившейся сквозь чащу леса луны поглядел на возникшего перед ним Бакури.

— Семичастный звал.

— А почему сам не пришел? — о чем-то догадываясь, Бесо затаил, сомкнув челюсти.

— Должно быть, тебя постеснялся.

— Климов, что ли, сучья душа, зовет нас? — словно костью прохрустел Бесо.

— Не по своей же нужде зовет.

— Чего ему надо?

— Я же сказал тебе. Пока что мы были вроде как шафера, которые только готовятся к свадьбе...

— А свадьбка где?

— Не так уж и далеко... На том берегу.

— Образованные больно...

— Да, Бесо, рыбки захочешь — и ножки замочишь.

— Какую это рыбку я захотел?

— Я ж говорю, если захочешь...

— А какую я захочу? — вскочил Бесо.

— Этого я не знаю, Бесо. Это Климов знает.

— Он что, утопить меня вздумал?

— Куда там топить... На одного тебя вся надежда. Наших на том берегу прижали к реке и в кольцо взяли, сидят — ни еды, ни воды, ни боеприпасов. К утру надо связь установить.

На том берегу взметнулась ракета. От нее по темному лесу, между деревьями, паутиной протянулись лучи.

— А вообще-то говоря, красиво...

— Помолчи лучше! Что Семичастный сказал?

— Говорит, что Грузия — горная страна и реки там быстрые, но вода в них по колено, а вот перейдут ли они широкую реку, еще как поглядеть.

— Не знает, стало быть. Ну и что дальше?

— А Климов тут и спрашивает: а море разве не рядом у них?

— А этому черту известно, что я все жаркое лето только потом и умывался? — вконец искрошил свои зубы Бесо.

— А Толя ему: Бесо из крестьян, он по курортам не ездит.

— Вот-вот...

— У них, говорит, море такое теплое, что и зимой люди купаются... все правильно сказал.

— Ну, а если правильно сказал, вешай мне камень на шею и в воду бросай.

Схватив все, что было при нем, Бесо бросился из леса.

— погоди, мы с тобой не одни пойдём, да и не собираются нас просто так в воду бросить.

- Ну и чего напридумали? — остановился Бесо, прижимая к груди винтовку, лопату, сумку и скатку.
- Надо по деревне пройтись и кой-чем разживиться.
- Где ж ты людей найдешь?
- Кто-нибудь да отыщется...
- У кого душа в теле держится, ему сейчас не до нас.
- Но и ты не пойдешь, как Христос по воде.

IX

То, что из всей роты Климова именно отделению Иванова поручено было переправиться через реку, установить связь со своими, очутившимися в самой пасти врага, и оказать им поддержку, командир отделения отнес за счет дурных отношений, установившихся между Климовым и Кинцурашвили, и теперь, злясь на этого упрямого мужика, он, когда они стали подниматься вверх по берегу, приказал:

- Кинцурашвили, ступай вперед!
- Почему он меня вперед посылает? — спросил Бесо у Бакури.

— Может быть, ты бывал уже в этих местах и позабыл, а Семен Семенович знает об этом и помнит.

- Дождутся они у меня, — процедил сквозь зубы Бесо.

— Послушай, — Бакури пошел рядом с ним, — надо ж кому-то идти впереди. Не шеренгой же нам шагать.

- Вот пусть он и идет. Он же здешний.
- Какой он здешний, от откуда-то из-под Ворожежа.

— Разговорчики! — прикрикнул командир отделения.

- Ты бы спросил, Бакури, чего ему от меня надо...
- Не ворчи, дружище, вот и я с тобой, — шлепая ботинками, их догнал Горбатов и пошел рядом с Бесо по другой руке. Не дотянувшись Бесо до плеча, он положил ему руку на пояс.

Бесо свернул вниз, к воде, наверное, потому, что командир отделения не приказывал этого. Иванов и плотненький Коновалов последовали за ним. Командир отделения надулся, сразу поняв, что Кинцурашвили свернул назло ему, но, поскольку он же сам пустил его вперед, приходилось идти следом.

- Неужели они рассчитывают что-нибудь отыс-

кать? — интересовался перепуганный Коновалов, словно малый ребенок, которого послали к роднику за водой и дали подзатыльника, чтоб кувшин не разбил.

— Молчать! — одернул его командир отделения.

Даже сейчас, не завидуя Карханову и его отделению, удрученному гибелью Гайдукова, Семен Семенович обзлился на Бесо, потому что были, кроме них, и другие отделения, и если впредь по милости Кинцурашвили все рискованные операции будут поручаться Иванову, значит, не сносить им головы, не сегодня, так завтра уж точно. Был ли Бесо виноват тут и в самом деле — устанавливать истину командир отделения не собирался. В конце концов, не Иванов затевал всю эту войну и не его командирской ошибкой было то, что на том берегу наши части оказались в тисках противника.

Подальше от берега вспыхнули ракеты, и все пятеро тут же упали на землю, к подножью обрыва. — Иванов слова сказать не успел. Где-то на окраине снесенного бомбежкой города валялась пара лодок с прохуdivшимся днищем, но, не дойдя до них, бойцы провалились в огромную воронку от снаряда, и прежде чем успели подняться, вновь вспыхнули ракеты.

Когда стало совсем темно, они пошли дальше, спотыкаясь на каждом шагу, — берег был не так изрыт снарядами, — и там, где навалено было земли, Кинцурашвили уже понимал: тут воронка — и обходил ее стороной.

Наконец они добрались до окраины. Бесо — он шел понизу вдоль реки, — увидав при свете месяца на откосе обрыва тень от забора и подпиравшего забор дерева с обломанными сучьями, остановился как вкопанный.

Иванов прошел вперед и улегся под самым обрывом в надежде, что с того берега посветят опять и он успеет осмотреться — нет ли где лодки или плота. Но то ли противник решил побережь ракеты, то ли оттого, что Иванову это сейчас особенно требовалось, но ракет, как назло, больше не было. От месяца еще посветлело, и на всем берегу почти до самого моста, провалившегося посерединке, не то что лодки, доски не видать было.

Бесо различил в темноте глубокий овраг, разрезавший крутой берег реки и уходящий вправо ложинкой. Обняв за плечи Бакури и Сеньку Горбатова, он повел их по узкой и грязной расщелине, которая, расширяясь кверху,

венчалась зубчатым забором и лепившимися по краю склона сараями, сортирами, курятниками, хлевами и частоколом.

Семен Семенович и плотненький Коновалов молча следовали за ними. Командир отделения всем своим видом показывал, что поскольку он сам послал их вперед, то послушно шагает следом, пусть даже ему эта дорожка не нравится.

Овраг смердел отбросами когда-то полнокровной окраины, и, находясь здесь, о местных привычках судить можно было лучше, чем там наверху. Бесо свернул сразу, у первой межи, едва показался заборчик, поставленный явно двумя разными хозяевами, и пополз вверх по крутому склону. Повыше склон был суше, и карабкаться в ботинках было трудно, но трава, пробившаяся сквозь промытый дождями навоз и не тронутая тут скотиной, могла удержать даже грузное тело Бесо, и, цепляясь за нее, он полез вверх. Растертая в сжатой ладони трава издавала душноватый и резкий приторно-горький запах петрушки, редиски и лука, выросших из семян, попавших прямо в навоз, и еще этот запах сильно отдавал земляной сыростью.

Вскарабкавшись вверх, боец присел под забором и свесил ноги вниз. За одну его ногу ухватился Бакури, за другую — Сенька Горбатов. Иванов свернул вправо, став карабкаться чуть в стороне, и болтающимися ногами Кинцурашвили завладел плотненький Коновалов; едва он начал взбираться вверх по откосу, дыхание его обратилось в некий мелодичный свист, и, сколько ни намекал командир, что ни к чему сейчас свист, Коновалов так и не понял, что он-то сам и есть охотник до свиста и пения.

— Кой-какие хибары тут еще уцелели! — пророкотал Кинцурашвили, словно овчарка просунувши голову сквозь забор, и наскреб в карманах остатки махорки.

— Ты погляди, там еще кто-то есть... — сказал Бакури по-русски, когда по двору, скуля, пробежал вспугнутый пес и скрылся в хибаре.

— Ступайте к ним разговаривать, а от меня какой толк? — привычным движением Бесо оторвал от газеты клочок, не вынимая ее из кармана гимнастерки, четырьмя пальцами извлек из галифе щепоть табаку, который наскреб в кармане, и ссыпал на бумагу, ни крошки не обронив.

Командир отделения не запрещал Кинцурашвили закуривать и потому не стал делать ему замечание. Он приказал Бакури и Горбатову следовать за собой, прошел вдоль забора и остановился против конуры, в которую, сипло поскуливая, пролез пес.

Бакури чувствовал себя так неловко, словно собирался обобрать и без того перепуганных насмерть хозяев, и, пропустив впереди себя Горбатова, он последним пошел по тропинке, ведущей от калитки к хатенке.

На осторожный стук в дверь никто не отозвался, лишь за домом опять твякнул пес и смолк.

Бакури шагнул назад.

— Свои! — прошептал Горбатов, тенью прильнув к окну, и тут же изнутри дома — видно, притаились возле окна — хрипло переспросили:

— Свои?

— Свои мы, свои! Наши!

— Что за наши?

— Красная Армия!

Край темной тряпки, закрывавшей окно изнутри, отодвинулся на ширину большого пальца — и при бледном свете луны Бакури показалось, что ни осторожное это движение, ни глаз, возникший в щелке, не принадлежали этому сиплому басу.

— Ну, если свои, — просипел бас с таким выражением, словно хотел сказать, что если вы не свои, то лучше бы вам уйти восвосяи.

Дверь чуть приотворилась.

— Хоть бы свет зажгли, что ли... — посторонился Иванов, приготовясь скользнуть в избу.

— Света захотел? — удивилась женщина с осевшим голосом.

— Тогда выйдите кто-нибудь, — растерянно проговорил Иванов.

— Чего они тут потеряли? — осевший голос стал резок.

— Наши это... — объяснил бас, уговаривая больше себя, чем женщину.

— Черти б их всех разодрали, чего им всем надо?

— Погоди, сейчас скажут...

— Пускай говорят и убираются!

Дверь приоткрылась еще, и белобровый наполовину показал лицо.

— Иванов Семен Семенович, — командир отделения просунул руку, чтоб познакомиться.

«Сейчас меня за собой потащит, — словно на холодном сквозняке, вздрогнул Бакури. — Смерть как не хочется идти туда».

— Амаглобели, за мной!

Бакури вытянулся за спиной Иванова.

— Иванов это, Семен Семенычем кличут! — объяснил бас своим.

— Ах, Иванов!.. Пусть заходит, у меня до него, дед Данила, дело еть.

Семен подался назад и налетел на Бакури, но дверь отворилась уже так широко, что не только Иванов, а и Бесо, развернув плечи, свободно мог бы в нее пройти.

Едва они очутились в доме, дверь захлопнулась, и Бакури остался стоять где стоял, не смея даже прислониться к стене.

Дрожащая рука чиркнула спичкой, а может, спички отсырели, но чиркнули еще и еще раз, наконец зажгли, прикрывая ладонью, и сильно убавленный фитиль керосиновой лампы без стекла замерцал синеватым пламенем.

Бесшумно отступив на полшага, Бакури спрятался за спину Семена. Ему хотелось осмотреться, но взгляд его сразу уперся в женщину. С вызовом подбоченясь, она стояла возле кровати у стенки напротив. Полная, без лифчика грудь женщины в распахнутом вороте рубахи не вызывала никакого желания, зов которого боец ощущает даже при виде чуть отесанной чурки, да к тому ж вместо передника женщина обмотала себя мужской рубахой, завязав рукава на широком заду.

— А где же ты до сих пор гулял, Иванов? — спросила женщина. Будто перед бурей холодным ветерком потянуло.

Командир отделения поглядел на Бакури, словно спрашивая, может, он знает, что здесь к чему, а он, Иванов, в первый раз ее видит.

— А за спиной у тебя кто хоронится? Слава богу, хоть совесть у кого-то осталась.

— Мы тут... в первый раз... Только пришли, — забормотал Иванов, полагая, что их с кем-то путают.

— А я о чем говорю? Только сейчас заявились... А вчера где были? А третьего дня?..

— Глафира! Помолчи! Ради Христа помолчи! — из боковушки выползла бабка и поставила на стол споловинен-

ную бутылку с самогоном.— Бог с ними, забирают пусть и уходят...

— Чего забирают? Мало им всего? Забери ты все это отсюда, тетка Феня, либо хрясни о камень, либо в овраг кинь, а им не давай.

— Мы не за этим...— Иванов поглядел прямо на старика, понуро и тихо стоявшего у другого края стола.

— Ему еще, видишь ты, стыдно... Понимает, нечего им соваться сюда, вот и стыдно...

— Ей-богу, не за тем пришли...— Семен перевел взгляд на бабку, которая, сложив руки под грудью, стояла у лампы, а потом его взгляд приковала икона, ее серебряный оклад излучал пронизывающий свет.

— Так где ж ты гулял, Иванов? Неделя уже, как в нашем городе ниточки не найдешь...

— Глаш... они ж тут при чем? — вытянула к бойцам морщинистый подбородок тетка Феня.— Их вины нет...

— А чья вина, что на нас бомбы кидают да еще в рожу плюют, а я только ложись на своих восьмимесячных и криком кричи: «Ты где, Иванов? Куда подевался? Где наши? Почему не идут? Почему не летят? Где танки наши?..»

— Были тут наши, были...— покачал дед головой, не поднимая лица.

— Где были?

— Были, господь свидетель, были...— поглядела на икону бабка, все так же скрестив на животе руки.

— А что толку, что были? Мало тут порушили, поубивали... чтоб еще и эти приволоклись?

— А что им делать было? Они тоже себя не жалели, надтреснутым басом проговорил дед Данила и перекрестился вместе с женой.

— Да мы, дед Данила, тут... насчет лодки, — попытался объяснить свой приход командир отделения, но тут заплакал ребенок — и женщина, коршуном бросившись к кровати, на которой лежал туго спеленатый младенец, схватила его на руки, видно боясь, что, если сразу не успокоить, заорет и другой. Прижав младенца к груди, она с трудом, одной рукой, вытащила грудь, будто дыню, и ткнула ее в рот малышу, но тут на постели заревел второй.

— А Иванову известно, — рассвирепевшая мать прижимала теперь к груди и второго, — что даже пеленок мне фашист не оставил, все пожег...— Руки у нее были заня-

ты, и она коленом задрала мужскую рубаху, которой прикрывалась вместо фартука, и открыла спаленный пол.

— Да найдем мы тебе, Глаша, чем прикрыться, найдем...

— Я и так не знаю, как благодарить вас, тетка Феня, что не сплю на головешках от дома родного. Ну, а юбку эту я не скину. Так и буду ходить, все ихние части обойду, всем покажу, пусть глядят и знают, что надо мной сотворили...

— Глаша, да замолчи ты Христа ради при людях... — повернулась старуха к иконе.

— А знают они, что от отца их у меня даже карточки не осталось. Его под Минском наповал сразу... у сирот моих ни отца, ни карточки на память! Погиб... На Иванова надеялся! А они вон заявили... выпить им дай!

— Нет! — выкрикнул Иванов.

«Не могу я больше на это смотреть. Не могу слышать. Кто все это придумал, пусть тот и глядит», — и, распахнув дверь, Бакури выскочил из дому.

Дед Данила ни про какую лодку не знал, из рыбаков тоже не было никого. В расстроенных чувствах командир отделения собрался уже вернуться к реке, но тут Бесо заартачился и зашагал краем обрыва дальше, поскольку старик сказал, что насчет рыбаков он ничего не знает, но до вчерашнего дня здесь, на самом краю города, был пивной завод. Видно, про себя дед все же решил, что бойцы не лодку искали, а выпить, и лишь потому отказались, что от Глашиного крику заговорила совесть у них.

XI

Ни слова не удалось Бокерия выжать из Чумалова, личности замкнутой и несловоохотливой. Откуда взялись два ящика с боеприпасами, как — без моста — переправили их с того берега и вообще как возникла с тем берегом связь тоненькая, как паутинка.

...Оставив вместо себя Цинцадзе, с его перевязанной рукой, он пополз к командирской землянке. Все три первых эшелона пригнали к реке одновременно, и теперь противник обсыпал их ракетами, не давая высунуть нос из окопов и глотнуть воздуха.

Нырнув в набитую людьми траншею, Автандил яще-рицей прошмыгнул между ранеными и спящими бойцами.

Боец, дремавший у входа в землянку, пытался его задержать.

— На часах спишь? — взелся Бокерия, врываясь в землянку.

Держа винтовку наизготове, боец вошел следом и щелкнул затвором, на что Боженко, сидевший уткнув нос в колени и зажав голову локтями, вскинулся, как от громового удара, и с трудом узнал сменившего Винокурова комвзвода Бокерия.

— Кирилл Степанович! — не по уставу обратился Бокерия, и это на мгновение заставило Боженко тоже забыть, что они в землянке и кругом спят и дремлют командиры.

— Что там стряслось, Бокерия? — осторожно, словно в окошко стукнула женщина, спросил майор, медленно соображая, правильно ли он произнес фамилию этого парня.

Дождавшись ответа майора, часовой сразу вышел, влоча винтовку, словно палку.

— У меня просьба к вам, одна-разъединственная...

— Мы что, не увидимся больше? — майор встряхнул головой, словно желая очнуться, и подобие улыбки появилось на его лице.

— Нет, не поэтому, — резко возразил Автандил.

— Говори, что надо, ты же знаешь, я человек хоть и строгий, но...

— Знаю, Кирилл Степаныч, потому и пришел к вам. Отпустите меня вместе с моими ребятами, — на слове «ребята» язык Бокерия, острый как бритва, вдруг стал неметь, — с теми, кто еще жив...

— А куда идти — разве есть?

— Идти-то некуда. А вот к тем бы, что припасы переправляют...

— Переправили на двух лодках с прохудившимся дном, а с середины реки тащили их вплавь на себе, пока не стало светать. Больше уж не успеть, видно...

— Чумалов сказал, еще поджидаем.

— Да там вроде бы бочки приспособили... Точно не знаем, связи нет, ни моста, ни брода.

— Вот мы и разгрузим их, если бочки.

— В бочках — боеприпасы! — мотнул головой Боженко. — Выгружайте, раз так.

Бокерия повернулся кругом и, позабыв, что в такую пору вход в землянку плотно прикрыт, чтобы не дать просочиться даже слабому свету, головой угодил в закрытую дверь.

В длинный окоп, вырытый возле самой воды, четверо бойцов опустили, словно бревно, завернутого в шинель раненого с перевязанной головой. В высоком бурьяне, уцелевшем после обстрела, поставили носилки, и даже прибрежный ветерок, к утру подувший сильнее, не мог развеять пропитавшего их запаха человеческой крови. В ожидании новых вспышек ракет носилки забросали травой.

— Поди знай, где пристанут. Разойдись!

— А куда расходиться, вниз по течению или вверх? — изготовились бойцы.

— Откуда ему знать? Тебе тут белыми камушками на другом бережку не напишут, — слышался чей-то вздох, и, согнувшись, боец неслышно затрусил вниз по течению.

— Смотрите, как бы эти сволочи с тыла не подобрались.

— Бочки, говоришь?

— Вроде бы бочки, поди знай... Я тут, возле окопа, старшину подожду. Да и этот концы отдаст, не бросишь его.

«Чего-то уж больно мудрит Бокерия... родня ему этот малый или просто привязались друг к другу? — размышлял Андрей Богомолов, лежа у берега, в воронке, выбитой снарядом, куда уже просачивалась вода. — Ничего тут такого нет, одно нацменьшинство — вот вся причина, а я — из Москвы... Не я один, любой москвич каких только наций не навидался, как только не коверкают наш язык, каких окончаний не приделывают или, бывает, совсем слова не склоняют. Другой раз подумаешь, русский язык — не один, а целых два языка: один для нас, русских, а второй — вроде б и русский, совсем одинаковый с ним, и понимать — все понимаешь, но вдруг такое отпочат — в глазах темно сделается».

Протерев давно не мытые, слипающиеся после недельной бессонницы глаза, Богомолов никак не мог взять в толк, с чего это ему вдруг вспомнилась Москва, но, сообразив, что Москву забыть невозможно, он вдруг почувствовал, как кровь стынет в жилах: а вдруг не видеть ему больше Москвы? И чтобы стряхнуть себя эту страшную мысль.

он вскарабкался по стенке воронки и вслушался в темноту.

Что-то плескалось возле берега, будто утка ныряла, вынырнет и нырнет, вынырнет и нырнет...

Собака его охотничья?

«Если Москву совсем разбомбили, маме с собакой делать там нечего. А Наташины кошки? Кошек этих...» Луна давно скрылась, и немец, видно, решил, что нечего ракеты зря тратить, лучше уж пулями... и теперь заряжает, наверное...

Тьма стояла крошечная, а утка ныряла все ближе и ближе к топкому берегу.

Ниточка мысли ускользнула от Андрея и пропала. В последнее время от перенапряжения голова иногда делалась у него как деревянная, а глаза на чумазом лице становились совсем белые. Вот и сейчас с ним начинало это твориться.

— Бокерия! — окликнул он, когда течение подогнало к берегу что-то вроде охотничьего шалаша, но он тут же вспомнил, что Бокерия остался у окопа, а раненный в руку Цинцадзе находился чуть ниже по берегу. Подполз Цинцадзе и, орудуя одной рукой, съехал в воронку, из которой выбрался Андрей.

— Кто это? — спросил Андрей.

— А ты не знаешь?

— Поди Бокерия скажи...

— А что говорить? Я сам кто да что не знаю. Медленно идут, будто их волной гонит.

— Бочки... видишь, бочки это...

— Амис деда ватире... — вырвалось по-грузински у Цинцадзе, — пропади оно пропадом все... — когда бойцы, сидевшие на четырех пивных бочках, связанных прибитыми сверху досками, соскочили с плота, подхватив тяжелые ящики, чтоб побыстрее разгрузиться и снова обратно.

— Здесь грузин вроде есть? — спросил Бесо, таща под мышкой ящик, а другой рукой выволакивая на берег плот, словно это была быстрая речка возле его деревни и он боялся, что течение вырвет плот и умчит.

— Все может быть, — выдохнул вконец уморившийся Бакури.

— Хорошо хоть, тут из наших кто есть, а то я гляжу, немец не лучше меня русский знает.

Ладо обомлел, услышав грузинскую речь, но, когда

Богомоллов устремился к воде, он пришел наконец в себя и поздоровался с теми, кто выходил из воды на берег.

— Здорово! — ответил Бесо, опуская ящик подальше от воды, чтоб не проникла сырость.

Когда и Бакури ответил по-грузински, Ладю решил, что вся группа из грузин, и у него от волнения перехватило горло.

— Откуда вас сразу столько, ребята?

— Чего-чего он говорит? — спросил Иванов.

— Он решил, что здесь одни грузины... — Объяснил Бакури.

— Не все, но во главе группы — грузин, — похвалил командир отделения Кинцурашвили. — Ему одному спасибо, а то я обратно уже нацелился, — проговорил он таким тоном, словно родной дед послал его к соседям за косой, а соседей нет дома — и теперь иди объясняй деду.

— А это — что? Откуда приволокли? Раньше-то где он у вас был? — спрашивал кто-то прерывистым шепотом, пытаясь идти в ногу с теми, кто, таща носилки, скорым шагом мерил прибрежный гравий.

— Командование в известность поставлено... — объясняться с прибывшими не сочли нужным, но все же ответили.

Те, что были с плота, оттащив ящики, кинулись обратно в воду.

— Погодите! — остановил их Ладю.

— Чего тут годить? Нас подводная лодка не ждет... — объяснил Иванов.

Бокерия, тащивший носилки спереди, шагнул прямо в воду к сбитым в плот бочкам.

— Стой! Ты куда? — вырос перед ним Иванов.

— Цыц, Чумалов, молчать! — тихо прикрикнул Бокерия, не объясняя Иванову, в чем дело, и накинувшись на Чумалова, который, шаркая, семенил рядом с ним и теперь кинулся к берегу. — Чтoб ни слова. Другого выхода у нас нет, и плевать я на все хотел!..

— Я — Иванов! — разъяснил ему Семен.

— Мне известно, что вы — Иванов! — Автаидил живо сообразил, что командовал транспортом из сколоченных бочек — как раз этот. — На ваше имя поступил приказ командования.

Раскрыв рот, Иванов остушился и палетел на Бесо.

— Это раненый... — И Бокерия протация перед ними

завернутого в шинель и привязанного к носилкам человека, он был без сознания и не шевелился.

Остальное остолбеневшему Иванову, стоявшему по колена в воде, должен был объяснить Вишневецкий, ухватившийся за носилки сзади.

— Это — генерал! — остановившись на миг, шепнул ему в самое ухо Лева, но так, что слышали все.

— Генерал? — если б Бесо не подхватил Иванова, на которого столько свалилось за последние сутки, тот рухнул бы в воду.

— Специально завернут в шинель рядового бойца, — добавил Богомоллов, сидевший на корточках у самой воды. — Таково требование!

Хорошо, что Автандил устанавливал сейчас носилки на бочках и Цинцадзе с берега было к нему не дотянуться, а то бы, наверное, он задушил его в объятиях.

— Генерал? А если бы не генерал? — скрипнули челюсти Кинцурашвили.

Не найдя места рядом с носилками, которые были поставлены во всю длину плота, Бесо сел на бочку верхом и с такой осторожностью опустил в воду доску, выдранную из забора пивного завода, словно это окунулась та самая утка, к нырянию которой прислушивался Богомоллов.

— Генерала он хорошо если раз видал, да и то издаля, а вот с богом как с братом беседует! — стеченно объяснил кто-то с берега, и комок злой обиды, застряв в горле, чуть не заставил его задохнуться.

— А жив не останется, чем там кончится эта война — уже все равно, — проговорил торопливо другой, и Бесо гребанул доской с такой силой, что стоявший над носилками Бакури пошатнулся и слепленный из бочек плот чуть не ушел у него из-под ног.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	187

Отиа Шалвович Иоселиани

ЧЕРНАЯ И ГОЛУБАЯ РЕКА

М., «Советский писатель», 1982, 336 стр.
План выпуска 1982 г. № 252

Редактор *А. Л. Эбаноидзе*
Худож. редактор *Е. М. Дробязин*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Т. В. Малышева*

ИБ № 3025

Сдано в набор 07.08.81. Подписано к печати 11.03.82. Формат 84 × 108 1/32. Бумага офс. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,96. Тираж 30 000 экз. Заказ № 608. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 121069. Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.